

ALBEDO



КНИГА КНИГ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

4

КНИГА КНИГ



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ



СОВРЕМЕННАЯ КНИГА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАЮЛА 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА
КНИГ
РОМАН

ALBEDO

4

КАЯЛА
Киев, 2020

УДК 821.161.1(477)'06-3

А 46

Александров А.

А 46 Книга книг. Albedo. Т. IV — Киев: «Каяла», 2020. 370 с. — (Серия «Современная литература: поэзия, проза, публицистика»).

ISBN 978-617-7697-08-3

Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вмещающее эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

УДК 821.161.1(477)'06-3

© А. Александров, 2020

© В. Ерко, иллюстрация на обложке, 2020

© Издательство «Каяла» (Киев), 2020

ALBEDO

«Например, в тех местах, о которых и поныне говорят, будто там стоит город золотой и простирается берег, усыпанный драгоценными камнями, увидит он обычный каменный город, а то и вовсе никакого, да одинокий скалистый берег».

*Книга о зверях и чудовищах,
анонимная книга, IX век*

КНИГА КОРОЛЯ

ШКОЛА МАГОРА

I

УХО ГОРОДА

В этот раз он не остановился у засыпанного снегом подножия Замка, не поднял голову, чтобы посмотреть туда, где, будто в волшебном ларце, повисшем в ночном небе, спит его маленькая возлюбленная. Она спит сном сладким и ничего не знает о судьбе своего бедного Сказочника Адуляра. Сон ее замер. Все сны в городе остановились и замерли, потому что остановилась и замерла сама ночь. И уже не разобрать, где ее голова, а где хвост, не предугадать, откуда и куда, очнувшись, двинется она. Лишь одинокая фигурка Адуляра упрямо продолжала свое движение — черный цветок, блуждающий во мгле.

Еще одна ночь. Еще одна зима. Бесконечные снега сыплутся, сеются, заполняя глубокие впадины ночи. Куда и зачем держит он путь? И долго ли еще так бродить, делая вид, будто город бесконечен? Уж сколько лет прошло, а он так ничего и не нашел, и теперь даже не вполне уверен, знает ли он, что, собственно, ищет. Хуже того, лишился и того, что имел: дома, друзей, перстня с лунным камнем и волшебного зонтика, который, не выдержав испытаний, пришел в негодность. Один лишь кот Мусик остался, да и то, как говорится, без сапог. Сейчас он грелся у него за пазухой и был тише ночи. Что если магические карты впервые обманули тетушку Клер? В это, конечно, трудно поверить, но ведь всякое случается! Даже самые могущественные из фей могут один раз ошибиться. Роковым образом, разумеется.

С тяжелым сердцем он добрал до старинной Беседки Грѐз, одиноко стоявшей на краю Аптекарского сада. И сам сад, и имя его, давно уж обрели скорбный статус «бывшие», как, впрочем, и многое другое в Старом Городе, и теперь даже в летнюю пору

ничто не напоминало о его славном прошлом — разве только упомянутая Беседка Грёз в окружении черных стволов раскидистых лип. Что же до лекарственных растений, то все они лет сто как ушли в перегонной вместе с теми, кто их когда-то пользовал. Будто тень, не то из прошлого, не то из будущего, Адуляр стоял посреди утопающего в снегу сада, граница которого тянулась краем обрыва, хаотично поросшего деревьями. Где-то там, далеко внизу, на самом дне зимы, томился невидимый, скованный льдами Днепр, и лишь редкие огоньки на Трухановом острове проблескивали сквозь ветви деревьев. Новый Город на Левом берегу и вовсе исчез в белесой мгле.

Перевалив через сугроб, Адуляр забрался в Беседку Грёз и сел на узкую полоску скамьи. О, сколько чудесных сказок придумал он здесь в былые времена! Таких уж больше не будет никогда... За пазухой жалобно мякнул Мусик и, немного покрутившись, снова погрузился в свой беззаботный сон.

Долго сидел так Адуляр, без чувств, без мыслей, без желаний, то проваливаясь в белую мглу, то выныривая из нее. Тишина вливалась в него не то откуда-то с небесных вершин, блистающих за пределами ночи, не то из самых глубин его естества, свободно реющего за пределами замерзающего тела; и все это вместе — и небесные вершины, и его естество, — были единым целым, прекрасным и, одновременно, пугающим... Изредка к берегу этого необитаемого островка тишины прибывались некие, казалось бы, давно забытые звуки: перескрипывание деревьев на ветру или шорох падающего снега, и тогда на короткий миг Адуляр, уже почти не желая того, возвращался к действительности, и каждое следующее возвращение было мучительнее прежнего. «Все, — прошептал он. — На этом и остановимся. Пожалуйста... я устал». Голова его поникла, и он отпустил себя на волю ночного ветра...

Сначала он был песчинкой в морозной бороде ветра. Потом — парящей над белыми крышами страницей, испещренной письменами; он был любовным письмом, — белый голубь уносил его по назначению; вот уже и сам он стал голубем бумажным, легко и стремительно летел он вперед, преодолевая земные дали, времена года, перемешиваясь со снегами и дождями, со стаями перелетных птиц, с вихрями крутящихся листьев и мотыльков, перенимая их дивные цвета и узоры. Навстречу ему на огромной скорости приближалось его детство — прекрасное,

как любовь... Вот он, маленький, сидит под раскидистым деревом посреди теплого бескрайнего лета. На ладони — гранатовое зернышко. В лучах заходящего солнца оно горит, словно драгоценный яхонт. Притихшие птицы с ветвей дерева внимательно следят за каждым его движением. Но не для их клювов предназначено гранатовое зернышко, и никогда не перенесут они его в страны далекие. И не в землю будет брошено оно, чтобы когда-нибудь стать гранатовым деревом. Нет, к изумлению птиц, он, глупый мальчишка, вкладывает зернышко в левое ухо, наклоняет голову вправо, несколько раз подпрыгивает на месте на одной ноге и... достает это самое гранатовое зернышко из правого уха. Только теперь оно горит еще ярче! Так сон, будто река, пробивает себе русло в гранитной тверди мира. Сойдя на один из его берегов, он встречает аборигенов, таких же маленьких, как и он. Вот оно, чудесное гранатовое зернышко! И вот он сам, совершивший этот подвиг — там, на холме, под раскидистым деревом, на глазах у изумленных птиц. Аборигены изумились не меньше, чем птицы, — они ведь были детьми, как и сам герой. Они тут же, пока не село солнце, принялись за дело. Вишневые косточки, бусинки из искусственного жемчуга, шарики хлебного мякиша, — чего только не засовывали они себе в уши. Но у них ничего не получалось, хоть и прыгали они на одной ноге до изнеможения. Тогда, после долгих споров, они пришли к очень простому выводу, что, наверное, нужно отыскать то самое раскидистое дерево с теми самыми птицами. Утром следующего дня они поднялись на вершину холма, но никакого дерева там не было, — одна лишь выжженная трава да чахлый кустарник. И сколько потом ни искали дети холм и дерево с птицами, ничего они так и не нашли. Не то чтобы по дороге совсем не попадалось никаких холмов с деревьями и птицами — просто ни один из них не был тем самым, заветным. Когда совсем стемнело, они сказали, что никакого чуда никогда и не было и что все это обман. Тогда он им ответил, что для того, чтобы зернышко, косточка или мякиш в одно ухо вошли, а из другого вышли, необходимо, чтобы голова была пустой. А у кого голова забита всякой ерундой или заставлена перегородками, у того, конечно, никогда ничего не получится. Дети возразили: у кого голова пустая, тот круглый дурак. Мол, у каждого нормального человека в голове есть мозги, которыми он думает... Вовсе нет! — возразил он в свой черед, — им всем только кажется, что они думают мозгами. На са-

мом деле мысли живут сами по себе, вокруг нас, как те птицы. И чем пустее голова, тем больше мыслей в нее приходит и там поселяется. А если голова полным-полна мозгами, то она похожа на старый захламленный чердак, в котором всегда темно, тесно и душно. Дети очень обиделись и разошлись по домам...

Как-то раз в его голову пришла и там поселилась одна очень важная мысль, что город такой же круглый, как и голова, и внутри так же пусто. Значит, подобно гранатовому зернышку, можно войти в одно Ухо Города, а выйти в другое. Нужно только отыскать хотя бы одно из них. Но как оно выглядит и где находится, это Ухо Города? А если оно и отыщется вдруг, как тогда понять, Правое оно или Левое? Как бы там ни было, главное — найти это Ухо, а уж потом разбираться, Правое оно или Левое. Для начала он забирался в платяной шкаф, пропахший нафталином, затем — в постельную тумбу, правда, не очень-то веря в положительный результат. Иное дело — подворотни, черные лестницы, подвалы и даже те пресловутые чердаки, с которыми он сравнивал головы своих неверующих сверстников. Где он только не побывал, куда только не пролезал — все безрезультатно! Всюду его поджидало разочарование. Он стал печальным и задумчивым. И очень одиноким. Да что же это за мир такой: точно глухой ящик, из которого никуда невозможно выйти! Но этого не может быть... Обязательно должен существовать и вход, и выход. Так неужели эта великая тайна доверена одним только кротам и земляным ящерицам, норы которых он находил на Подольских Холмах? Разве он хуже? Нет-нет, где-то обязательно должно быть спрятано это Ухо Города. Конечно, отыскать его нелегко, но ведь в том-то и весь смысл, что нужно проявить упорство.

И вот однажды упорство привело его на Флоровскую гору. Она была похожа на высокий остров, вздымающийся над зелеными урочищами в самом центре города. На горе, под сенью деревьев, покоилось старинное монастырское кладбище, на котором уже много лет никого не хоронили, и теперь меж его заброшенных могил и развалин, поросших бурьяном, кустарником и деревьями, бродили закутанные в паутину безглазые призраки-сильванеллы, а цветы росли бутонами в землю. Узкая тропа привела его к склепу из гладко полированного лабрадорита. Над входом нависал холм, поросший папоротником, отчего склеп походил на пещеру. Папоротники покачивались с легким шоро-

хом, будто обнаруживая чью-то невидимую поступь. Затаив дыхание, переполненный чудесными предчувствиями, он храбро ступил под своды сырого мрака...

...Медово-желтый туман. С деревьев осыпается охряный цвет. Из чайного воздуха и речных вод, из колышущейся листвы и трепещущих трав сами собой возводятся, возносясь ввысь, сады с дворцами, — прихотливые, зыбкие. Под жаркими лучами Солнца они плавятся, словно огромный мир, изваянный из воска, и тут же превращаются в дивных зверей. Двуглавые львы с опаловыми глазами, крылатые грифоны и единороги, спиралевидные рога которых пылают янтарным огнем — так близко скользят они в своем молчаливом движении, справа и слева, что он легко касается руками их спин и боков, и на его ладонях оседает золотая роса, и тепло от нее, проникая через поры, согревает их. И сам он сейчас похож на растение: обо всем забыл, ни о чем не думает, больше никуда не стремится. Он просто растет. И ему кажется, что эти бело-желтые, лимонные, охровые небеса сотни лет проплывают над покачивающимся бутонем его головы.

Внезапно кто-то прикасается к его голове. Он поворачивается, как поворачивается к солнцу цветок, готовый раскрыться. И видит он человека, закутанного в золотые одежды. И золотая маска на его лице. «Знаешь, что написано в Книге Короля?» — спрашивает золотая маска. «Нет, не знаю». — «Тогда закрой глаза и слушай».

«В Книге Короля, — слышит он горячий шепот у самого уха, — сказано так: “И пусть взгляд его будет чистым, чтобы его глазами мир мог яснее себя лицезреть. И пусть речь его будет прозрачна, чтобы мир не обманывался. И пусть шаги его будут легки, чтобы не так тяжела была земля!”»

Он открывает глаза: золотой силуэт пламенеет в горячем мареве в нескольких шагах от него, и огромные жуки с позолоченными спинками ползут друг за дружкой, описывая вокруг него широкий мерцающий круг. Перед собою катят они камни, прозрачные как горный хрусталь, размерами и формой похожие на пасхальные яйца. «Ты, наверное, волшебник?» В ответ — ни слова. Но и так ясно, что это волшебник. «Давай поиграем! — предлагает волшебник и ловко выхватывает у одного из жуков камень. — Лови!» Каменное яйцо оказывается на удивление легким, без единой зазубрины или царапины на гладкой поверхности. Окаменевший сгусток воздуха. «Лови еще! Только не вы-

пускай из рук!» И он ловит эти восхитительные минералы, и нет большего блаженства, чем обладание ими. «Еще лови! И еще!..» Это продолжается бесконечно. «Не урони!.. Не упусти!..» Он ловит их и ловит, — судорожно рассовывая по карманам... Руки немеют, пот струится по лицу... Главное, не упасть, устоять, не уронить! Все вокруг — каскад движений, рывков, появлений, исчезновений, — все каменеет. Внутри и снаружи — все камень. А они летят и летят, будто птицы со сложенными крыльями, стремительно и неотвратно. Он больше не может! Взор его меркнет, веки опускаются под собственной тяжестью, тяжелее которой нет ничего на свете. И нет сил — ни шагу ступить, ни даже пошевелиться. Он еще никогда не видел смерти, — может, это она и есть?.. Может, он уже умер?.. «Так что там написано в Книге Короля? — голос волшебника едва пробивается сквозь каменные завалы. — Ты должен помнить!..» Все тяжелее давят камни на грудь. Он пытается что-то вымолвить. «Не стони! Говори! Ты должен это помнить!» Еще одна попытка сказать что-то... Он задыхается... «Ну же, говори! Хоть шепотом, хоть одними губами! Что написано в Книге Короля?» — «В Книге Короля... — онемевшие губы едва двигаются. — Написано...» — «Говори, я все слышу!» — «...И пусть взгляд его будет чистым, чтобы его глазами мир мог яснее себя лицезреть... И пусть речь его будет прозрачна, чтобы мир не обманывался... И шаги его... пусть будут легки, чтобы не так тяжела была земля!..» Последние слова от нетерпения волшебник выкрикивает вместе с ним. «Слава Богу! Слава Богу!» — восклицает волшебник, а из каменных яиц, будто из темниц, выпархивают птицы и шумным пернатым облаком возносятся ввысь. Он долго смотрит птицам вслед, и такая легкость окрыляет все его тело!

«Он же мог умереть!» — «Мог. Но ведь не умер, слава Богу». — «Конечно — слава Богу! Но зачем было так рисковать?» — «О, вы напрасно беспокоитесь, Ваша Летучесть». — «Сударь, я никогда не беспокоюсь напрасно».

Ах, как она красива! И как добра! Она похожа на его мать, хоть лица и не видно под серебристой вуалью. И голос так похож! И даже великий волшебник склоняется перед ней! «Сударыня, разве я вас когда-нибудь подводил?» — «Нет, сударь. Но неужели вы сами не видите, что это действительно он?» — «О Ваша Летучесть! Я многое вижу. Но согласитесь и вы: испытания необходимы. Они необходимы как для самих испытуемых,

так и для тех, кто испытывает. Так велит закон». — «Ну разумеется: закон, испытания!.. Однако не слишком ли тяжелы они? Он же еще совсем ребенок. А вы, сударь, действуете так, будто перед вами зрелый муж».

Наверное, она фея. А кого фея полюбит, того она и будет всегда защищать. Так написано в книгах. Но так, видно, и в жизни случается. И конечно это она говорила его онемевшими устами, когда он умирал в том страшном каменном мешке. Конечно, это была она — добрая, добрая фея!

В бледно-шафрановом небе одна из птиц, вспыхнув огненным оперением, взлетает выше остальных. И глаза его словно опаляет пламенем. По щекам катятся слезы. «Ах, он увидел ее! — радостно звенит голос феи. — Смотрите, сударь, она еще не родилась, а он уже увидел ее!» И такое легкое, нежное, живительное прикосновение ощущает он на своем неподвижном лице. «Спи, мой мальчик. Труден был твой день, но он уже позади. И ты нашел то, что искал». Вздох блаженства с хрипом вырывается из его груди. «Ты проснешься счастливым навсегда. А сейчас спи...»

Ему казалось, он куда-то плыл. «Вот-вот! — доносился далекий голос волшебника. — Женщины всегда балуют маленьких мальчиков, отчего им потом очень нелегко стать героями». — «Ну не ворчите, дорогой мой. Вам это так не идет. Как и весь этот ваш нелепый наряд. Сколько золота! А маска!.. Перчатки — и те золотые. Подумать только! Вы как будто даже прибавили в росте». — «А вы никак подтруниваете надо мной, Ваша Лету-честь?» — «Не обижайтесь, друг мой. Знаете, хоть вы и величайший из всех волшебников и философов, но в своем обычном платье нравитесь мне больше». — «Ах, сударыня, я так люблю вас... Но, однако же, как нелегко вам угодить!» — «Да, как всякой женщине». — «Вот именно. И сейчас “как всякая женщина” вы мучаете меня». — «Вовсе нет, дорогой мой! Я не мучаю вас. Я вас люблю». — «Так поцелуйте же меня скорее, любовь моя!» — «Это невозможно». — «Невозможно? Но почему?» — «Потому, что на вас эта глупая маска». — «Боюсь, без маски я сейчас выгляжу еще глупей». — «Вот и хорошо, друг мой». — «Да, и хорошо, и удивительно! Уж сколько лет мы любим друг друга, а каждый раз встречаемся, будто впервые». — «И каждый раз вы начинаете философствовать...» — «О, только не это! Нет, нет, только не теперь! Маску — прочь! Перчатки — прочь! Философию — туда же! Я весь ваш, дорогая. Ну? И где же ваш обещанный поцелуй?» — «Вот он, милый мой маг...»

Потом оба заговорили на каком-то непонятном языке. И речь их красотой своей напоминала то полный шорохов и птичьего пения лес, то шум речного потока. И этот поток уносил его все дальше и дальше, — и вскоре от зыбкого желтого мира на древней Флоровской горе не осталось и следа...

Он лежал ничком, уткнувшись лицом в душистый клевер. У самых глаз, в траве, копошился большой майский жук. Взобравшись на вершину длинного стебля, жук расправил крылышки и с недовольным гудением взлетел... Тогда он приподнял голову, чтобы проследить за куцым полетом глупого жука, и увидел уже знакомый ему склеп из лабрадорита. Но теперь вход в него был закрыт железной решеткой. На решетке висел ржавый замок.

Он встал на ноги. Земля покачивалась под ним. Он шел по горе осторожно, как канатоходец. В этот раз он никому на свете не расскажет о том, как вошел в одно Ухо Города, а вышел в другое. И никто не узнает, где он был и что видел. И сам он сюда больше никогда не вернется.

Прошли годы. Иногда ему снились золотистые жуки, катящиеся перед собой пасхальные яйца под желтыми небесами; снились обрывки слов из Книги Короля, сверкающая, как звезда в вышине, птица и две фигурки, два силуэта, идущих по кромке горизонта. «Ты проснешься счастливым...» И он просыпался весь в слезах. Но каждый раз это был всего лишь сон. И каждый раз он спрашивал себя, счастлив ли он?..

II

НЕЗНАКОМЕЦ

— Эй! Эй! — кто-то тормозил его за плечо. — Проснитесь!

Адуляр открыл глаза: какой-то человек склонился над ним. На нем было длинное пальто и шляпа с опущенными широкими полями. Над шляпой распростерлась ночь, пронизанная ледяным ветром. Снегопад прекратился. Удовольствовавшись увиденным, Адуляр закрыл глаза.

— Да очнитесь же!

С большой неохотой он снова разомкнул веки.

— Это ваш кот?

Только теперь Адуляр увидел на руках у незнакомца белого котенка, боязливо вцепившегося коготками в толстое сукно его огромного пальто.

— Вы меня слышите? Кот ваш?

— Мой, — едва слышно произнес Адуляр.

— Я так и знал. На его душераздирающие призывы о помощи я, собственно, и пришел... Вот, возьмите.

— Его зовут Мусик.

— Мусик? Гм... Что ж, почему бы и нет? — незнакомец еще ниже склонился над Адуляром. — А вы, похоже, изрядно окоченели. Позвольте поинтересоваться, давно вы здесь сидите?

— Не знаю.

Незнакомец порылся в глубоких карманах пальто и извлек плоский стеклянный бутылёк.

— Пейте.

— Что это?

— Пейте. Это вас подкрепит.

Слабой рукой Адуляр взял бутылёк, отхлебнул раз, потом другой. Огненный дух винограда ударил в голову, разлился теплом внутри... В общем, это был обыкновенный коньяк.

— Ошибаетесь, друг мой! То, что у вас тут принято называть «обыкновенным коньяком», на самом деле — примитивная табуретовка, настоящая на дохлых клопах. А это — настоящий, благородный «Курвуазье». И ему столько лет, что в сравнении с ним вы — младенец.

— Вы умеете читать мысли? — удивился Адуляр.

— Похоже, вы приходите в себя, — уклончиво ответил незнакомец. — Ну-ка, попробуйте встать... Дайте руку. Вот так. Хорошо!

— Что-то с моими ногами. Я их почти не чувствую.

— Этого и следовало ожидать. Ну ничего. Идемте со мной, я вам помогу.

— Так вы врач?

— Конечно, я врач! — незнакомец весело улыбнулся.

Они сделали несколько шагов, но незнакомец остановился.

— Постойте, — сказал он. — Есть одно обстоятельство.

— Какое обстоятельство? — что-то насторожило Адуляра в интонации незнакомца.

— Да в общем-то, сушая безделица. Перед тем как тронемся в путь, я должен завязать вам глаза.

— Завязать глаза? Это еще зачем?

— Видите ли, друг мой, это вовсе не прихоть, хоть в жизни я могу позволить себе очень многое. Ответ прост: никто и никогда не должен знать, где я живу. Таковы правила.

— Странные у вас правила.

— Впрочем, если вы боитесь...

— Нет, я не боюсь, — решительным тоном ответил Адуляр. — Я согласен на ваши условия... Я... я доверяю вам.

Едва заметная лукавая улыбка скользнула по лицу незнакомца:

— Что ж, вы поступаете опрометчиво, но правильно.

Он достал из кармана платок, завязал Адуляру глаза и, крепко взяв его за руку, куда-то повел. Путь оказался таким же загадочным, как и сам незнакомец: по улице вниз, потом вверх, петляния, кружения на одном месте и снова ходьба. Адуляр едва держался на ногах и, наверное, давно упал бы, если бы не сильная рука его спутника.

— Потерпите, мы почти у цели.

Наконец остановились. Скрипнула дверь. Переступили порог. Потом — лестница... винтовая... Долго поднимались, гулко топая по каменным ступеням. И опять остановка. Что-то щелкнуло рядом, справа — там, где стоял незнакомец. Щелкнуло и заскрежетало. И пол под ногами задрожал.

— Сезам, откройся! — слабо улыбнувшись, пошутил Адуляр.

— Вы почти угадали. Входите.

Адуляр попробовал сделать шаг, но ноги подкосились. Подъем по крутой винтовой лестнице отобрал последние силы. Дальше все происходило как во сне: какая-то комната, много света, люди... Сначала он ничего не чувствовал. Его переворачивали, как куклу. Ботинки, перед тем как снять, надрезали... А потом было больно. «Хорошенько растирайте! — отдавал распоряжения незнакомец. — Сильнее... еще сильнее! А вот это дайте ему выпить!» Люди вокруг суетились. «Быстрее, быстрее! Несите теплые носки!» Вскоре Адуляр почувствовал во всем теле приятный жар. Чьи-то заботливые руки закутали его в шерстяной плед.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил незнакомец, жестом руки отпуская своих помощников; на нем теперь был допотопный шлафрок из синего бархата, на голове синий берет, по-

тертый по краям и побитый молью; золотой перстень в виде пятиконечной звезды украшал безымянный палец правой руки. — Вам уже лучше?

— Будто заново родился.

— Ну, это у вас еще впереди, — улыбнулся незнакомец. — Но для начала тоже неплохо.

— Кто вы? — спросил Адуляр; этот вопрос давно не давал ему покоя.

— О, это очень длинная и запутанная история. Зовите меня просто: Магор.

— А я — Адуляр. Сказочник Адуляр.

— Я в курсе, молодой человек... Пока мои люди вас спасали, я имел некоторую бестактность позволить себе прочесть ваше рекомендательное письмо. Кстати, рад сообщить: письмо попало точно по адресу.

— Но, насколько я помню, адрес на нем не указан!

— Это только на первый взгляд, друг мой.

— Вы шутите?

— Подшучиваю немного. Но если серьезно, то в своем письме тетушка Клер просит меня оказать вам содействие всеми имеющимися в моем распоряжении средствами. Что ж, я готов помочь.

У Адуляра будто камень с сердца упал.

— Да, я помогу вам. Но настанет день, и вы поможете мне.

— Я? — искренне удивился Адуляр. — Чем же?

— Всему свое время. Сначала вам придется многому научиться, многое совершить. Видите ли, имя «Сказочник Адуляр» нужно еще завоевать... А это будет — ох, как непросто! Хоть что-то мне и подсказывает, что вы справитесь.

Адуляр неопределенно кивнул головой.

— Вот и прекрасно. А сейчас отдыхайте, вам необходим крепкий сон...

III

ДОМ

...Проснулся Адуляр в комнате, теснотой и отсутствием окон напоминавшей келью. Кровать, на которой он лежал, письменный стол и узкий платяной шкаф составляли всю ее обстановку.

На столе горела керосиновая лампа, а на стене висела старинная гравюра — зимний пейзаж. Как это ни странно, но Адуляр чувствовал себя совершенно здоровым и полным сил. Но еще больше удивляло ощущение готовности к новой жизни, казалось бы, давно покинувшее его и забытое.

Не успел он подумать о своих ночных перипетиях, столь неожиданных и необыкновенных, что теперь, по пробуждении, в них с трудом верилось, как Магор был уже тут как тут. На сей раз к прежней, и без того старомодной одежде его добавился широкий темно-синий плащ, ниспадавший до самого пола, а седая борода была заплетена в длинную косу. Глаза его сверкали из-под кустистых бровей.

— Продолжите предаваться сну или присоединитесь к чаепитию? — спросил он после короткого, но внимательного осмотра.

— Пойдемте, — только и сказал Адуляр.

— Тогда возьмите это, — и Магор протянул ему стеклянный светильник с зажженной свечой внутри, а сам зажег другой.

Так, держа перед собой светильники, они шли по длинному коридору, двумя рядами дверей и ковровой дорожкой напоминавшему гостиничный. К некоторым дверям были привинчены таблички с загадочными надписями: «Флоригард», «Фарба», «Кападастриа»... Приятно пахло лавандой, и Адуляр будто снова, как в детстве, увидел себя в старом платяном шкафу, где за таинственными завесами из всевозможных тканей, за всеми этими висящими на вешалках драповыми, кашемировыми и шерстяными стражами — безголовыми, пустотелыми и устрашающими, — быть может, таилась едва приметная лазейка в тот, другой мир — Ухо Города. Те же сумерки, тот же запах... Чтобы проникнуть в Ухо Города, вдруг подумал он, надо стать звуком.

Через некоторое время они остановились перед чуть приоткрытой дверью, из-за которой доносились звуки клавирина. Ободряюще подмигнув Адуляру, Магор широко распахнул дверь, и они оказались в просторной гостиной, неожиданно ярко освещенной множеством свечей. В камине весело полыхал огонь. За большим круглым столом, сервированным китайским фарфором, сидели люди, одетые довольно необычно, каждый на свой манер. Они тут же встали и учтиво поклонились.

— Прошу вас, продолжайте, господа! — сказал Магор. — И вы тоже, Атаназиус Кловис. — Последние слова были обращены

к худощавому человеку, на вид лет тридцати, в нелепом, цвета электрик, фраке. Он стоял в нерешительности у открытого кла-весина. — Должен вам заметить, вы делаете успехи. Вот только живости еще явно не хватает.

Тот смущенно опустил глаза. На его щеках заалел румянец, и нос, казалось, как-то вытянулся книзу.

— Эй, эй! Что это вы краснеете, точно девица! Полноте! Вы же играете Моцарта, так что стеснительность здесь совершенно неуместна. Напротив, больше куража, молодой человек!

Атаназиус Кловис снова уселся за клавиесин.

— Только, ради всего святого, не садитесь на фалды вашего прекрасного фрака, вы же их помнете.

Молодой человек подскочил как ужаленный. Когда, расправив фалды, он снова сел и заиграл, то со спины стал похож на золотисто-синего жука, быстро перебирающего лапками по костяной клавиатуре. Музыка полилась легко, непринужденно. От недавней стеснительности не осталось и следа. И это был уже не смешной жук, беспомощно барахтающийся в звуках, а вдохновенный музыкант, умеющий проявить над ними свою власть. Он то откидывался назад и, цараписто водя руками, готов был, уже почти невесомый, воспарить над клавиесином, но все же каким-то чудесным образом удерживался, казалось, одними лишь кончиками ногтей, над самой поверхностью клавиш; то, наоборот, согнувшись пополам и подавшись вперед, едва не касаясь длинным носом клавиатуры, страстно дышал на ее костяшки широко открытым ртом и словно протирал их подушечками пальцев. Волосы на его голове, густые, цвета соломы, пришли в полный беспорядок.

Магор подвел Адуляра к столу и усадил на свободное место.

— Наш юный Кловис пытается импровизировать на темы молодого Моцарта, — пояснил он, наливая чай себе и Адуляру. — Сегодня его черед.

— Не такой уж он и юный, — возразил Адуляр, он успел разглядеть морщинки на лице музыканта.

— Для нас с Моцартом он, можно сказать, младенец, — с обворожительной улыбкой заметил Магор. — Кстати, как вы находите его игру?

— Ну... Мне нравится.

— Да, немногим лучше, чем месяц назад... Впрочем, друг мой, это совсем не Моцарт.

— А кто?

Магор пожал плечами и рассмеялся беззвучным смехом:

— Полная отсебятина. Но это еще что! Слышали бы вы, как он играет еще ненаписанную музыку Шёнберга или Бриттена... Однако извините, я вынужден вас ненадолго оставить. Чувствуйте себя как дома. А я сделаю кое-какие распоряжения и вскоре вернусь.

Магор взял под руку одного из присутствующих — пожилого господина в пенсне и остроносых туфлях: «Пан Рышард, вы мне нужны», — и вместе они скрылись за дверью. В пылких объятиях вдохновения Атаназиус Кловис продолжал развивать свою моцартиану и даже не заметил их ухода.

Послушав немного и осознав, что не может сосредоточиться на музыке, Адуляр пару раз пригубил остывший чай и, стараясь вести себя непринужденно, что, правда, плохо ему удавалось, поставил чашку на стол, чуть не опрокинув ее при этом. Он смущенно улыбнулся, но никто не обращали на него ни малейшего внимания, каждый занятый своим делом. Почувствовав себя свободней, Адуляр принялся изучать окружающую обстановку. Два больших полукруглых окна, в одном из которых была видна полная луна; пальмы и лимонные деревья в больших деревянных ящиках, и пышные кусты гибискусов и чайных роз в пузатых глиняных вазонах. Над нежно-розовыми и алыми цветами весело увивалась стайка колибри. «Что за дивные творения!» — восхитился Адуляр, наблюдая, с каким проворством и, одновременно, утонченной деликатностью эти крохотные создания запускают свои длинные как иглы клювики в нежные венчики цветов. При этом гостиная наполнилась таким громким жужжанием, что даже клавесин Атаназиуса Кловиса не в силах был заглушить его. С одной из пальм вспорхнули две ярко-желтые канарейки. С мерным гудением они перелетели на ветку лимонного дерева и тут же сами уподобились висящим на ней плодам. Канарейки запели — сначала одна, за ней другая, — но пение их вошло в откровенный диссонанс с клавесинными пассажами Атаназиуса Кловиса. Не прекращая игры, музыкант выражал свое раздражение тем, что закатывал глаза и кривил рот, а Адуляр не мог сдержать улыбку: теперь-то ему было ясно, что и колибри, и канарейки — не настоящие, а механические. Присмотревшись внимательнее, он увидел, что и окна с Луной — всего лишь искусно написанные картины. Только растительность бы-

ла живой. Все это, конечно, представлялось странным. Но не менее странно выглядели и люди за столом. Похоже, виртуозные импровизации на несуществующие темы молодого Моцарта их нисколько не волновали. Прямо против Адуляра, закрывшись развернутой газетой, сидел какой-то тип. Это была лондонская «Times», почему-то за 1884 год. Руки в желтых кожаных перчатках, державшие газету, слегка подрагивали, а на первой полосе, приблизительно на уровне глаз, зияла большая дыра. Очевидно, для слежки. Адуляр сразу почувствовал себя неудобно и поспешил перевести взгляд на сухощавого старичка, вида исключительно благородного и почтенного. Голову его увенчивал остроконечный колпак, густо усеянный вышитыми серебром звездами, цифрами и буквами из разных известных и неизвестных алфавитов. Из-под колпака выбивались пряди давно не пудренного парика. На столе перед старичком лежала раскрытая книга, большая и толстая, в чтение которой он был целиком погружен. Время от времени он слюнявил палец и с шумом перелистывал страницу, отчего огоньки свечей разом вздрагивали. Рядом с книгой стояла чашка с давно остывшим чаем.

— Ага, нашел! — пробормотал старичок, заметно оживляясь; седые брови задвигались, колпак съехал набекрень. Он повернулся к сидящему справа от него чучелу филина и легонько хлопнул его по плечу: — Эй, дражайший, хватит спать! Быстренько записывайте за мной.

К немалому удивлению Адуляра, чучело встрепенулось, выдернуло из хвоста перо, и тут же принялось бойко строчить им на клочке бумаги какие-то каракули, то и дело макая его в чашку с чаем.

— «И сказано было нам: ожидайте Его каждую минуту, — диктовал старичок, водя пальцем по странице, — ибо Он непременно вернется, даже ежели и сам не знает, что грядущее явление Его зовется Возвращением. Он — тот вольный дух, чья мужская субстанция в своем извечном стремлении к самовоспроизводству понуждает Его как бы постоянно множиться на развилках дорог, где рождаются бесконечные истории...»

Старичок внезапно прервал чтение и, приняв вид строгого и придирчивого экзаменатора, воззрился на усердно пишущее чучело филина.

— А позвольте-ка спросить вас, дражайший господин Филин, известно ли вам хоть что-нибудь о так называемых мона-

дах, о ноуменах и феноменах? Нет?.. Что вы на меня так выпучились? Вместо того чтобы обижаться, лучше почитали бы на досуге Платона или Порфирия. Или «Эннеады» Плотина... Ну хорошо, хорошо, я же не настаиваю! Возьмите, на худой конец, «Монадологию» господина Лейбница... Или нет, постойте! Лейбница вам так сразу не одолеть... А знаете, — радостно воскликнул старичок, — для начала я рекомендовал бы вам систему эзотерической философии инженера путей сообщения господина Шмакова. Слыхали о таком?.. Ну, это не важно. В его книге «Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств» есть все, что вам необходимо знать, да к тому же в сжатой и доходчивой форме... Ах, вам и это не нравится! Экий вы капризный, господин Филин. Никогда на вас не угодишь... Нет, я, конечно, понимаю: работа секретаря требует, скорее, навыков письма, нежели чтения. И вообще, вам не до книг — вы ведь целыми днями на службе, перо ваше неустанно запечатлевает все, что видят ваши большие круглые глаза и слышат ваши маленькие мохнатые уши... Да, да! А ведь еще нужно уделять время жене, детям. Какой уж тут Лейбниц со Шмаковым, обыкновенную газетенку — и ту некогда почитать...

При этих словах тип с развернутой газетой предупредительно кашлянул.

— Все это нам хорошо известно, дражайший господин Филин. Так что нечего дуться. Надо работать...

Адуляр едва верил своим глазам: мало того что чучело умеет писать, оно еще умеет и обижаться!

— Так на чем мы остановились? — продолжал неугомонный старичок. — Ага, вот: «...чьа мужская субстанция в своем извечном... самопроизводстве...», так-с... «множится... множится на развилках дорог, где рождаются бесконечные истории...» Пишите! — Старичок еще ниже склонился над книгой и снова принялся читать вслух: — «И было сказано нам еще иное: Но явилась уже и та сила, женская субстанция которой свяжет все эти истории воедино серебряной нитью...»

Далее старичок продолжал диктовать в том же монотонно-туманном духе, так что на Адуляра едва не напал приступ зевоты... Внимание его привлек щупленький коротышка китаец с длинной узкой бородой, росшей прямо от нижней губы и терявшейся где-то под столом. Казалось, он подремывал, но выглядело это величественно, несмотря на его внешнюю хруп-

кость. «Сонное царство какое-то!» — подумал Адуляр, встряхивая головой. За нагромождением чайного фарфора на столе Адуляр не сразу заметил разложенную перед китайцем шахматную доску с фигурами. Видимо, китаец задремал над замысловатой партией. Изредка, правда, узкие щелочки его глаз чуть приоткрывались и в них вспыхивали бирюзовые искорки. Спустя мгновение он мягко прикасался своей миниатюрной, почти детской ручкой к какой-нибудь фигуре — белой или черной, долго и неподвижно пребывал в таком положении, как бы в благоговейном раздумье, сам похожий на шахматную фигурку из белого нефрита, но так и не сделав задуманный ход, вежливо кланялся ферзю, слону или пешке и снова погружался в улыбчивую дремоту. Партнера у него не было, из чего Адуляр заключил, что китаец играет в шахматы сам с собой. Или, скорее всего, намеревается играть... Или, может быть, еще только мечтает об игре...

Тут Атаназиус Кловис разразился на своем клавесине такими неистовыми трелями и форшлагами, что чай в чашках покрылся рябью. Смесь травяных ароматов ударила в нос Адуляру, по спине и рукам побежали мурашки. Еще громче зажужжали колибри, и обе канарейки, сотрясая лимонное дерево, гудели и заливались колоратурами на пределе возможного. Казалось, еще немного — и спрятанные в их крохотных тельцах механизмы сломаются от перенапряжения. Однако ни один механизм не сломался, да и вся эта буря звуков не произвела на присутствующих ни малейшего впечатления. Как ни в чем не бывало каждый продолжал заниматься своим делом: Атаназиус Кловис играл на клавесине, тип с дырявой газетой по-прежнему делал вид, что читает новости столетней давности, старичок в остроконечном колпаке монотонно диктовал, чучело филина усердно записывало, а китаец мирно клевал носом над своими шахматами. И лишь один участник чаепития встал из-за стола, — при этом тело его приняло такое положение, будто сопротивлялось встречному ветру, — и направил немигающий взгляд куда-то поверх головы Атаназиуса Кловиса. Человек этот был высок ростом. Голову его украшал веночек из желтых цветов омелы, густые волосы ниспадали на плечи. Высокий лоб, твердый подбородок и тонкие черты лица — все это говорило о силе и благородстве, а едва приметное выражение грусти выдавало склонность к глубоким размышлениям и одиночеству. Но — как бы это сказать? — было в этой совершенной красоте нечто для челове-

ской природы не возможное в принципе, даже чуждое ей, и вместе с тем неуловимо притягательное. Особенно — в глазах. Широко открытые, неподвижные... В глубине их таилась ночь, озаренная звездным серебром. Адуляр не в силах был отвести от них взгляд. «Если это человек, — думал он, — и если таков человек, то кто же в таком случае я, и вообще все люди?» Но сейчас, видя воочию столь совершенное существо, неудивительно было бы за сон принять явь.

Музицирование Атаназиуса Кловиса вошло в более спокойное русло. Пернатые механизмы угомонились, затихли в ветвях, и человек с серебристыми глазами медленно опустился на свой стул. Он улыбнулся Адуляру улыбкой печальной, отрешенной, и тут же отвернулся к нарисованным окнам.

— Ну что? Сдается мне, вы уже вполне освоились.

Это был господин Магор. Адуляр так увлекся, что и не заметил, как тот вернулся в сопровождении пана Рышарда.

— Еще чаю?

Но Адуляр не успел ответить: его опередил ученый старичок.

— Стало быть, господин Магор, вы все-таки нашли его? — спросил он как бы между делом, ни на миг не отвлекаясь от своей книги.

— Терпение, господин Архивариус, терпение! — с самым беззаботным видом отвечал тот. — Есть хорошая новость.

На этот раз старичок, он же г-н Архивариус, не выдержал и поднял голову, да так резко, что ученый колпак его съехал на затылок.

— Новость? Хорошая? Я не ослышался, господин Магор?

— Не ослышались, — подтвердил пан Рышард, неторопливо протирая платочком пенсне.

— Так не томите же!

— Витязь Эль Нат скачет сюда, — сообщил Магор, усаживаясь за стол и наливая себе в чашку чай из китайского фарфорового чайничка с изображением летящего дракона. — Даже не скачет, а летит...

— Во весь опор! — уточнил пан Рышард.

— И, пожалуй, это пока все, что я могу вам сказать, — закончил Магор.

Г-н Архивариус многозначительно кивнул головой, так что его ученый колпак качнулся, словно башня во время землетря-

сения, и вернулся к чтению своей книги. В тишине было отчетливо слышно шуршание и шорох старинного пергамента под его шершавым пальцем, поскрипывание пера, которым бесперебойно орудовало чучело филина, и потрескивание восковых свечей в жирандолях.

— Что же вы перестали играть, друг мой Атаназиус? — спросил Магор, вставая из-за стола и с саркастической улыбкой направляясь к клавесину. — От вас исходит такая тишина, что меня так и подмывает ударить в литавры!

— Ах, учитель! Что ж играть-то понапрасну, если все равно никто не слушает.

— Никто?

— Никто.

Магор повернулся к присутствующим с таким видом, будто хотел сам удостовериться в невозможном. Заметив человека с серебристыми глазами, который в эту минуту склонился над хрустальным бокалом, в котором сиял какой-то напиток, он возразил:

— А наш прекрасный Тиндалин?

— Вы надо мной смеетесь, учитель? — обиженно воскликнул Атаназиус Кловис. — Неужели я так плохо играл?

— Ну, очевидно, не так уж и плохо, если Тиндалин слушал.

— Да ведь он глухонемой!

— Друг мой Атаназиус, — в голосе Магора послышался призыв металла. — Не следует судить столь опрометчиво и прямолинейно. — Но тут же смягчившись, добавил: — Возможно, наш Тиндалин и глух, и нем... Возможно, глух и нем он только по отношению к этому миру, но не к голосам прекрасных духов, живущих в музыке. Впрочем, если такое объяснение вам кажется слишком романтическим...

— Нет, нет, учитель! Я был неправ... Я не подумал.

— Нет, вы подумали. Но подумали именно то, что подумал бы и всякий другой, окажись он на вашем месте. Вот где кроется ошибка. Даже зло, если хотите. У вас, Атаназиус Кловис, нет права быть таким, как все. В противном случае о музыке и не мечтайте.

С этими словами Магор сам уселся за клавесин.

— Давайте-ка лучше что-нибудь сыграем вместе.

— Что бы вы хотели, учитель?

— Что-нибудь душещипательное, мелодраматическое... Ну, например, «Nature boy» или «My Foolish Heart»¹, — Магор взял несколько вступительных аккордов. — Где ваша скрипка, друг мой? Помнится, вы предпочитаете ее всем другим инструментам. Не так ли?

— Вот она! — отозвался Атаназиус, становясь в журавлиную позу и подстраивая скрипку.

— Прекрасно! Великолепно смотрите! Осталось только подтвердить это внешнее великолепие делом.

— Я готов.

— Ну, тогда «My Foolish Heart»! — провозгласил Магор, и начал играть.

Изложив основную тему, надо сказать, довольно непривлекательную, он с большим мастерством и виртуозностью развивал ее до тех пор, пока не зазвучала совершенная по форме и изложению трехголосая fuga. «Душещипательность», на которой с самого начала так настаивал Магор, превратилась в «философичность», а та, в свой черед, после кульминации — простой, ясной и убедительной, — снова обернулась «душещипательностью», но только теперь уже благодаря контрасту, с ностальгическим привкусом, словно воспоминание о былом величии — былом и невозвратимом... Несколько прозрачных аккордов... Пауза... Звуки остывают, но не до конца: нежные обертоны послезвучий еще колеблют тишину... Еще аккорд... отголосок... снова пауза... и... классическое завершение через доминант-септ-аккорд в тонику... Магор поднял голову — от избытка чувств голубые глаза его стали синими, как море на глубоководье, — и в то самое мгновение, когда смычок взмыл над головой Атаназиуса Кловиса, готовый скользнуть сверху вниз по скрипке, чтобы извлечь из нее первый пронзительно-нежный звук, высоко в стене, почти под самым потолком, отворилось маленькое слуховое оконце и из него, вместе с лучом яркого света, полилось томное пение трубы. Все дрогнуло вокруг, тени метнулись по стенам, вздох блаженства почти зримым фантомом взлетел вверх, к слуховому оконцу, и там заискрился в луче света, готовый в любую минуту взорваться, подобно шаровой молнии. Воздух, пронизанный и наэлектризованный музыкой, проникал, питая каждую живую клетку, насыщал слух, зрение и дыхание, очищая их и открывая

¹ «Дитя природы», «Мое глупое сердце» (англ.) — известные джазовые баллады.

заново. Бесконечно хотелось вкушать этот нектар, и лишь голос души, вечной и нездешней, словно из каких-то дальних далей, предостерегал, напоминая, что такое блаженство не может быть бесконечным на земле смертных. Тогда не правильной ли было бы покинуть эту землю, покинуть как можно скорее и без сожалений? — Мысль эта, являвшаяся во всей своей определенности, простоте и неизбежности, придавала усладе немалую толику горечи — вполне достаточную, как подумалось Адуляру, чтобы осознать механизм грехопадения, — и, очевидно, по-иному на земле смертных и быть не могло.

Но вот отлетел последний звук. Слуховое оконце захлопнулось, луч света исчез и воцарившиеся беззвучие и неподвижность словно бы увековечили эту минуту. На сумрачной их поверхности все еще выпукло проступали только что отзвучавшие образы. Это было похоже на некий умозрительный палимпсест: идеальное бытие все еще просвечивало сквозь плотный слой небытия. И будто в причудливом узоре минерала, в минуте тишины переплелись и короткий век стрекозы, и вечная жизнь божества.

Атаназиус Кловис опустил смычок, так и не прикоснувшись к струнам. Лицо его побелело, под глазами проступили мешки, и сам он весь ссутулился и, казалось, даже уменьшился в росте. Вслед за его смычком зашевелилось и все почтенное собрание. Благоговейные вздохи и шепот наполнили залу. У Адуляра было такое впечатление, будто он проснулся в музее восковых фигур, которые внезапно ожили.

— Да, сегодня явно не ваш день, — сказал Магор убитому горем скрипачу. — Однако, дорогой Атаназиус, это еще не повод для отчаяния. Вот что я вам скажу, — он встал и закрыл крышку клавесина. — Во-первых, разогнитесь и поднимите голову, ведь вы красивы и талантливы. А во-вторых, впредь больше времени уделяйте Баху и поменьше Бахусу, и тогда вы будете столь же искусны, как Адорнас Сквелекейла, — и Магор указал на слуховое оконце, — в чем у меня нет ни малейших сомнений.

Затем, пожелав всем доброй ночи, Магор увлек за собой Адуляра, и они, снова проделав длинный путь по коридору, остановились у знакомой двери.

— Ну вот и ваша келья, — сказал Магор.

— Скажите, а кто этот Атаназиус Кловис?

— Один из наших фамулусов... или школяров. Вы еще познакомитесь.

— А кто это играл на трубе?

— Адорнас Сквелекейла.

— Тоже фамулус?.. Или школяр?

— Более чем, — уклончиво ответил Магор. — Последние лет десять он живет затворником, так что увидеть его практически невозможно. Но вам, может быть, и повезет... А сейчас отдохай-те, завтра будет о чем поговорить.

Адуляр и в самом деле нуждался в отдыхе. Он был все еще очень слаб. Войдя в келью, в это новое свое, пока что необжитое жилище, он зажег лампу и, едва раздевшись, лег в кровать, и сразу уснул. И снилось ему, что посреди огромной городской площади он играет на органе, на котором никогда в жизни не играл. И музыка была прекрасной. А потом пришел Атаназиус Кловис, похвалил за игру и сказал, что собирается на войну с коварным Шашелем, который все время норовит живьем загрызть его скрипку. Они распили на прощанье бутылку лафита, которого Адуляр никогда в жизни не пил, и Атаназиус поклялся, что еще вернется, и тогда они вместе сыграют на эоловых арфах, и третьим будет ветер, — и они сведут с ума всех чудовищ этого мира... Затем явился Адорнас Сквелекейла в коконе из света. «Я знаю, именно так ты и живешь теперь, СказАдуль, — сказал он. — Даже имя твое нынешнее пока ни о чем не говорит. Нам всем следовало бы вернуться к эфирной структуре, ибо в ней совершенство и источник золотой росы, которая врачует наши души». Произнеся столь загадочные слова, Адорнас Сквелекейла растворился в своем световом коконе, а кокон — во мраке сна Адуляра. Но тут перед ним вырос Тиндалин, тот самый дивный глухонемой с серебристыми глазами, и заговорил с ним на каком-то неведомом наречии. И оно звучало как музыка, и он все понимал. Звучащий смысл во всех его тончайших переливах проникал в самое сердце, наполняя его радостью. Это было ощущение полноты свободы, отчего, казалось, он проживал одновременно жизнь до жизни и жизнь после смерти... А потом ученый старичок, г-н Архивариус, благоговейно читал ему вслух Книгу Короля:

«О, мой Король! В твоём сердце лучезарные отсветы утренних небес и огненно-черные тени подземных глубин. Благоухание нежных цветов и зловоние распада — вот то, что ты принял в наследство. Вот твоё достояние. Сгущай и растворяй, и снова сгущай!»

ПОПУГАЙ ГУСТАВ И НОВЫЕ ТАМПЛИЕРЫ

— А что, недурной сон! — сказал Магор, раскуривая трубку.

Они сидели в библиотеке в высоких мягких креслах, у горящего камина, в окружении стройных книжных рядов.

— А СказАдулем он назвал вас, очевидно имея в виду, что вы, не в обиду будь вам сказано, пока что еще не Сказочник, да к тому же и не вполне Адуляр. Вот и получился СказАдуль!

— Сдаюсь! — воскликнул Адуляр и рассмеялся.

— Но вернемся к началу нашего разговора. В медицине бывают случаи необычные. И далеко не все они могут диагностироваться как болезнь.

В эту минуту из висевшей над письменным столом клетки выпорхнул попугай и, сделав в воздухе несколько взмахов крыльями, уселся на плечо Магора.

— Кстати, вот хотя бы и эта птица! Взгляните на нее.

— Попугай, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь. Можете познакомиться, его зовут Густав.

— Здравствуйте, Густав. Меня зовут СказАдуль.

— Привет, детка! — просипел попугай голосом старого сифилитика и свистнул так пронзительно, что сразу стало ясно, что именно подразумевалось в старинных авантюрных романах под «разбойничим свистом».

Магор ухмыльнулся:

— Что поделаешь, манерами мой пернатый друг не блещет. Видите ли, он всех называет «детками». Очевидно, по праву старшинства, ибо ему не менее трех сотен лет. Во всяком случае, так он сам утверждает.

— Так и есть, детка! — откликнулся Густав.

— Птица сия, — продолжал Магор, — по всем признакам, общепринятым в медицине, была безнадежно больна. Но я вылечил ее в течение нескольких дней. И можете мне поверить, смертельный недуг прошел, будто обычный насморк.

— Что же это за недуг такой был?

— Тоска по голубой розе и воде бессмертия.

И далее Магор поведал историю, которая Адуляру показалась несколько странной, если не сказать хуже. Впечатление безумия усиливалось и поведением самого попугая. Он то за-

рывался клювом в седую бороду своего хозяина, то, нахохлившись, испытующе посматривал на гостя, будто спрашивая: «Ну что, детка, ты когда-нибудь видел голубую розу? А воду бессмертия пил?»

Вот вкратце эта история:

НЕСКОЛЬКО СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ПОПУГАЯ ГУСТАВА,
написанная готическим шрифтом
на географической карте Европы

...Итак, в те далекие времена, о которых здесь пойдет речь, Магор был немцем Иоханнесом Гретером, профессором и доктором медицины, и имел частную аптеку, а вместе с ней и скромную фармацевтическую практику в Мюнхене. Попугая Густава он купил в 1913 году, будучи по делам в Гейдельберге, у вдовы своего давнего приятеля, отставного майора Генриха фон Глюка, который внезапно скончался от апоплексического удара. Вручая клетку с птицей чудаковатому покупателю, вдова честно призналась, что несмотря на свое весьма стесненное материальное положение, она все же не хотела бы пользоваться доверчивостью благородного господина, а потому с полной ответственностью предупреждает, что Густав, хоть и крылат, но отнюдь не ангел и позволяет себе болтать, что в голову взбредет, к месту и не к месту. Чаще — не к месту. Аптекарь поблагодарил вдову фон Глюк за любезность и столь похвальную, истинно немецкую щепетильность, но попугая все-таки купил, хотя слово «купил» Густаву всегда не нравилось, а потому следовало употреблять слово «приобрел», а еще лучше — «обрел». Так вот, «обрел» он его, главным образом, в память об усопшем друге. Но была еще одна важная причина. Семейное предание гласило, что будто бы некогда птица принадлежала Бернду Вильгельму Генриху фон Клейсту, знаменитому поэту и драматургу, от которого она перекочевала к некоему профессору-гебраисту Моисею Зехтеру, и затем уже к покойному майору фон Глюку.

Попугай Клейста... Самого Клейста! Подумать только! Почему бы столь словоохотливой птице не декламировать что-нибудь этакое из произведений великого драматурга? Прежде всего, аптекарь Иоханнес Гретер надеялся услышать что-нибудь из сожженного варианта «Роберта Гискара». Почему бы и нет?

Разве не приходилось ему и раньше прибегать к самым, на первый взгляд, невероятным способам, чтобы восстановить, а по существу — вернуть из небытия, ту или иную утраченную рукопись или книгу?! В любом случае стоило попробовать. И если бы удача ему улыбнулась — о, сколь важным это могло бы оказаться для истории!.. Но каково же было разочарование г-на Гретера, когда по возвращении в Мюнхен Густав начал с того, что, тараща глаза наподобие какого-нибудь грубого фельдфебеля, лихо выпаливал полный набор армейских строевых команд и пытался запугать своего нового хозяина, а заодно и его пациентов, карцером и кайзером. А уж верноподданнические речи сыпались из его луженой глотки и днем и ночью, и успокаивался он, лишь после того как на клетку, в которой он бесновался, набрасывали прусское знамя. Во всем этом угадывалось влияние отставного майора фон Глюка. Да и грозный дух времени сыграл не последнюю роль: как известно, назревала Первая мировая война. Результаты, разумеется, были самыми плачевными: от аптекаря Гретера разбежались не только большинство постоянных клиентов и учеников, но даже прислуга, которая за много лет верной службы пребывала на положении уже почти родственников.

Совершенно расстроенный, г-н Гретер, однако, никак не мог согласиться с таким положением вещей, а потому принялся методично искоренять милитаристский угар, укоренившийся в мозгу не в меру воинственной птицы. И, слава Всевышнему, его усилия увенчались успехом! Уже спустя два года, то есть в самый разгар войны, сотрясавшей Европу, попугай в совершенстве владел латынью, декламировал наизусть оды Клопштока, любовные сонеты Шиллера, и к ним впридачу — «Lorelaj» Брентано:

Die Ritter mußten sterben,
sie konnten nicht hinab;
sie mußten all verderben,
ohn Priester und ohn Grab...¹

¹ И рыцари уныли —
Пришлось им умирать...

Не дали им могилы,
Не стали отпевать... — *Перевод с нем. О. Брандта и А. Старостина.*

Но гвоздем программы все же оставался «Плач Иеремии». Его Густав воспроизводил с такой силой и так убедительно, словно то был его собственный плач:

...Мы отпали
И упорствовали;
Ты не пощадил.
Ты покрыл себя гневом
И преследовал нас, умерщвлял, не щадил...

Что ж, после горчичного газа, уносившего десятки тысяч жизней на полях брани, после Вердена все это звучало особенно актуально, а посему очень скоро скромным аптекарем заинтересовалась тайная полиция. К счастью, интерес этот не успел вылиться во что-нибудь существенное: события на континенте стали развиваться столь стремительно, что Германии уже было не до аптекаря и его птицы — о них просто забыли. А после национальной катастрофы и Версальского унижения страна отцов и вовсе погрузилась в апатию.

Кроме того, Иоханнеса Гретера подстерегал еще один неприятный сюрприз. Уже под самый конец войны Густав, что называется, отпал от христианства, и по примеру многих европейских интеллектуалов того времени, увлекся коммунизмом, причем избрав самую вульгарную его интерпретацию. Каждый день с восходом солнца он распевал во все свое птичье горло «Интернационал», а с его заходом целыми абзацами цитировал «Манифест» Карла Маркса: «Призрак бродит по Европе...», и т. д. Мягко говоря, аптекарю стало не по себе, ибо речь шла вовсе не о литературных призраках из готических романов. Тут дурно пахло реальной политикой и, следовательно, вполне реальными неприятностями. Однако худшее было впереди. После большевистского переворота в России у попугая Густава проявились леворадикалистские настроения, которые особенно усилились после заключения Брестского мира. Временами он впадал в продолжительную коммунистическую экзальтацию, бредил классовой борьбой, мировой революцией, прокламациями и экспроприациями, а на смену таким абстрактным и, в общем, наивным лозунгам, как «Штыки — в землю!», «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим!», пришли новые, ультимативно-залихватские: «Долой розовые сопли! Даешь крас-

ный террор!», «Плеханов — прошлое! Троцкий — будущее!», на смерть перепугавшие совершенно аполитичного и к тому же не приемлющего категоричности в любом ее виде профессора. Но, как выяснилось в дальнейшем, все эти заигрывания с марксизмом были всего лишь проверкой реакции хозяина, то есть своего рода пробным шаром. Да и к чести самого попугая надо сказать, что, будучи гуманистом, он довольно скоро разуверился в революциях, как способах преобразования жизни, особенно взяв во внимание моря проливаемой ими крови.

Первые два года после провозглашения Веймарской республики в доме царили относительные мир и спокойствие, чего, к сожалению, нельзя было сказать о державе в целом. Густав вел себя вполне прилично: не носился по всему дому как угорелый, не воровал пирожки с брусникой из хозяйского буфета, а по вечерам даже развлекал аптекаря строфами из «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха вперемешку с отрывками из «Ивейна» Гартмана фон Ауэ. С поистине вагнеровским пафосом он воспроизводил целые страницы из «Книги героев» или мог часами без устали рассказывать истории собственного сочинения о карлике Лаурине и Розовом саде или о Хугдитрихе и Вольфдитрихе — одним словом, все то, что в Германии зовется *Naturpoesie*¹. Но однажды за завтраком ни с того, ни с сего попугай принялся воспевать «бури и битвы» и в почти религиозном экстазе превозносить Вотана. Аптекарь насторожился. И не напрасно, поскольку далее из птичьего клюва посыпались такие сведения, от которых у него волосы на голове зашевелились. Речь шла о так называемых «Новых Тамплиерах», об австрийском замке Верфенштейн, под сводами которого разносились зловещие призывы, вроде таких: «Принесите жертву Фрадже, вы, дети богов! Положите детей тьмы ему на алтарь». Затем изменившимся до неузнаваемости голосом попугай поведал, что он лучший друг барона фон Зеботтендорфа, после чего со знанием дела взялся рассуждать о восточных масонах, чья конституция 1717 года, по его мнению, обозначила отход от правильного пути. Потом он еще добрые полчаса нес какую-то околесицу о «великом солнце» Туле Гезельшафт и о том, что «солнце» сие, дескать, освещает дорогу возвращения домой для всех потерянных арийцев, дабы те подготовили будущий приход сверхчеловеков.

¹ Естественная поэзия (нем.).

Но и этим проклятый попугай не ограничился, о нет! Хуже того, в мельчайших подробностях он излагал всяческие параноидально-фантастические учения, среди которых, между прочим, фигурировала и небезызвестная «ледяная» концепция мироздания Ганса Гербигера, чьи нордические предки, как следовало из нее, окрепли в снегах и льдах «полой Земли». Впрочем, по мнению попугая Густава, за «полую Землю» ответственность нес уже не Гербигер, а некий германский авиатор лейтенант Петер Бендер, которого Гербигер якобы сильно недолюбливал, считая его узколобым выскочкой, помешавшимся на трудах Сайруса Тида: мол, далеко пойдет, но плохо кончит. Затем следовало долгое перечисление имен каких-то людей, и в этот перечень входил также и покойный майор фон Глюк. И вот тут-то г-н Гретер сразу все понял. Нет, конечно, попугай Густав отнюдь не являлся посвященным, как его бывший хозяин, тем не менее, ему было известно слишком много такого, чего простому смертному знать нежелательно, а тем более долгожителю, если он и дальше хочет жить, даже если он — птица. «Хватит! Хватит! — завопил аптекарь. — Господи! Этого еще только нам не хватало! Немедленно забудь все, о чем ты сейчас тут болтал! — строго наказал он Густаву. — Я запрещаю тебе все это помнить. Ты слышишь? Запрещаю для твоего и моего блага!» Но Густав вертел непокорной головой и кричал: «Esce dementia! Esce dementia!»¹

Неприятности, как и ожидалось, не замедлили себя обнаружить. Холодное утро 8 ноября 1923 года г-н Гретер запомнил надолго, ибо оно стало судьбоносным не только в его жизни, но и в истории Германии, и даже всего мира. Поднявшись с постели и на скорую руку позавтракав, он отправился, как обычно, пешком, сначала на почту, расположенную на Банхофплац, с десятком накопившихся за последнюю неделю писем, потом — на Людвигштрассе в адвокатскую контору к г-ну Гаунерману, с которым, запершись в кабинете, целый час о чем-то шептался, а затем посетил книжную лавку милейшего г-на Бухвурма, где за чашечкой кофе рассеянно пролистал несколько книг из новых поступлений. «Как успехи у вашего подопечного? Он уже вспомнил что-нибудь из сожженного “Гискара”?», — полубобытствовал г-н Бухвурм. «Увы, мой друг! Пока нечем вас порадовать». — «И то правда, любезный господин Гретер, радостей в нашей

¹ Это безумие! (лат.).

жизни всё меньше и меньше. Вот и в городе что-то недоброе назревает» — «Недоброе?..» И действительно, выйдя из книжной лавки на улицу, аптекарь заметил, как из пивной напротив двое людей выносили ручной пулемет и грузили его в коричневого цвета опель-кадет. Мысли о «чем-то недобром» напрашивались сами собой. Вернувшись уже к вечеру, он застал в своем доме полный хаос. Химическая лаборатория была разгромлена, груды книг свалены прямо на пол, столы и стулья поломаны, а попугай Густав бесследно исчез! Его опустевшая клетка сиротливо валялась в углу. Ни о погибшей лаборатории, ни о поломанной мебели аптекарь так не кручинился, как о своем пропавшем питомце. Человек сдержанный и трезвомыслящий, он, тем не менее, от горя разрыдался, ибо за годы успел привязаться к Густаву и даже полюбить его, как родного сына, тем более что своими детьми он так и не обзавелся. «Ах, Густав! Ах, Густав! — причитал он, стоя один-одинешенек посреди разгромленного дома. — Говорил же я тебе, непутевому: придержи язык, не то все кончится плохо. Не послушал ты старого своего папашу. Ох, не послушал!..»

Но горевать, по правде говоря, времени не оставалось. Нужно было уходить отсюда, и как можно скорее, поскольку те, кто похитил Густава, этим не ограничатся. Теперь очередь за Иоханнесом Гретером, которого спасла лишь случайность. Аптекарь метнулся из одного угла в другой... Махнув рукой, он оставил все как есть, и побежал в ванную комнату за зубной щеткой. Вся денежная наличность была при нем. Бросив в саквояж сменное белье и зубную щетку, он подкрался к распахнутому настежь окну, чтобы осмотреть улицу. Над Мюнхеном сгустились сумерки, окрашенные кровавым отсветом заходящего солнца. Дул сырой промозглый ветер, разнося едкий запах угольного брикета, которым отапливалась вся Германия. Внезапно что-то влетело в окно и с диким воплем вцепилось в грудь аптекаря, который от неожиданности тоже завопил не своим голосом. Густав! Это был Густав! Попугай кричал нечто невразумительное, от волнения глотая слова, хлопал крыльями — в общем, пребывал в такой панике, что сразу стало ясно: каким-то чудом он вырвался из плена, и теперь за ним по пятам следовала погоня. В ту же минуту на лестнице послышался топот ног. Недолго думая, аптекарь запихнул попугая в клетку и, прихватив саквояж, выпрыгнул в окно прямо на мостовую. Какое счастье, что жил он на втором этаже!

Так, с клеткой в одной руке и с саквояжем — в другой, мчался он по темным узким улицам. Позади слышны были крики преследователей, которые вскоре утихли.

Через полчаса беглецы уже стучались в дверь двухэтажного дома, одиноко стоявшего на окраине города. В этом доме, полученном в наследство от богатого дядюшки, аристократа и сибарита, всю жизнь бездетствовавшего и феерично скончавшегося в ложе оперного театра в Байрейте на руках некоей *madame Quoï-Quoi*¹, обитал лучший и самый верный ученик г-на Гретера, будущий провизор, студент Бруно. Бедняга, унаследовавший большую часть наследства и лишь малую часть сибаритства своего дядюшки, уже готовился отойти ко сну и потому встретил своего учителя не совсем в подобающем виде — в ночной пижаме, с сеточкой для волос на голове и дымящейся сигарой во рту. «Пустое!» — только и выкрикнул в ответ на его извинения г-н Гретер, протискиваясь со всеми своими пожитками в открытую дверь. «Это вы нас простите за столь позднее вторжение, — сказал он уже в гостиной, опуская на пол саквояж и клетку с птицей, — но дело не терпит отлагательств», — г-н Гретер и попугай Густав в четыре глаза уставились на студента Бруно. «Весь к вашим услугам, профессор. Что же это за дело такое?» — зевая в ладошку, поинтересовался тот. «Сначала опустите шторы». Выслушав ужасную историю, приключившуюся с учителем и его попугаем, студент Бруно пришел в сильное возбуждение и тут же поклялся, что не оставит их в беде. Только забрезжил рассвет, он отправился на железнодорожный вокзал и вскоре вернулся с двумя билетами на поезд в кармане. «А кому второй билет? — поинтересовался аптекарь. — Я ведь один, а Густаву по причине того, что он птица, билет не нужен». — «Второй — мне! — решительно отвечал ученик. — Я еду с вами, профессор». — «Но, друг мой, это очень опасно! На нас, похоже, объявили настоящую охоту...» — «Вот и отлично! Именно потому я вас и не брошу». Слова Бруно тронули г-на Гретера до глубины души. Но сейчас было не до сантиментов, и друзья стали быстро собираться в дорогу, на ходу обсуждая дальнейший план действий. План был прост и гениален: поселиться в Вене, то есть под самым носом у преследователей, которым вряд ли пришлось бы в голову разыскивать их там, где для них находиться было опасней всего.

¹ Мадам Куа-Куа. Quoï? — Что? (*франц.*, вопросительная форма).

По дороге на вокзал, в самом центре города, на Одеонсплац, беглецы чуть не угодили в самую настоящую перестрелку. Глазам их предстала страшная картина: когда дым после очередного ружейного залпа рассеялся, на мостовой остались лежать десятка два человек, а навстречу шеренге полицейских с гордо поднятой головой маршировал какой-то старик, в котором чувствовалась военная выправка. К своему величайшему изумлению, аптекарь узнал в нем героя прошедшей войны, генерала Людендорфа. Остававшиеся за его спиной люди, бросая оружие, бежали кто куда. Некоторые запрыгивали на ходу в подкатывавшие из прилегающих улиц автомобили, которые, с визгом от совершаемых крутых виражей, быстро уносили их прочь. А генерал упрямо продолжал маршировать, чеканя шаг, в полном одиночестве, вперед и вперед, ни разу не оглянувшись, но никто и не думал в него стрелять. Вся эта гротескная сцена, несомненно, противоречила принципам «тотальной войны», автором которых и являлся генерал Людендорф, так что сразу бросалось в глаза, насколько он был разъярен. Казалось, сейчас он хотел одного: погибнуть на этом месте, чтобы больше никогда не испытывать такого позора. «Бежим! — прокричал студент Бруно, хватая аптекаря под локоть. — Надо торопиться!» — «Да, похоже, прежней тишины и спокойствия здесь уже не будет», — ответил г-н Гретер и поспешил за ним.

Только оказавшись в Вене, г-н Гретер вздохнул с облегчением. Здесь, в австрийской столице, троица вела уединенный образ жизни, стараясь держаться как можно более неприметно. Так в относительном покое прошло несколько лет. Под вымышленным именем Алоизиуса де Монфлакона г-н Гретер практиковал в своей новой аптеке, писал книги и постепенно разыскал нескольких своих давних венских коллег, которым мог всецело доверять. Это были люди, хорошо осведомленные не только в науках, но и в событиях, происходивших на белом свете в ту пору, и, что особенно важно, в тех, которые должны были случиться в ближайшем будущем. Кажется, осенью 1931 года один из них сообщил аптекарю, что некто по имени Отто Ран побывал с экспедицией во французских Пиренеях и сделал ряд любопытнейших находок, среди которых якобы фигурировала особо ценная реликвия — Чаша Грааля. «Опять этот Грааль!» — негодовал г-н де Монфлакон. Вскоре, как и следовало ожидать, поползли слухи, для которых в действительности не было, да и не могло быть

ни малейших оснований, — аптекарь-то прекрасно знал, что там, в Пиренеях, самого предмета всех этих спекуляций нет вот уже 687 лет. Но фанатичный авантюрист продолжал упрямо настаивать на своем и два года спустя опубликовал книгу под претенциозным названием «Крестовый поход против Грааля». Движимый исключительно добрыми побуждениями, г-н де Монфлакон (он же Иоханнес Гретер, он же Магор) написал Отто Рану эпистолу с предостережением от ошибки, которая могла бы иметь для экзальтированного искателя истины самые роковые последствия. «Как это ни прискорбно, — писал он в этом послании, — но даже из поисков Святого Грааля можно сотворить мировую бойню, и существуют некие силы, неустанно стремящиеся именно к такому развитию событий и готовые использовать в своих темных замыслах любого, кто имеет к Тайне хоть малейшее отношение. Святыня, которую Вы разыскивали в замке Монсежюр, находится совершенно в ином месте, и это так же верно, как и то, что поиски надгробия Великой Хранительницы этой Святыни также были изначально обречены на неудачу, ибо оно, надгробие это, никогда не существовало. Я не вправе сказать Вам большего, однако же умоляю Вас отнестись к моим словам со всей возможной серьезностью. Не ослепляйте свой разум самообманом и гордыней и, тем более, опасайтесь брать на себя ответственность за лжесвидетельство, пусть даже и неумышленное...» Увы, как выяснилось впоследствии, предостережение не помогло, и предположительно в 1939 году Отто Ран погиб, как это принято было говорить, «при невыясненных обстоятельствах». Вероятнее всего, эпистола аптекаря Алоизиуса де Монфлакона, подписанная одними лишь главными буквами «А. М.», была прочитана не только Отто Раном (если она вообще была им прочитана). Такой вывод напрашивался сам собой, потому что буквально через три дня после того, как письмо было брошено в ближайший почтовый ящик nicht weit vom Gebäude der Wiener staatlichen Oper¹, за домом, в котором жили трое друзей, установилась слежка. Пришлось уносить и ноги, и крылья.

После ряда скорых и скрытных перемещений беглецы оказались в Праге. И, как не трудно догадаться, поселились они на улице Алхимиков в Пражском Граде, благо средств на жизнь по-

¹ Неподалеку от здания Венской государственной оперы (нем.).

ка хватало. Восстановив давние отношения с двумя «новыми рудольфинцами», влиятельными господами из старинных аристократических родов, г-н де Монфлакон заручился их поддержкой, что позволило обзавестись новым паспортом на имя Венцеслава Насмишила.

К несчастью, попугай Густав и в Праге проявил излишний интерес к оккультным наукам. В отсутствие хозяина он выучил наизусть трактат Кеплера «Сон, или Астрономия Луны», настырно совал свой клюв в тайны Ордена Мира, учрежденного еще императором Рудольфом, и пытался навести справки о некогда пропавшем императорском экземпляре «Picatrix»... И вот уже по городу поползли нездоровые слухи, возникли подозрения.

Однажды, вернувшись из длительной поездки в горы, аптекарь застал Густава в более чем легкомысленном настроении. Попугай принимал томные позы, одна глупее другой, распускал перья, пошловато подмигивал. Повсюду ему мерещился флирт... Но сильнее всего г-на Насмишила поразило то, что попугай избрал себе идеал женщины! И этим идеалом стала знаменитая Цара Леандер. От этой дивы Густав был настолько без ума, что даже научился весьма точно имитировать ее голос. Но откуда? Откуда этот прохвост мог о ней узнать? — недоумевал аптекарь. Однако очень скоро все прояснилось. Пока г-н Венцеслав Насмишил карабкался по горам в поисках троп и стоянок древних эльфов, — таких как в Пфальце и в Люксембурге, — студент Бруно, человек молодой и не чуждый развлечений, частенько посещал пражские кинотеатры. За компанию он прихватывал с собой и Густава, в надежде отвлечь его от опасного влечения к оккультизму.

Уже на третий день между пораженным г-ном Насмишилом и развязным Густавом разгорелся спор...

— Вас не удивляет, что иногда я спорю с попугаем? — Магор скосил глаза на Густава, дремавшего у него на плече.

— У вас действительно был спор? — спросил Адуляр, стараясь стереть со своего лица дурацкую улыбку.

— Представьте себе, друг мой! Я декламировал ему возвышенные диалоги из Мильтона, а он без тени смущения отвечал мне развеселыми куплетами из «Графа Люксембурга». Признаюсь честно, это меня изрядно нервировало...

...Так прошел месяц, и чувства попугая Густава заметно поугасли. Но когда как-то раз аптекарь застал его за чтением Василия Валентина, то понял, что допустил большую ошибку, отваживая своего подопечного от женщин. Уж лучше кабаре с песнями и плясками, лучше Цара Леандер и даже Марика Рокк, чем не сулящие ничего хорошего поиски Святого Грааля. К тому же начался 1938 год. В феврале канцлер Курт фон Шушниг без боя сдал Австрию рвущейся из границ Германии, а уже через год с небольшим чешский президент Хача упал в свой знаменитый обморок прямо в рейхсканцелярии у ног фюрера, а как только очнулся, подписал приговор своей стране, а заодно, сам того не ведая, и всей пражской спокойной жизни скромного триумвирата в составе аптекаря Венцеслава Насмишила, студента Бруно и попугая Густава. Этот политический казус случился 15 марта 1939 года. Аптекарь хорошо запомнил эту дату потому, что именно в эту ночь, возвращаясь домой узкой кривой улочкой, он заметил, как за ним, скользя по стенам домов, крадутся две длинные тени.

Следующим пристанищем стал Краков. Несколько месяцев, прожитых в тревожном ожидании надвигающейся войны у друзей-художников на улице Флорианской, неподалеку от Рынка, растянулись в сплошную *szarą godzinę*¹, поскольку из страха себя обнаружить беглецы покидали свое пристанище только поздними вечерами. В Литву они также пробирались по ночам. Но и она не стала их последним убежищем. Печальный парадокс заключался в том, что, прибыв в одну страну, они уже осенью, никуда не выезжая, оказались совсем в другой стране: после падения Польши Литву оккупировала Красная Армия. От таких метаморфоз голова шла кругом. И тут один литовский поляк, бывший профессор Вильнюсского университета, а ныне, как он сам утверждал, алхимик, посоветовал г-ну Кшиштофу Крагелю, как теперь по новому паспорту звали г-на Магора, перебраться в Киев к его другу Рышарду Кобольд-Юревичу, человеку хорошо образованному и абсолютно надежному. До революции этот пан держал ресторан и магазин на одной из самых романтических улиц города, а задолго до того издал в Страсбурге очень неплохую книгу о химических и духовных свойствах металлов. Книга была написана латынью и имела очень длинное название. А еще раньше вместе с герцогом Фландрским пан Рышард участвовал в осаде Антиохии... Но то было так давно, что он и сам едва помнил об этих событиях...

¹ Серый час, сумерки (польск.).

Глаза Адуляра чуть не вылезли из орбит от изумления, но Магор оставался невозмутимым и продолжал свой дивный рассказ:

— Получив необходимые сопроводительные письма, мы спешно покинули Вильнюс и уже спустя несколько дней были в Киеве. При первой же встрече с паном Рышардом Кобольд-Юревичем я понял: вот он, долгожданный итог наших мытарств. Мы поселились в этой квартире, где мы сейчас с вами находимся. По словам пана Рышарда, она «перестала существовать со времен Киевской Чехарды» — так он называл многочисленные смены властей в 1918 году. Другими словами, она не числится ни в одном муниципальном документе. Уж не знаю как, но ее потеряли. Зато для нас эта потеря была настоящей находкой! Мы так и стали называть наше новое пристанище: Дом. Просто Дом. И все здесь нас более чем устраивало. Видите ли, друг мой, я и раньше жил не в одной только Германии. Сказать по правде, я и немцем-то был ровно столько же, сколько французом или англичанином, или испанцем, и куда бы меня ни забрасывала судьба, везде чувствовал себя как дома... И однако все было далеко не так просто в те неистовые времена. Наш Дом, как оказалось, представлял собой райский островок посреди крошечного Ада — маленький, хрупкий, и все же неуязвимый... Через некоторое время пан Рышард ввел нас в некое блистательное сообщество, членом которого я состою по настоящий день, и все шло как нельзя лучше, если под этим понимать, что мы не умерли с голоду, что нас не арестовали и не расстреляли как иностранных агентов или просто за то, что мы умели читать и писать, — ибо за все эти годы мы ни разу ничем не выдали своего, так сказать, «опасного» присутствия. Однако наше уединенное и тихое существование в этом городе внезапно было сильно потревожено. В один из солнечных июньских дней сквозь толстые стены нашего Дома мы с изумлением услышали раскаты взрывов. Воздух гудел и дрожал, и весь город сотрясался, как во время землетрясения. Я выбежал на улицу. Огонь, столбы черного дыма, канонада, людские крики. В синем небе, сквозь редкие облачка от разрывов зенитных снарядов, летели крестообразные силуэты, посверкивая на солнце стальными боками. Как потом пелось в известной песне: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война!». Der Krieg, la Guerre, а War, Война — так теперь называлась то, что раньше принято было называть жизнью людей!

Я давно заметил, что чем страшнее события, тем стремительнее они развиваются. Так было и на этот раз. Не прошло и трех месяцев, как полчища тевтонов вступили в брошенный на произвол судьбы город. Это было 19 сентября 1941 года. Пятница, как сейчас помню. В тот день Густав сидел дома, а мы с Бруно находились на Подоле. Паника вокруг царила, можно сказать, образцовая! Матросы Днепровской флотилии только что закончили раздавать населению макароны и консервы и, не успев вовремя покинуть город, теперь разбегались кто куда. Сердобольные люди бросали им гражданскую одежду, в которую матросы переодевались на ходу. Но, увы, смерти или плена, как известно, избежали немногие! В то же время горожане громили витрины магазинов и уносили с собой все, что попадалось под руку, в надежде потом продать или обменять на еду. Позднее пан Рышард, наблюдавший всю эту картину с крыши нашего Дома, рассказывал, как на Контрактовую площадь, подобно огромной змее, вползала колонна германских солдат. Возглавлял ее генерал в черном лакированном с откидным верхом «Мерседесе». На углу Константиновской и Верхнего вала его ожидала делегация испуганных горожан с хлебом и солью, так что генералу пришлось несколько отклониться от своего маршрута, дабы принять сии дары и уверения... Меж тем, в строгом порядке колонна двигалась по Александровской улице, которая в то время носила имя Кирова и которой уже в ближайшие дни предстояло стать Doktor-Todt-Straße, через Почтовую площадь и дальше, вверх по крутому Александровскому спуску, в сторону Крещатика и Печерска. Солдаты, чисто выбритые, пахнущие одеколоном, весело улыбались, глаза и волосы их выцвели под жарким солнцем. Они выглядели усталыми, но счастливыми, будто после хорошо выполненной тяжелой и прекрасной работы. О, еще не ведали они, на какую бесславную гибель были обречены!.. Мы поспешили домой и по возвращении сразу ушли, что называется, в глубокое подполье. Правда, раз или два в неделю мои ученики, которыми я уже к тому времени обзавелся и которые жили теперь вместе со мной, всё же выбирались в город. Благодаря их рассказам, порой сбивчивым и противоречивым, я узнавал обо всех новостях. А новости были скверные, одна хуже другой. Так называемый «новый порядок» начался с немедленного введения комендантского часа, принудительной сдачи населением радиоприемников и проти-

вогазов и такого же принудительного — под угрозой смерти! — массового истребления голубей. А потом — пошло и поехало: трупы людей, для острастки населения сутками не убираемые с улиц, виселицы с повешенными на аллее между Верхним и Нижним Валами, торговля человеческим мясом на Житнем рынке, взрывы и пожары на Eichhornstrasse, бывшем Крещатике, бесконечные облавы — настоящая охота на людей, и, наконец, апофеоз людоедства — Бабий Яр... Что и говорить: время было апокалиптическое. «Тевтонская ярость» окрашивала его... Справедливости ради надо сказать, что эта «тевтонская ярость» то и дело разбавлялась «мадьярским высокомерием», «италийской сентиментальностью» и «румынским разгильдяйством». Да и среди немецких солдат и офицеров нередко встречались души благородные, отнюдь не желающие зла местному населению, даже сочувствующие и, по мере сил, помогающие ему: ведь еще вчера многие из них сами были таким же гражданским населением, и дома их ждали такие же жены, дети и старики, и никто не знал: дождутся ли?..

Так мы и жили: впроголодь, в холоде и постоянной тревоге. Ни одной спокойной ночи! Мне, конечно, грешно жаловаться: в отличие от большинства горожан, я и мои друзья находились в сравнительной безопасности. Мы не сражались, у нас не было ни войска, ни оружия. Правда, в подвалах нашего Дома мы с паном Рышардом тайно укрывали людей, которым грозило быть насильственно угнанными в опозоренный Vaterland или быть умерщвленными в Бабьем Яру, но это все, что мы могли тогда сделать. Увы, мало, слишком мало! Да-с... Бедный мой Бруно! Все эти события так его потрясли, что он был на грани нервного срыва. Сам чистокровный немец, он разочаровался во всем немецком и даже готов был возненавидеть его. «Вы еще очень молоды, друг мой, — как мог, успокаивал я его. — Не стыдно быть немцем, хоть и особой заслуги в том тоже нет. И я уверен: среди немцев все еще достаточно порядочных людей». — «Порядочные люди не развязывают войн, — отвечал он мне. — А тем более, таких бесчеловечных!» — «Друг мой, все войны бесчеловечны в принципе, потому что в них человек убивает человека. А что до этой войны, то в ее развязывании, помимо немцев, виноваты все народы Европы и, особенно, политики, которым они столь легковерно доверились. Но я согласен, доля общей вины, конечно, ложит-

ся и на нас с вами». — «Тогда что же нам делать, профессор?» — «То, что и всегда: не терять лица. И чести... Доверимся любви и состраданию, а не ненависти, ибо только любовь и сострадание приведут нас к добрым деяниям. Это будет лучшим оправданием Германии». Больше мы к этой теме не возвращались, да, похоже, и не было в том нужды, поскольку студент Бруно заметно воодушевился. Он часто уходил из дому, и возвращался через несколько дней то в форме офицера вермахта, то во фраке с галстуком-бабочкой, то в лохмотьях бродяги. Мне было совершенно ясно, что за всей этой, извините за выражение, карнавальностью скрывалось нечто более серьезное, чем просто страсть к переодеваниям. «Добрые деяния! — лаконично говорил Бруно. — Во имя Германии, профессор. Истинной Германии». Я видел, как горят его глаза, и очень радовался за него, но и не меньше боялся за его жизнь, и каждый раз, когда он собирался в город, просил его быть предельно осторожным. Это все, что я мог себе позволить, зная упрямый характер моего ученика. Густав же, напротив, становился день ото дня все более угрюмым и молчаливым. Сло́ва не выжмешь! Даже непривычно как-то. Неужели, думал я, он взялся за ум и теперь перестанет молоть языком, о чем не следует? Короче говоря, время шло, и уже казалось, нам ничто не угрожает, пока однажды из очередной своей вылазки не вернулся студент Бруно в женском наряде и с дурными вестями. Он сообщил, что в городе объявился некто Григорий Бостунич с лекциями по ариософии для местной германской элиты. Его якобы видели несколько раз на Chorst Wesselschtrasse, возле Хозяйственного банка на Eichhornstrasse и однажды на Львовской улице, которая теперь называлась Лембергштрассе, то есть уже в довольно угрожающей близости от места нашего обитания. Имя этого господина мне было хорошо известно в связи с провокациями нацистов вокруг честного имени моего друга Рудольфа Штайнера, и я нисколько бы не удивился, если бы мне сказали, что это именно его, Бостунича, горящая спичка была первой при поджоге славного Гётенаума... Но вернемся в осажденный Киев. В ту же ночь я навестил своих друзей из Блистательного Общества. На общем совете было установлено, что Сумрачный Бостунич, как они его называли, посетил Киев отнюдь не ради лекций и даже не для того, чтобы снова вернуть в свою собственность старый Железнодорожный Театр. И

лекции, и театр были всего лишь прикрытием для совсем иной цели, являвшейся тайной даже для германского военного командования и оккупационных властей. На самом деле Сумрачного Бостунича очень интересовало местопребывание попугая Густава, болтливость которого, по мнению Бруно, стала представлять опасность для ряда тайных оккультных обществ в Австрии и Германии. Обо мне же они знали очень мало, можно сказать, почти ничего. Но, как вы понимаете, это обстоятельство ни сколько не облегчало нашего положения. Вот почему на совете решено было прекратить всякие сношения с внешним миром. Нас взяли под неусыпный надзор и защиту и, надо честно признать, надежно опекали до самого конца оккупации. Что до зловещего эмиссара, то он пробыл в Киеве недолго, и дальнейшая его судьба мне не известна. В любом случае, он остался ни с чем.

О, знал бы я тогда, что самым опасным нашим врагом являются не «тулисты», не Новые Тамплиеры и не Сумрачный Бостунич, а тот, кто незримо стоял за ними и направлял все их действия, как делал он это и раньше через таких шарлатанов, как Самюэль Лейхте, известный под ложным именем и титулом «барона фон Джонсона», или вымогатель и провокатор Гутомас, который, поговаривают, был вдобавок к этому иезуитским лазутчиком. И вот этому человеку обо мне было известно достаточно, чтобы стать моим личным врагом. Запомните имя, дорогой друг, имя того, кто является моим злым гением, но и не только моим... Имя его... или одно из множества его имен... Однако, похоже, вы уже спите!

И действительно, Адуляр, видимо, совершенно запутавшись в длинном рассказе Магора и поддавшись расслабляющему воздействию благовоний, куривших в библиотеке, и тепла от камина, крепко спал в кресле, сложив руки на груди и вытянув ноги. Магор улыбнулся, но будить Адуляра не стал. Укрыв его шерстяным пледом, он тихо удалился, бесшумно прикрыв за собой дверь...

А в это время Адуляру снился сон, в котором чучело филина сидело за столом, склонившись над открытой книгой. Снедаемый любопытством, Адуляр подкрался сзади и заглянул в книгу. Золотые буквы горели на солнце, так что весь текст сверкал и плавился, как морская гладь на рассвете. И Адуляр его прочитал, при этом едва не ослепнув:

«О мой Король! Не ты ли сам изо дня в день пишешь эту Книгу? Не твоя ли любовь переплавлена в золото слов? Но знай: чем больше твоя любовь, тем больше ненависти обрушится на твою голову. И чем сильнее твоя любовь, тем яростнее будет насесть и давить ненависть. Ты станешь подобен сжатой пружине...»

V

ПОЛИНЕРВ И ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

На следующее утро Адуляр проснулся там же, где и уснул, в библиотеке. Впрочем, «утро» в этом Доме из-за отсутствия окон было понятием условным и, в изрядной степени, воображаемым. Не обнаружив Магора, он зашел в лабораторию, где имелся умывальник, привел себя в относительный порядок и снова вернулся в библиотеку. Только теперь он заметил на дубовой столешнице завтрак, накрытый, очевидно, для него: черный кофе в кофейнике с длинным изогнутым носиком и бутерброд с козьим сыром на фарфоровом блюде с изображением какого-то замка на горной вершине.

— *Von appétit*, детка! — проскрипел попугай Густав, тарашась на Адуляра с высоты одного из книжных стеллажей.

— Благодарю. Может, составите компанию?

Но Густав ничего не ответил.

Пока Адуляр завтракал, дверь в библиотеку несколько раз приотворялась, и краем глаза он замечал любопытные лица фамулусов Магора.

Подкрепившись, он развалился в кресле и погрузился в размышления: ждать Магора или пойти осмотреть Дом? Так и не приняв решения, он встал с кресла и подошел к письменному столу, на котором лежала раскрытая книга. От нечего делать он заглянул в нее: «Когда ты лишаешься себя самого и всегда внешнего, тогда воистину ты это знаешь...», — прочитал он. И далее: «Выйди же, ради Бога, из самого себя, чтобы ради тебя Бог сделал то же; когда выйдут оба — то, что останется, будет нечто единое и простое». Адуляр закрыл книгу; имя автора на обложке — Мейстер Экхарт, — ничего ему не говорило. «Чудесная мысль, господин Экхарт, — сказал Адуляр вслух. — Только как это сделать — выйти из себя?» Оставив книгу на прежнем месте, он пошел к выходу. За спиной он услышал хлопанье крыльев и

пронзительные крики попугая Густава: «Esse dementia! Esse dementia!» Оглянувшись, Адуляр увидел, что птица как угорелая мечется по библиотеке.

— Зачем же так волноваться, господин Густав? Я скоро вернусь.

— Дур-р-рак! Дур-р-рак! — верещал тот.

— Фу, как невежливо. Я был о вас лучшего мнения, господин Густав. Прощайте.

Все двери в коридоре были одинаковые. Адуляр вспомнил, как в первую ночь Магор говорил ему, что эти двери с успехом заменяют здешним обитателям отсутствующие окна, но входить в них можно только с его разрешения... Ну, и что же теперь? Так и слоняться туда-сюда по коридору? Столько дверей... В конце концов, куда-нибудь они же ведут!

Не тратя времени на пустые домыслы, он толкнул ближайшую дверь, и в тусклом свете лампочки увидел перед собой круто уходящую вниз каменную лестницу. Ступени были очень узкими, в половину стопы шириной, и спускаться по ним стоило немало труда. Очутившись внизу, Адуляр уперся в еще одну дверь. За нею слышался обыкновенный уличный шум, людская многоголосица. Вот только частые гудки автомобильных клаксонов звучали как-то старомодно и непривычно смешивались с цокотом конских копыт. Адуляр отворил дверь и решительно шагнул на улицу. Был пасмурный день. Бесчисленная толпа людей двигалась сплошным потоком куда-то в одном направлении. Взрослые, старики, дети несли в руках так, будто то были священные реликвии, чайники всевозможных форм и подносы с кренделями и круассанами. С прилегающих улиц в эту общую реку людских тел вливались ручьи поменьше, увлекая за собой запряженные лошадьми открытые повозки с дамами в роскошных шляпах с вуалями и отчаянно сигналившие автомобили, из окон которых высовывались усатые господа в котелках и что-то кричали, размахивая руками. В общем шуме раздавались пронзительные возгласы — не то славословящие кого-то, не то призывающие к чему-то, — Адуляр точно определить не мог. Подхваченный этим потоком, он едва успевал переставлять ноги и сдерживать локтями натиск давящих на него тел. Таким способом он преодолел несколько кварталов и совершенно выбился из сил. В какой-то момент ему удалось ухватиться за ручку стеклянной двери, и под звон серебряного колокольчика проскользнуть в помещение, оказавшееся обычным рестораником.

— Что это вас так напугало, сударь?

Перед Адуляром стоял довольно полный человек высокого роста. На нем были короткие шерстяные бродячие сапожки с гетрами, армейские ботинки времен Первой мировой войны и побитый в некоторых местах молью твидовый пиджак. Крупную голову стягивала повязка из бинтов. Несмотря на свой более чем скромный вид, был он породист и держался с достоинством.

— У нас тут сегодня очередная Церемония, — сказал человек с перебинтованной головой, не дожидаясь ответа. — А вы, похоже, думали — светопреставление.

— Ничего я не думал, — возразил Адуляр, вытирая испарилину со лба.

— Уж не поэт ли вы, часом?

— Нет. А с чего вы это взяли?

— Не думают, как правило, поэты. То есть они думают, но не в том общепринятом смысле, — что порой заводит их в такие дебри, из которых нет выхода. Впрочем, разрешите представиться. Меня зовут Полинерв. Я — поэт.

— А я — Сказочник Адуляр.

— Ого! В первый раз вижу человека, который во всеулышание рискует назваться Сказочником. Хотите выпить?

— Благодарю... Вообще-то я тут совершенно случайно... И у меня даже нет денег.

— Какие деньги! — воскликнул поэт Полинерв. — Какие деньги могут быть у Сказочника? Хотите абсенту?

— Абсент?..

— Ну, тогда чаю. Сегодня у нас как-никак Чайная Церемония, а не Алкогольная.

Полинерв указал на свободный стол у самого окна. Оттуда хорошо просматривалась улица с бурлящими толпами.

— Сразу видно, вы приезжий.

— Да, вроде того, — неуверенно согласился Адуляр. — Но мне нужно бы как-то вернуться.

Полинерв иронично покачал.

— Видите? — ткнул он пальцем в окно. — Все движется только в одном направлении. А куда, собственно, вам нужно вернуться?

Адуляр пожал плечами.

— Наш человек! — И Полинерв, сделав легкий поклон головой, улыбнулся. — В общем-то, я тоже приезжий. И мне тоже

возвращаться некуда. Тут все очень просто: приезжий — это тот, кто приехал, а тот, кто возвращается — тот уже не приезжий, а возвращающийся... Напрасно смеетесь. Это — просто, но в том-то и заключается вся сложность жизни. Я вот, где бы ни оказался,— везде приезжий. *Secundum non datur*¹.

В эту минуту принесли чай.

— Странное дело, — продолжал поэт, задумчиво глядя в окно. — Где-то сейчас идет война, каждую минуту люди убивают друг друга. — Он выразительно ткнул пальцем в свою перебинтованную голову. — А тут, поди ж ты, Чайная Церемония! Разве это не безумие?

— А вы что, воевали? — осторожно спросил Адуляр.

— Увы, сударь! Я не просто воевал, я стал так называемой жертвой войны. Что это значит, толком вам никто не объяснит. Каждый будет плакать о своем. Вот и я тоже плачу о своем. Кто сильнее меня любил все эти Церемонии? Кто с большей нежностью и скорбью мог их воспеть? Никто. Только я — приезжий. Но именно потому, что я приезжий, меня к Церемониям и на пушечный выстрел не подпускали. И тогда я пошел на войну: туда принимают всех приезжих без исключения. Поверьте, то был единственный и последний шанс, так сказать, конституционным путем получить статус патриота, и, следовательно, стать официальным возвращающимся. Выражаясь высокопарно, — а это здесь ценится даже на смертном одре, — я должен был заслужить или, точнее, завоевать право, которое есть у всех тех мужчин и женщин, коих вы сейчас видите там, на улице. Я уж не говорю о городских собаках или голубях. — Полинерв нервно колотил ложечкой в чашке с чаем. — И что же, спросите вы? А ничего... Заработал дырку в черепе, и на кой черт мне теперь все эти их Церемонии? Как бы сильно я ни любил их, в конце концов, они все равно меня отвергли. Ускользнули! Наверное, им нужен был не я сам, а мой патриотизм, пробитый снарядным осколком. Такие вот израненные патриотизмы — без рук, без ног, без головы, — возвеличивают Церемонию, делают ее ярче, чтобы она, как солнце, отбрасывала свой свет на кровавую грязь войны. Вы будете смеяться, но ведь и с женщинами та же история. Вы удивлены, я вижу, а между тем женщины — как те же Церемонии: им нужна война, чтобы острее чувствовать свои

¹ Второго не дано (*лат.*).

блеск и красоту. В глубине души они любят, чтобы за них умирали, — это возвышает их над пошлой повседневностью. Истинно говорю вам, женщины — основной источник всех Церемоний, войн, патриотизма, приездов и возвращений. Все это держится их вдохновением и их молчанием... Забавно, не правда ли?

— Что-то не очень, — Адуляр отвечал машинально; с грустью он вспомнил маленькую Янку, которой также суждено было превратиться в женщину, и ему не верилось, что все сказанное Полинервом могло бы иметь к ней в будущем хоть малейшее отношение. «Это у него все от одиночества», — подумал Адуляр.

— Вы что-то сказали?

— Я сказал, что все это не очень-то смешно.

— Да-да, не очень. — Полинерв тяжело вздохнул. — И вот, видите: пока я там, в окопах, искал любви здесь, Церемонии продолжались, как ни в чем не бывало. И ничего не изменилось. Ничего!.. Посмотрите на них! Видите? Они спешат к началу праздника, они радуются, они томятся в предвкушении удовольствия... А я не могу.

— Я вас понимаю, — сказал Адуляр. — Наверное, это была страшная война.

— Сударь, не бывает войн не страшных. Как не бывает войн маленьких. Все они большие и страшные. Это я вам говорю как поэт и солдат. Все войны таковы, потому что они происходят не только между тем или иным числом людей. Каждый человек в отдельности несет внутри себя войну. Несет — как розу на свидание с возлюбленной. И те, кто сегодня участвует в Чайной Церемонии, завтра могут оказаться в строю, с винтовкой и котелком. И в этом нет ничего удивительного. Каждый хочет что-то кому-то доказать, даже когда любые доказательства бессмысленны.

Полинерв достал из жилетного кармана часы.

— Ну-ка, посмотрим, посмотрим. Сейчас начнется... Впрочем, — Полинерв откинул забинтованную голову назад и полуприкрыл глаза. — Ничего нового не предвидится. Каждый раз одно и то же, уж поверьте, сударь. — Он печально посмотрел в окно. — Дойдя до городской окраины, шумная колонна остановится, как обычно, и затихнет, будто испугавшись того, что можно было бы идти и дальше, но вроде незачем. Она тут же рассыплется, и от былого вдохновения и единства не останется и следа. Люди больше не будут возглашать радостных приветст-

вий, которые они заготавливали в течение целого года, они перестанут разбрасывать дешевые сладости и конфетты. Они станут молчаливыми и замкнутыми, примут свой обычный деловой вид и в скуке разойдутся по домам. И все будут притворяться, будто ничего не произошло. Вот так-то, любезный мсье Сказочник Адуляр.

За окном грянул духовой оркестр.

— Ага, вот! Сейчас начнется, — повторил Полинерв. — Смотрите вон туда, на площадь.

Еще несколько человек оставили свои столы, и все вместе прильнули к окнам.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, выгравированная на дырявом медном самоваре

Церемония началась вместе со сбором асфodelий на Елисейских полях. И было непонятно: мир куда-то движется или — сама Церемония, как непонятно время года, воздух которого уже насыщен чайными парами и едва слышным рокотом толпы. Быть может, то была ранняя весна или поздняя осень, различные между собой, как утренние и вечерние сумерки.

Но единственное, что остается неизменным, — это Чайная Церемония. Она перемещается по континенту куда-то на запад или на восток, горла; там живет ветер, и это он поет. И вот уже мощные звуки гейзерами бьют из всех щелей, люков и замочных скважин; они мчатся по ущельям улиц, сотрясая стены домов; они скатываются навстречу войне, вместе со своим неизменным Церемониймейстером, у которого, как всегда, жезл в одной руке и дымящийся чайник — в другой. О, как прекрасны, как изысканны взмахи его жезла, повороты тела: словно дивная мелодия, врывается в общую гармонию проносащихся мимо пейзажей. И золотистые чайные струи оплодотворяют кувшинки белых фарфоровых пиал.

Адуляр и не заметил, как вознесся, похожий на пеликана, и полетел над качающимися крышами. И услышал он свой голос: он пел. Пел громко, без напряжения, вместе с воздушными потоками. Казалось, его отверстие горла — труба, а сам он нанизан на трубу своего с высоких крыш в белую мутную реку, прошитую мостами; они сталкиваются, как горы и громаы, и тут же рассеиваются морозом по коже.

Отовсюду льются стеклянные фальцеты зеркал и витрин. Среди нескончаемого вибрато автомобилей и стаккато ступенек — трамваи, будто смычки, легко скользят по рельсам, извлекая чистые сильные звуки. И в протяжный бой соборных колоколов вплетается бисерное тремоло чайных ложечек и флажолеты ресторанный фаянса. Гулко отзываются атланты, бросившие свои балконы и эркеры. Так города входят друг в друга.

А люди поют. Люди поют! Поют как дышат и едят. И дышат и едят как поют. Бездомные бродяги заскоружлыми руками перебирают чугунные струны тротуарных решеток. В колесах перекрестков, словно белки, крутятся-вертятся регулировщики со свирелями на устах. На кладбищах, у разинутых и поющих ям, будто черные капельмейстеры, качаются могильщики. Утробными голосами поют младенцы, и матери кормящие становятся матерями поющими. Поют живые и мертвые. Поют даже те, кто никогда не пел и больше никогда уже петь не будет. Но сейчас в потоках этой музыки растекаются и их навязчивые фальшивые хорáлушки, и в прозрачно-чистой небесной выси лоснятся их пресные облака, а внизу, из пыльных туч купли-продажи, нарастает кричандо торгового люда.

Поток ускоряется, становится стремительней, звонче, глубже, и никому его уже не остановить. И города, слитые воедино, не желают быть городами, а хочется быть им скрипичными ключами, и чтобы кто-нибудь рисовал их на пяти тонких нескончаемых линиях...

— Однако вы нас изрядно напугали, сударь!

Это было первое, что Адуляр услышал, когда открыл глаза. Он обнаружил себя лежащим на кровати в какой-то тесной комнате с низким потолком и узким окном, сквозь которое просачивались унылые сумерки. Прямо перед ним стоял поэт Полинерв, лицо его вытянулось от волнения, и сам он весь вытянулся; рядом — пожилая женщина с мокрым полотенцем в одной руке и флакончиком с нашатырным спиртом в другой.

— Вы всегда так валитесь на пол, без предупреждения? — спросил Полинерв. — Не слишком любезно с вашей стороны, — он улыбнулся, давая понять, что шутит, и уже серьезно добавил: — У вас был обморок.

— Обморок? — изумился Адуляр. — У меня?

— Мы с хозяйкой вынуждены были отнести вас наверх, в этот номер. Апартаменты не люкс, правда, но уж не взыщите... Хвала Господу, вы воскресли и никому не придется вызывать полицию, а потом еще оплачивать ваши похороны. Здесь такого рода хлопоты очень не любят.

— Но у меня не было обморока! Я все хорошо помню: и музыку, и город...

Полинерв сначала нахмурился, а потом весело рассмеялся:

— Наш человек! Мадам, — позвал он хозяйку, — будьте любезны, принесите нашему больному бутылку вина, да покрасней, и сыр. Похоже, это у него от голода. И запишите все на мой счет.

— Какой еще счет! Сударь, я вас в первый раз вижу...

— Ну, сдастся мне, теперь уж точно не в последний. Да будет вам, мадам! Проявите милосердие. Доктора я уже вызвал.

— Доктора? — вскрикнула хозяйка, нервно вытирая все тем же полотенцем испарину со лба, отчего пары́ нашатыря ударили ей в нос; слезы брызнули из ее глаз. — Что это вы распоряжаетесь здесь, будто у себя дома?!

— У поэта — дом повсюду, — мягко огрызнулся Полинерв. — Банально, конечно, как, впрочем, и то, что визит доктора я оплачу, а посему не извольте беспокоиться.

— Может, не надо доктора? — вмешался Адуляр, пытаясь приподняться с постели. — Я не помню никакого обморока.

— Ну вот, видите? Он совершенно здоров, — подхватила хозяйка.

— Делайте, что вам говорят! — твердо сказал Полинерв и вытащил из кармана бумажник.

Этого волшебного мановения руки вполне хватило, чтобы милосердие возоблагодало над всеми сомнениями. Мадам помчалась вниз по деревянной лестнице на кухню и вскоре вернулась с подносом.

Полинерв взял стул и, подвинув его поближе к постели больного, сел. Он откупорил бутылку и остановился в легком замешательстве:

— Позвольте, мадам! А где же второй стакан?

Пока хозяйка, ворча и чертыхаясь, бегала за вторым стаканом, Полинерв с интересом поглядывал на Адуляра.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

Адуляр закрыл глаза и тихо произнес:

— Я не знаю, что это было... Но только не обморок.

— Уверяю вас, дружище, вы рухнули на пол как подкошенный и около часа не подавали ни малейших признаков жизни. Любой пьяница там, внизу, подтвердит мои слова.

— Ничего не понимаю!

— Ну и хорошо, — согласился Полинерв. — Какое теперь это имеет значение? Вот, лучше выпейте вина. — Он налил полный стакан и протянул Адуляру. — Подкрепитесь, а то на вас страшно смотреть. Сейчас придет доктор, и от одного только вашего вида сам заболеет. Придется его положить рядом, а я не столь богат, чтобы платить и за него.

— Я так плохо выгляжу?

— Немногим лучше трехдневного покойника. Ну, ничего, ничего. Вы быстро поправитесь, я уверен.

Адуляр отпил немного вина.

— Не знаю, как и благодарить вас. Но только доктор вряд ли мне поможет.

В эту минуту дверь распахнулась, и на пороге комнаты появился человек в черном плаще, с кожаным саквояжем и тростью. Заметно припадая на одну ногу, он прошел к столу, на который и поставил свой саквояж.

— Черт! — пробурчал Полинерв. — А я думал: несут второй стакан... Вы доктор, если не ошибаюсь?

Человек поклонился и протянул визитную карточку.

— «Теодор Теодорини. Доктор медицины», — прочитал Полинерв вслух. — Отлично, мсье! Проходите сюда. Вот наш больная. Между прочим, он настоящий Сказочник, так что, прошу отнестись к его болезни, как если бы она была вашей собственной. Вот вам стул... Эй, мадам! Принесите лампу! И подбросьте угля в печь: что-то похолодало!.. Неужели погода меняется?

Когда все было готово, Полинерв помахал рукой Адуляру и на прощанье сказал:

— Я вас завтра навещу.

Он быстро расплатился с доктором Теодором Теодорини за вызов и ушел, поживаясь от холода.

Адуляр, усевшись в кровати, наблюдал за доктором, который, низко склонив голову, сосредоточенно рылся в своем саквояже. Лица его не было видно, но в фигуре его Адуляру почудилось что-то знакомое. Наконец, очевидно, успешно завершив свои поиски, доктор щелкнул замками саквояжа и повернулся, так что на лицо его упал свет лампы.

— Как, это вы? — вырвалось у Адуляра вместе с паром изо рта. — Магор? Вы здесь!.. Что с вашей ногой?

В ответ доктор приставил палец к губам и опасно оглянулся на дверь, как бы давая понять, что желает остаться неузнанным. Затем положил на поднос рядом с початой бутылкой вина три пилюли, похожие на черные жемчужины. Так же, ни слова не говоря, он торопливо набросал несколько слов на клочке бумаги и сунул Адуляру под подушку. После этого он еще раз внимательно посмотрел на больного и, видимо, для остроты зрения вставил в глаз, который почему-то слегка косил, линзу с изумрудно-зеленого цвета линзой. Потом опять приложил палец к губам, спрятал линзу, схватил в руку саквояж и быстро покинул комнату, оставив своего пациента в полном недоумении.

Вынув из-под подушки записку, Адуляр прочитал следующее: «Положитесь на меня, и никому ни слова. У вас горячка. В коробочке лекарство. Примите сразу три пилюли, и до скорой встречи».

«Ага, значит, он еще вернется! — подумал Адуляр с облегчением. — Но к чему вся эта конспирация?» Но тут он вспомнил все обстоятельства необычайной биографии аптекаря Иоханнеса Гретера, Алоизиуса де Монфлакона, Венцеслава Насмишила, Кшиштофа Крагеля и, в конце концов, Магора с его Домом-без-окоп, жизнью-без-прописки и попугаем-без-«башни». Адуляр чуть не рассмеялся, что в его положении, пожалуй, было неплохим симптомом. «Господь меня не оставляет! — подумал он с благодарностью, запрокинув голову и глядя на деревянное распятие над изголовьем кровати. — В самые тяжелые минуты посылает мне таких людей, как Магор и поэт Полинерв».

Ему стало теплей. Совсем успокоившись, он съел ломтик сыра. Потом положил все три пилюли в рот и, поскольку воды в комнате не было, разжевал их и проглотил всухомятку. На вкус они оказались неожиданно сладковатыми.

Откинувшись на подушку, Адуляр погрузился в воспоминания. Воображение легко и радостно, словно давно ожидало этой минуты, принялось живописать милые сердцу картины: Янку, торжественно вручающую ему, Сказочнику Адуляру, юного кота Мурмилота; тетюшку Клер, с загадочной улыбкой склонившуюся над его, Сказочника Адуляра, будущим в виде волшебного пасьянса; бабу Маню с парующим самоваром в руках: «Странствие

должно быть странным!..» Но что-то внутри Адуляра мешало остаться этим дорогим видениям подольше и, едва сотворившись, они быстро исчезали во мгле. Печально смотрел он в закопченный потолок и никак не мог понять, зачем он здесь и что он здесь делает. Пожалуй, никогда еще он не чувствовал себя таким растерянным и беспомощным. И таким одиноким. И никогда предметы не казались ему столь чужими и бессмысленными. Какая-то непонятная, непредсказуемая, неодолимая сила гнала его к неизвестной цели сквозь тьму, по бездорожью, и сила эта всегда безмолвствовала, как доктор Теодор Теодорини, под личиной которого вынужден был молчать даже сам Магор! И хотя сейчас Адуляр и почувствовал себя гораздо спокойней и уверенней, всё же эти спокойствие и уверенность были, скорее, навязаны рассудком, который соглашался с тем, что просто иного выхода не существует. При этом сердце сжималось от пронзительной тоски по чему-то очень родному, очень человеческому, на смену которому пришло нечто совершенно инородное, чуждое, нечто такое, с чем он не знал, как сосуществовать, и даже не вполне был уверен, живое ли оно, это нечто, и хоть как-нибудь олицетворено, или оно — что-то вроде бездушной, слепой и невидимой машины, что приводит в движение декорации и марионеток. Он не знал, как относиться к происходящему, смысл которого все время ускользал, с помощью каких координат определять свое положение в нем и какими мерками измерять границы своего нынешнего жизненного пространства...

Внезапно он стал проваливаться куда-то в пустоту — вместе с кроватью, горячей лампой и узким, наглухо закрытым ставнями, окном. Пустота быстро поглощала все вокруг, сковывая холодом все предметы, включая и самого Адуляра, который корчился под тощим одеялом. Холод усиливался, и воздух становился твердым и непроницаемым, словно ледяная стена. Но когда, казалось бы, все живое и неживое должно было вымерзнуть до основания, лед постепенно стал превращаться в пылающую лаву — кроваво-огненное месиво... Преодолевая боль, ужас и сопротивление горящего воздуха, Адуляр интуитивно потянулся к бутылке с вином. Вцепившись в нее, он жадно припал холодеющими губами к горлышку: вино было безвкусным и вязким. Адуляр потерял равновесие, упал с кровати и покатился по полу, бутылка со звоном отлетела в сторону. Он тут же попытался встать, но ноги его не послушались, так что, едва поднявшись, он

налетел на столик, смахнув с него на пол лампу, которая разбилась и погасла. Комната погрузилась во тьму. Это было похоже на гибель света... Он закричал. Но никто не отозвался и не пришел на помощь. Да и сам голос звучал как-то плоско, у самого носа, у глаз, и дальше не распространялся. Вся боль теперь собралась в желудке и стала нестерпимой. Комнату пронзил желтый луч света, но, несмотря на все его великолепие, он был каким-то неживым. Наконец Адуляру удалось подняться на ноги. Со всей силы он опрокинулся на дверь, которая распахнулась, чуть не соскочив с петель. Но он ничего не почувствовал. Буквально скатившись по крутой лестнице вниз, в ресторан — в этот час там не было ни души, — побитый, в ссадинах, с окровавленным лицом, он высадил плечом стеклянную входную дверь и под звон колокольчика выскочил на улицу, весь в брызгах стекла.

Он бежал, сам не зная куда. Боль и отчаяние туманили его разум. Впереди, освещенная ярким заревом, показалась широкая площадь. В душном и беззвездном ночном небе метались снопы огненных искр. И тогда Адуляр побежал навстречу огню, будто ища в нем спасения. В окнах домов отражались гигантские языки пламени, а на площади собралось великое множество народу — все как один во фланелевых больничных пижамах. Били барабаны, ревели трубы, люди пританцовывали и что-то кричали. Пробившись сквозь толпу, Адуляр увидел в центре площади огромный столб огня, и рядом — деревянный помост, украшенный флагами и вымпелами. Костер дышал ледяным холодом, а помост был покрыт толстой искрящейся коркой инея, на которой сверкала надпись:

GRAND ATTRACTION
FEU D'OR¹

По помосту расхаживал факир в белом халате, с белой марлевой маской на лице. «Все отравлено! — провозгласил он. — Земля, вода, даже воздух! И только огонь не подвластен осквернению! Он всегда чист!» — «Feu d'or! Feu d'or!..» — в полном иступлении кричали ему люди. «Фёдор! Фёдор!..» — слышалось Адуляру, но ему было все равно, что они кричали. Холод, беско-

¹ Большой Атракцион «Золотой Огонь» (франц.).

нечный холод сковал его волю. Он разливался по его телу, и медленно, не спеша, словно наслаждаясь каждой минутой своей власти, подбирался к сердцу. Факир развел руки в стороны и взмахнул ими так, будто собирался улететь вслед за уносившимися во мглу мертвыми искрами. Повинуясь его властному жесту, многие из толпы ринулись к гудящему на ветру пламени, один за другим с криками исчезая в его пылающей бездне. А белый силуэт факира с воздетыми вверх руками реял и реял над этой разверзшейся бездной холода, быстро втягивавшей в себя весь город и его обезумевших жителей, и уже почти сливался с ней в единое целое. «Feu d'or! Feu d'or!..» — «Фёдор! Фёдор!..» — «Туда!» — мелькнуло в голове Адуляра, и он тут же бросился туда, где можно было в ледяном пламени утопить холод.

В то же мгновение кто-то крепко схватил его за руку и с силой отшвырнул в сторону. Лежа ничком, щекой на брусчатке, Адуляр одним глазом видел разбегающуюся в разные стороны толпу. Какой-то человек, показавшийся ему настоящим великаном, врезался в беснующийся костер, и из рук его ударила мощная струя белой пены. Костер, как смертельно раненный дракон, забился в судорогах, то взмывая в мутное беззвездное небо, то стелясь по брусчатке. Но сопротивление его постепенно ослабевало и вскоре прекратилось совсем. Толпа рассеялась. Факир бесследно исчез... Только теперь Адуляр осознал, что боль покинула его.

VI

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ

Возвращения в Дом Адуляр не помнил. Лишь одна картина запечатлелась в его памяти: лодка, на дне которой, будто в саркофаге, неподвижно лежит его тело, плеск воды, полумрак и высокие каменные своды над головой. Лодка, плавно скользящая по фосфоресцирующей глади подземной реки, и на корме Тиндалин с веслом в руках. Мерцает серебро в его глазах. «Интересно, как выглядит мир, если смотреть на него глазами, полными серебра?» — успел подумать Адуляр и уснул...

— А, это вы, дружище! — воскликнул Магор и показал Адуляру на свободный стул. — Вы все-таки пренебрегли моей просьбой и стали ломиться в двери.

— Я... я... — начал было оправдываться Адуляр.

— Потом, потом! Сейчас я окончу занятия, и мы поговорим о ваших злоключениях. А пока будьте зрителем.

Только тогда Адуляр сообразил, что находится в алхимической лаборатории, и вокруг полно фамулусов, среди которых он узнал и Атаназия Кловиса. Несколько человек стояли у широкого стола, заваленного ветхими книгами и разными диковинными приборами, а один, по виду самый молодой, с растерянным видом склонился над массивным сосудом, который томился на медленном огне.

— Итак, молодой человек, — обратился к нему Магор, с лукавым видом поглаживая свою заплетенную бороду. — Что же мы видим?

Молодой человек только развел руками и опустил глаза.

— Ага, стало быть, ничего не видим. Уж который месяц возимся, возимся, любезный брат Фарба, и ни тебе — льва зеленого, ни — льва красного!

Молодой человек печально вздохнул.

— Ни киммерийских теней, ни черного дракона... И чему вас только в университете учили? Нет, я вовсе не хочу сказать, что вы безнадежны, или что химия — не наука. Вы, безусловно, ученик перспективный, да и химия, очевидно, необходима в народном хозяйстве. Но, коллега, вам нужно хорошенько уяснить для себя: либо вы занимаетесь народным хозяйством, либо — искусством. Либо вы имеете дело со львами и драконами и отвечаете за это перед самим Господом Богом, либо изо дня в день, из года в год скромно перемешиваете железный купорос, сурьмяную киноварь, серу, селитру и прочие немудреные ингредиенты и, ни на что особо не претендуя, отвечаете всего лишь перед господами Лемери, Глазером и Менделеевым, за что вас, конечно, никто не осудит.

Брат Фарба слушал Магора, виновато опустив голову. В глазах его подрагивали слезы, лицо стало пунцово-красным.

— Я хочу, чтобы вы, наконец, поняли: ни рецепт Рипли, который вы так долго и мучительно изучали, ни мудрые наставления Голланда и Тревизана на самом деле не являются для вас сухими инструкциями, следуя которым *in sensu stricto*¹ любой

¹ В прямом смысле (лат.).

суфлер мог бы добиться успеха. Все эти кодексы — всего лишь обещание успеха. Настоящий алхимик имеет дело не с химикатами и не с химикалиями, а с химерами!.. Это, конечно, шутка. И все же, если в процессе Великого Делания вы не узрите взлетающих птиц и в некотором роде сами не станете одной из них, то у вас получится обычное отделение пара. Если вам не хватит духовных сил и остроты зрения, чтобы распознать стаю воронов, результатом будет простое начальное нагревание материи, другими словами — чернение. Уверяю вас, коллега, к брачному ложу царя и царицы не всякий будет допущен. А посему оставьте мертвые формулы тем, кто пресуществование духа подменяет обменом веществ и чей скорбный удел — промывать флегмой глаза лошадям. И, пожалуйста, без слез — я этого терпеть не могу! Или вы работаете, или нет. Одно из двух: да или нет?

— Да!

— Ну вот. Это другой разговор.

Магор внезапно умолк и несколько мгновений неподвижно стоял с закрытыми глазами. Лицо его было расслаблено и ничего не выражало. Фамулусы напряженно следили за ним, стараясь не шелохнуться и не нарушить тишины. Открыв глаза, Магор подошел к сосуду, который по-прежнему стоял на огне, и молниеносно опустил в него обе руки, обнаженные до локтя. И тут на глазах у всех сосуд изнутри вспыхнул ослепительным светом, и руки Адепта словно налились золотом. Это продолжалось всего две-три секунды, пока он не извлек их из сосуда.

— На сегодня все. Иди, фамулус, и учись усердно. И помни: я верю в тебя.

— Правда? — с благодарной дрожью в голосе прошептал брат Фарба.

— Провалиться мне на этом месте! — подтвердил Магор. — К тому же в вашей генитуре сочетание Марса с Меркурием составляет тригонал, то есть сто двадцать градусов, а это обещает замечательнейший дар. Подумайте об этом. И — до встречи завтра. Все свободны!

Фамулусы, один за другим, молча покидали лабораторию. Никто из них, казалось, не был потрясен увиденным! А еще поразительнее было то, что и сам Адуляр оставался спокойным, хотя минуту назад прямо на его глазах произошло настоящее чудо, видеть которое удостаивались считанные люди на протяжении всей истории человечества! Может, он просто не в со-

стоянии был до конца осознать всю необычность, и даже сверхъестественность произошедшего? Может, он устал, и теперь ощущениям его не хватало силы, порывистости, чувственности? Разумом он понимал: все, что случилось с ним за последнее время, в так называемой реальной жизни никак невозможно, но раз уж это невозможное с ним все-таки случилось, то не значит ли это, что волею судьбы он прикоснулся к истинному чуду. К чуду, о котором мечтали, мечтают и будут мечтать миллионы смертных во все времена... И что же?! Как все-таки странно устроен человек! Едва дверь за его спиной захлопнется, он сразу принимает законы этого «задверья» и уже ничему не удивляется. Что это? Своеобразный иммунитет, оберегающий от безумия? Или — превращение в персонажа? Ведь какой-нибудь королевич из древних легенд, видя перед собой трехглавого змия, не удивляется его существованию, он просто сражается с ним. Удивляется тот, кто обо всем этом читает.

— Что это было? — спросил Адуляр, когда фамулусы ушли и они с Магором остались вдвоем, он все еще не мог отвести глаз от сосуда, стоявшего на огне.

— Ах, это, — скучающим тоном, чуть не зевая, промолвил тот, и огонь под сосудом тут же погас, словно кто-то невидимый дунул на него. — Всего лишь фокус. Маленький невинный фокус.

— Фокус? Так вы обманули их?!

— Не следует торопиться с выводами, друг мой.

— Но вы же сами только что сказали...

— Я сказал то, что сказал, — на мгновение Магор посуровел, и живой огонь его глаз почти скрылся под кустистыми бровями. — Вообще-то, сударь, фокус этот предназначался не вам. Так случилось, что вы стали невольным его свидетелем. Но должен заметить: я никогда не позволил бы себе вот так, запросто, манифестировать то, что является наисокровеннейшей тайной. В данном случае я всего лишь прибег к методу наглядных пособий, дабы поддержать на высоте воображение и остроту восприятия. Я должен был сохранить напряжение, необходимое для того, чтобы... Послушайте, — вдруг перебил он себя. — Неужто вам пришло бы в голову карту земных полушарий называть самой Землей?..

Магор улыбнулся невинной улыбкой.

— Однако, друг мой, вам очень повезло, — продолжал он, бросая в печь щепотку каких-то благовоний, — я рад, что вы вернулись живым и невредимым, вместо того, чтобы быть наказанным за свою опрометчивость. Вам очень повезло! Да, за каждой из тех дверей, — это слово он произнес с особым нажимом, — скрыты великие сокровища. Но разве не предупреждал я вас, что прикосновение к ним может обернуться не только благом, но и большой бедой? Даже гибелью!.. Я далеко не всемогущ. Ну да видно, вас хорошо оберегают.

— Кто оберегает?

Вместо ответа Магор неожиданно спросил:

— А вы сами как думаете?

Адуляр пожал плечами:

— Кажется, обратно в Дом меня привел Тиндалин, ваш глухонемой.

— Он вас не просто привел, он вас спас.

— Спас? Меня?

Вид у Адуляра был совершенно потерянный. Он закрыл глаза и снова увидел себя, лежащего на дне лодки, и подземную реку, и ее темное, почти неподвижное течение, и серебро очей Тиндалина, стоящего на корме; он услышал мерные всплески его весла... И все!

— Я почти ничего не помню.

— И не мудрено, друг мой! Вы были в каких-нибудь полшага от смерти, так что Тиндалину ничего другого не оставалось, как напоить вас соком мандрагоры, разбавленным вином, после чего три дня вы спали, прошу прощения, как суслик.

— Три дня?!

— И, на ваше счастье, это был целебный сон.

— Погодите, господин Магор! Я давно хотел спросить вас об этом человеке. О Тиндалине. Почему у него глаза серебряные? Он глух и нем — и так прекрасен. Будто судьба насмеялась над ним, наделив необыкновенной, почти ангельской красотой, но одновременно лишив его слуха и языка. В жизни еще я не видел никого, кто был бы подобен ему. Кто он?

— Потомок эльфов. Хотя... почему потомок? Он и есть эльф.

— Эльф? — Адуляр рассмеялся.

— Что вас так рассмешило?

— Ну, не знаю... Все это как-то...

— Послушайте, друг мой, вы как себе представляете эльфов?

Адуляр недоверчиво посмотрел на Магора: уж не шутит ли он? Но, похоже, Адепт был настроен серьезно.

— Со стрекозиными крылышками? — Магор хитровато усмехнулся. — И они порхают в лунном свете с цветка на цветок, не так ли?

— А разве нет?

— Увы, многие думают так же.

— Но я сам об этом читал!

— Знаю, знаю. Я тоже читал. Но, смею вас уверить: то, что мы оба читали, совершенно не соответствует действительности. Видите ли, людям вообще свойственно преуменьшать или преувеличивать. А уж тем более, если однажды сталкиваются с чем-то поразительным, непонятым, что тут же в их представлениях становится чем-то либо недоступно малым, едва различимым под ногами в траве, либо недоступно большим, то есть исчезающим в заоблачных высях. Но и то, и другое, друг мой, есть всего лишь невинное заблуждение, антипод которого — воинствующее невежество. Если заблуждение готово слепо поклоняться, то невежество любит распоряжаться и распределять места с тем большей уверенностью в своей правоте, чем менее оно имеет для этого оснований. И вот — о чудо! — оно уже меняет местами пигмеев и титанов, тем самым низводя титанов до уровня пигмеев, а пигмеев возвышая до размеров титанов. Не трудно предположить, как много бед происходит от этого.

Магор не спеша раскурил трубку.

— Но вернемся к началу, — сказал он, пуская струю ароматного дыма. — Мы говорили о подмене мира реальности миром наших представлений. Чаще всего — несовершенных представлений. Древнейшие источники, — как правило, это устные предания, — говорят о том, что эльфы на самом деле являли собой могучую и прекрасную расу, которая ко времени возникновения новой, человеческой, достигла очень высокого уровня эволюционного развития. А потом эта раса, выражаясь алхимическим языком, трансмутировалась. Понимаете? Я хочу сказать, что эльфы ушли в другие миры, или континуумы, или измерения, — называйте как хотите. Однако некоторые из них, очень немногие, задержались в этом мире и либо ассимилировались среди смертных людей, и следы их особых черт и качеств мы можем и сегодня замечать в некоторых представителях рода человеческого, либо, — и таких крайне мало, — продолжают жить среди нас

в своем первозданном облиции. И, поверьте, тому были свои серьезные причины. Когда мы сталкиваемся в обыденной жизни с этими необыкновенными, редкостными существами, а чаще с их очеловеченными потомками, мы не узнаем в них эльфов, потому что выглядят они как люди, а не колибри. Мы видим в них людей, точнее, не совсем обычных людей. Мы плохо их понимаем, нам кажется, что они занимаются какими-то несерьезными глупостями, вместо того чтобы делать карьеру и зарабатывать деньги. Правда, эльфийских потомков нельзя назвать эльфами в полной мере, но и людьми, в обычном смысле этого слова, их тоже не назовешь. Что делать, если наша реальность груба и слишком телесна, а они в ней — всего лишь одной ногой! Я бы сказал, что в нашем мире воплощается гораздо больше гоблинов, которые, прорастая в человеческую природу, стараются извратить ее и погрузить в вечную тьму. Так действуют Силы Зла. И именно гоблины чаще всего привносят в человеческую природу подобострастие перед материей и ненависть к эльфам.

— Ну, а у вас, дорогой друг, — продолжал Магор, снова раскуривая погасшую трубку, — как и у большинства людей, представление об эльфах чрезвычайно искажено. Конечно, это не значит, что вами овладел гоблин. Бог с вами! Обыкновенное детское недомыслие. В нем нет греха. Потому что если отбросить все игрушечные детали, суть все же останется верной. Раз уж вам нравится представлять эльфов такими цветочными гениями — что ж, на здоровье! Для истинного эльфа в том нет ничего оскорбительного. И такое представление нельзя было бы назвать ложью, — как я уже сказал, оно всего лишь детское недомыслие. Не станете же вы обижаться и уличать во лжи ребенка, который, вздумав нарисовать ваш портрет, осуществит свой замысел по принципу: «Палка, палка, огуречек — вот и вышел человек». Я думаю, наоборот, рассмотрев портрет внимательнее, вы, может быть, откроете в нем нечто очень даже правдивое.

— Так что же тогда есть ложь? — не зная, что и возразить, спросил Адуляр.

— Ложь... Гм... Ложь — это то, что отрицает правду. Она ее заклятый враг. Их невозможно примирить.

— Ну, в этом нет ничего нового.

— Да, это все знают. Но интересно другое. Не важно, в каких формах и образах мыслится Бог. Он есть Правда. Война этих образов и форм в сознании людей — уже Ложь. А ведь если кому-

нибудь Бог предстанет в виде того же, извините, «огуречика», то какая, в сущности, разница? Разве может антропоморфное представление о Боге, пусть даже самое примитивное, унижить Его? Конечно, нет! Итак, война мнений — это ложь. Но и это еще не все. Дьявол по отношению к Богу тоже есть Ложь. И в этом его природа. Чем человек дальше от Бога, тем он, соответственно, ближе к Дьяволу. И тем больше Лжи в нем. И тем больше в нем Лжи по отношению к любому предмету, ибо всякий предмет в мире является эманацией Бога. Дьявол ничего не создает, но только разрушает. А посему любой предмет, включая и человека, может стать его орудием. Таким образом, человек становится контекстом, в котором предметы и явления выстраиваются в определенной системе, и тогда они — либо правда, либо ложь. Стало быть, мы сами и есть либо боги, либо демоны.

Некоторое время они сидели молча, как бы слившись с тишиной, царившей в Доме. Только слышно было, как попыхивал трубкой Магор, словно он вдыхал и выдыхал эту тишину вместе с дымом. Потом Адепт позвонил в маленький медный колокольчик. На зов тут же явился дежурный фамулус — наверняка все это время он прятался за дверь, — и Магор попросил накрыть ужин в библиотеке.

За трапезой Адепт расспрашивал о некоторых подробностях приключений Адуляра за злополучной дверью, о поэте Полимере, о Чайной Церемонии и, особенно, о докторе Теодоре Теодорини, столь ловко принявшем облик Магора. Он добродушно посмеивался над этим обстоятельством, но по глазам было заметно, что в действительности ему совсем не до веселья.

— И тут в комнату, где я лежал на кровати, входите вы, — рассказывал Адуляр.

— Я? — переспросил Магор.

— Ну просто вылитый вы! Правда, представились вы доктором Теодором Теодорини. У вас был типичный для врача кожаный саквояж и трость.

— Вот как? Интересно... И что же я вам сказал?

— В том-то и дело, что ничего. Вы все время молчали и подавали мне тайные знаки, — и Адуляр приставил палец к губам. — Вот так.

— А-а-а, ну это понятно. А потом?

— Потом вы оставили мне на столе какие-то пилюли...

Лицо Магора стало таким, словно он наелся чего-то несвежего.

— ...а под подушкой — записку.

— Записку? Она у вас?

— Кажется, да...

— Покажите.

Адуляр принялся рыться в карманах, но записки не нашел.

— Наверное, я забыл ее там, в гостиничном номере. Но содержание я помню.

Магор вопросительно поднял брови.

— В ней было сказано, чтобы я не подавал виду, что знаю вас. И что у меня горячка. И еще...

— Довольно, друг мой, все ясно. Вам было холодно, очень холодно. Вас трясло так, что зуб на зуб не попадал, внутренности вымерзли и все члены коченели.

Адуляр молча кивал головой.

— И при этом вы всё еще живы. Просто удивительно!

— Что вы имеете в виду?

— Знаете что, оставайтесь у меня. Вам нужно многому научиться, а лучшей школы вы не найдете, говорю вам это с полной ответственностью.

— Я бы с радостью... Но как же мой дом, друзья? И вообще...

— Да бросьте вы обманывать себя!

— Но я не совсем понимаю вас.

— Сейчас вам и не обязательно понимать меня. Лучше будет, если вы начнете понимать себя. Вы уже столько времени идете по дороге, а сейчас говорите мне не об увиденном и пережитом в пути, а о своем доме. Но так ли уж он ваш — это еще вопрос. Всё в прошлое норовите вернуться, тогда как оно уже давно скрылось за горизонтом. Будьте смелее, друг мой! Поймите, прежде всего, вам нужно сосредоточиться не на прошлом — его и так у вас в избытке. Вам нужно будущее. Великое будущее... Напрасно смеетесь. Я ведь не о вашем тщеславии. Оно меня не интересует, и я не собираюсь ему потакать. Смеетесь вы потому, что боитесь. А если бы не боялись, то честно и искренне расплакались бы. Прямо сейчас.

Адуляр тяжело сглотнул слюну.

— Ведь вы, наверное, думаете, что ваше прошлое полно любви и привязанностей. Но никто и не предлагает вам порывать с ними. Любовь — это все, что каждого из нас связывает со

временем, но вовсе не в линейном его понимании. Любите же ваш дом, ваших друзей, но любите и вашу дорогу, потому что это то же самое. Любите кого хотите, но, опять-таки, не вчера, а всегда. Иначе с вами может произойти то же, что, например, с Альфредом де Мюссе, о котором Гейне как-то сказал, что у него впереди — великое прошлое.

— Будущее, — задумчиво произнес Адуляр. — Но как можно желать того, чего еще нет, о чем ничего не известно? Вот вы, например, знаете, что будет в будущем?

— Я предпочитаю не знать его, а влиять на него. И вам советую. Но для этого вам надо учиться.

— Чему же?

— О, очень многому! Или немногому. Это как посмотреть. Возьмем, к примеру, вас. Настоящим Сказочником и подлинным Адуляром вам еще только предстоит стать. Когда-нибудь в будущем, надеюсь. А пока, не в обиду будь сказано... пока вы всего лишь — СказАдуль. Справедливости ради надо отметить, что ничтожно малое количество представителей рода людского носит имена, которые им принадлежат действительно и по праву. У остального же человечества со своими именами нет ничего общего, и в этом несоответствии одна из причин всеобщих бедствий. Найти свое исконное имя, заслужить его и утвердиться в нем — значит обрести свой путь. Истинная жизнь — вот все, что вам нужно.

— Но разве моя жизнь не истинная?

— Знаете, если она у вас вся в прошлом, если вы только и делаете, что ее пересказываете, то это значит, что от нее уже почти ничего не осталось. Это значит, вы уже не живете, а только вспоминаете. И язык ваш будет неестественен, не романтичен, мертв... При таком положении вещей не будет больше романа, не будет событий и героев, жизнь которых пронизана ритмами, наполнена благородными, полнозвучными аллитерациями и рифмами, не будет сложных и неоднозначных инверсий. Останутся одни лишь сухие пересказы, такой себе скучный и никому не интересный *derimage*¹. Это — потеря крови, утрата родины.

— Так что же мне делать?

— Идите-ка лучше спать. Утро вечера мудренее...

¹ Прозаический пересказ поэтического текста (*франц.*).

В этот раз Адуляру приснился г-н Филин в ученом остроко-
нечном колпаке, надвинутом на глаза, и чучело Архивариуса с
крыльями и клювом. Г-н Филин зачитывал вслух «Книгу Коро-
ля», а чучело Архивариуса послушно записывало за ним прямо
на своих накрахмаленных манжетах:

«...Пустыня Смерти надвигается отовсюду. Хочет поглотить
цветущее Королевство Любви.

Но знай: чем обширнее, чем протяженнее Пустыня Смерти,
тем выше Королевство Любви.

Оттого любовь земная так прекрасна, что смерть всегда ря-
дом с ней. И кто не умер, тот не будет жить. Так что растворяй и
сгущай, и снова растворяй.

Легчайшая бабочка в сильный ветер летит вслед за своим
желанием...»

VII

БРАТСТВО ФАМУЛУСОВ И ПРОЧИЕ ОБИТАТЕЛИ ДОМА МАГОРА

Так Адуляр стал фамулусом — братом Адуляром. С каждым
днем он все глубже погружался в трудные науки и искусства и во
все перипетии жизни, которая бурлила в Доме великого мага и
философа Магора, или того, кто под этим именем скрывался.
Нельзя сказать, что поначалу Адуляр принимал все покорно и
безропотно: его пугало то, с какой легкостью Магор овладевал
его волей. С другой стороны, и особых препятствий ему ни в чем
не чинилось. В границах Дома, точнее его многочисленных ком-
нат, ему предоставлялась полная свобода. Если честно, то неко-
торые из братьев-фамулусов этой свободой иной раз злоупот-
ребляли и тайком отлучались в город — «в самоволку». Разу-
меется, Магор об этом хорошо знал, но виду не подавал, во-первых,
потому что и сам когда-то был молодым и не чуждым авантю-
ра на грани здравого смысла, а во-вторых, в глубине души пони-
мал, что студияозус без приключений быстро закисает, а для ста-
новления истинного мудреца — особенно в период этого станов-
ления — любовные и доверительные взаимоотношения с ка-
призной фортуной бывают так же важны, как и бдения над уче-

ными книгами и холодная рассудительность наставников. Ну, и в-третьих, он в принципе ненавидел палочную дисциплину и вместо того, чтобы устраивать показательные экзекуции, даже если они вполне заслужены и справедливы, предпочитал просто, без лишнего шума, держать все под контролем и, таким образом, незримо оберегать особо зарвавшихся своих школяров от всякого рода опасностей, связанных с нарушением табу, в чем Адуляр уже успел однажды убедиться на своем неудачном опыте с Чайной Церемонией. Утром, на занятиях, поглядывая в полглаза на опухшие и сонные физиономии ночных искателей приключений, Магор с хитроватой улыбкой покручивал на гусарский манер свой длинный седой ус, что придавало его облику несколько легкомысленный, если не сказать опереточный, вид, и ограничивался тем, что задавал им по изучаемой теме наиболее каверзные вопросы. В число самых отчаянных сорвиголов входили брат Атаназиус Кловис, друзья называли его просто Ключиком, брат Флоригард по прозвищу Улитка Сольми, брат Павсикакий и брат Фарба. Они-то и стали самыми закадычными друзьями Адуляра, который сам в этих незаконных ночных предприятиях не участвовал, поскольку изо всех сил старался держать данное Магору слово: не покидать пределов Дома до истечения назначенного срока. Но когда придет этот срок, Магор пока хранил от Адуляра в секрете.

Об Атаназиусе Кловисе рассказывали истории настолько невероятные, что они больше смахивали на анекдоты. Кем-то из фамулусов они были даже записаны и ходили по рукам в виде рукописной книги. Называлась она «Новый Бахус» и начиналась такими словами: «О, сколь разнообразными талантами богат и славен наш мир! Одному дан талант превращать все, к чему он ни прикоснется, в золото, другому — в прекрасные цветы, третьему — в волшебную музыку... А у Ключика был особый дар: все превращать в алкоголь. Даже звуки его скрипки опьяняли, да так, что язык заплетался, ноги становились ватными и подкашивались, и голова туманилась, а наутро болела нестерпимо. И тогда срочно требовалась парочка-другая звуков, чтобы опохмелиться. Лучшее всего помогало что-нибудь алеаторическое». В этих байках рассказывалось о том, что в прошлом, до того как стать фамулусом и одним из братьев, Атаназиус Кловис частенько путал Баха с Бахусом, а Бахуса с Эросом, в результате чего преуспевал втройне. Говорят, никто из троих не оставался внак-

ладе, ибо каждому воздавалось в полной мере. Что же до самого Ключика, то пока вечно трезвый Бах пребывал в глубоких раздумьях, в стельку пьяный Эрос и по уши влюбленный Бахус так или иначе приводили его к одному и тому же результату с неизменно одними и теми же последствиями, суть которых можно было бы выразить одним-единственным словом: «жуть». Чтобы как-то прийти в себя, он наливал полную ванну белого столового вина, погружался в нее по самое горло, потом — и вовсе с головой, затем выныривал, выпуская изо рта длинную струю, и все это он проделывал много раз, ни на миг не выпуская из рук скрипку и смычок, которые держал высоко над головой. Прекрасные вакханки, которых он, любя, называл «своими жабами», закутывали его бесчувственное тело в просторные ткани, укладывали на широкое ложе и водили вокруг него хороводы, восклицая: «Эван! Эвоз!» Сквозь глубокий сон он едва слышно кричал: «Пойте, жабы, пойте! Я еще до вас доберусь!» Или ни с того ни с сего: «Канифоль! Дайте канифоль!» Так могло продолжаться дня три, а на четвертый он со слезами на глазах перед иконой пел «Kugie eleison»¹. «И как у тебя только печень выдерживает?» — сокрушались «жабы», на что Ключик терпеливо пояснял, что «печень», «печь» и «печаль» происходят от одного корня. И глубокомысленно добавлял: «Человеку свойственно пить, ибо ничто спиртное ему не чуждо». Он клялся вечно пьяным телом бога вина, а также его печенью, почками и мочевым пузырем, что когда он пьет, то вместе «с алкоголями» («avec les alcools», как выражался он по-французски во множественном числе) в него входят духи окружающих его звуков. Вот почему Ключик, он же Атаназий Кловис, был удостоен почетного титула *magister bibendi*². Говорят, когда он впервые повстречал Магора, тот ласково посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты знаешь, что одной ногой ты уже в могиле? Если ты действительно веришь, что Бог везде и во всем, и Им пронизано все вокруг, то, стало быть, не будешь отрицать, что Он — и в пище, и в вине. Но в вине — Сущенная Божественная Сила! Потому-то, друг мой, человеку и нельзя пить много вина, иначе оно его разрушит». Эти слова поразили Ключика до глубины души. Так он начал новую жизнь. «Да, а господин Магор — не промах! Неплохо при-

¹ «Господи, помилуй» (*греч.*) — одна из частей мессы.

² Мастер по части выпивки (*лат.*).

думал», — посмеивался про себя Адуляр, слушая этот анекдот. Правда, поговаривали, что брат Аркадио, по прозвищу Золотые Уши, по части выпивки обскакал Атаназиуса Кловиса, только книг об этом никто не писал, да и сам он ничего не рассказывал. Известно было только, что когда-то давно, в далекой и беспутной юности своей, он водку не только пил, но ею же и закусывал, и даже на хлеб намазывал, будто масло. Он стирал в водке свои вещи. Обувь — и ту водкой начищал до блеска. В гостях у него всегда бывало по семь пьяниц на неделе, каждому из которых он составлял алкоголический гороскоп на месяц вперед. Пользовался большой популярностью его алхимический афоризм: «Алко-голь — это всего лишь вода, стремящаяся стать огнем».

При первом же знакомстве брат Атаназиус Кловис спросил Адуляра: «Ты на каком инструменте играешь лучше?» — «Ни на каком. Я вообще не умею играть», — честно признался Адуляр. «Вообще?» — удивился Ключик. «Ну, однажды я играл на органе. Но это было во сне. Получалось очень даже неплохо. Я и сам не ожидал». — «Ага, это уже кое-что! Пойдем, для начала я покажу тебе гидраулюс. Пока будешь учиться играть на нем». — «А это так необходимо?» — «Конечно. Здесь все умеют играть. И ты тоже научишься. Главное, не дрейфь!»

Очень скоро Адуляр убедился, что все фамулусы хорошо владеют различными музыкальными инструментами — как современными, так и старинными. Тот же Атаназиус Кловис хорошо играл не только на клавесине и скрипке, но и на виолах, брат Чугуй, прославившийся своим искусством игры на домре, гитаре и баяне, прекрасно управлялся с кифарой, а брат Скорпио (кстати, большой поклонник музыки Крестовых походов, грандиозных «*Bühnenfestspiele*»¹ Вагнера и джазовых экспериментов Майлза Дэвиса), несмотря на молодость, уже был знаменит своей виртуозной игрой на трубе, кларино и цинке. И вообще музыка в Доме Магора была царицей и звучала повсюду. Это, однако, не означало, что ей отдавалось абсолютное предпочтение перед другими искусствами. Каждый из братьев имел возможность проявить любой другой свой природный талант, развивать его и совершенствовать. Например, брат Фарба довольно неплохо играл на волынке, колесной лире и мандолине. Но при этом он почти в совершенстве овладел языком Огама, наизусть знал

¹ «Торжественные сценические представления» (нем.).

весь «Мабиногион» и каждый год 29 апреля праздновал день рождения Талиесина, распевая в его честь «Битву Деревьев» на языке оригинала. Цвет и растительность были истинной страстью брата Фарбы. Часами напролет он проводил время в лаборатории, забывая о пище и отдыхе, и все для того, чтобы из собранных им же растений и цветов добыть первозданные красители для своих картин. Из девясила и вереска он добывал фиолетовый, из черной бузины — пурпурный, который отличался от пурпура, получаемого из средиземноморских моллюсков, большей теплотой. Во всяком случае, так ему казалось. Синий краситель добывался из васильков, или из мочи Атаназиуса Кловиса после доброй попойки, зеленый — из мать-и-мачехи; из календулы и зверобоя — желтый, а из остролиста или из древесных клопов — красный. Впрочем, красный можно было получить и из других источников. Например, из коры ольхи, священного дерева Брана, или из граната, который, как известно, вырос из крови Адониса. Более того, из вечнозеленого керменосного дуба или из падуба, посвященных Марсу, получалась отменная алая краска, называемая «царской», а из насекомых, которые живут и кормятся на них, — еще и возбуждающий эликсир.

И вообще, никто лучше брата Фарбы не разбирался в чудесных растениях и деревьях и в их волшебных свойствах, не считая Магора, конечно. «Терновник — любимое дерево эльфов, — утверждал он. — Но не вздумай приносить в дом его ветки, потому что это может навлечь смерть на близких, а если приблизишься к ясеню с топором, ствол его начинает кровоточить». Обычно, произнося эти слова, как некий магический зачин, брат Фарба на мгновение умолкал, после чего остановить его было уже невозможно: «Из ясеня волшебники вырезают себе посохи, обладающие магической силой, но простому смертному, если у него в руках топор или нож, лучше держаться подальше от этого дерева. Дубы днем и ночью пребывают под неусыпной охраной дубовиков, встреча с которыми, особенно ночью, не сулит ничего хорошего. Это любимое дерево Тора Громовержца, но любовь его бывает губельной для благородного дуба. Береза многое знает об умерших. В ней живет фея по имени Белая Рука. А орех, упавший в воду и проглоченный форелью или лососем, делает этих рыб мудрыми. Брат Фарба был убежден, что лесные колокольчики способны насылать на неосторожного путника чары и наваждения. С помощью примул, но не тех, что мы называем ау-

рикулами, а дикорастущих, если их правильно приготовить, можно увидеть обитателей невидимого мира, который невидим только потому, что он всегда от нас ускользает, ибо мы разучились смотреть и видеть. Изменить свой облик можно с помощью тирлич-травы, а разрыв-трава открывает любые замки...»

Пожалуй, единственным из фамулусов, кто не уступал брату Фарбе в харизматичности, а то и превосходил его, был брат Флоригард. Ходили слухи, будто бы однажды, благодаря своему неимоверному везению, ему удалось не то правым глазом, не то левым заглянуть в знаменитую эльфийскую книгу, которая якобы хранилась у Тиндалина. Одни говорили, будто книга эта была написана золотыми буквами и украшена восхитительными рисунками и орнаментами, другие — наоборот, утверждали, что все страницы в ней девственно чисты и читать попросту нечего. Но поскольку книгу Тиндалина никто и никогда в глаза не видел, а только слышал о ней, всё это так и оставалось бы не более чем противоречащими друг другу догадками и домыслами, если бы не подвиг брата Флоригарда, прославивший его на все Братство. О том, как он «совершил невозможное», и о чем ему поведала книга, Улитка Сольми упрямо молчал, а на вопросы любопытствующих отвечал туманно. За глаза братья-фамулусы яростно спорили о том, чего больше было в этом подвиге: доблести или хитрости? Некоторые даже ставили его в один ряд с деяниями Одиссея Хитроумного, а выражение «Правое око Флоригарда» на долгое время стало своеобразным мемом, означавшим: «Вижу то, чего никто не видит».

В общем, было ясно, что ясности в вопросе о знаменитой эльфийской книге ничуть не прибавилось.

Однако, именно с тех пор, как бы вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, брат Флоригард стал лучше всех «распутывать» так называемые «запутанные руны»¹. Но и это еще не все! С необыкновенной легкостью он слагал прекрасные баллады, которые сам же и исполнял, подыгрывая себе на любом оказавшемся под рукой музыкальном инструменте. И, видит Бог, даже против собственной воли невозможно было удержаться от слез умиления, слушая пение брата Флоригарда. И исходящая

¹ «Запутанные руны» — зашифрованные руны (II—XIII вв.), созданные для того, чтобы путать и скрывать свое истинное значение. Это особая руническая система, где каждый обычный рунический знак намеренно не совпадает с традиционным его прочтением.

от него эманация была настолько сильной, что у брата Мусика, обычно сутками пропадавшего где-то на кухне и галопом прибегавшего на его голос, будто на запах валерьянки, неожиданно прорезался довольно чистый контральто, и он подвывал до тех пор, пока Флоригард с досады чуть не швырял инструмент и не уходил прочь, сыпля проклятиями в адрес несносного кота. К немалому удивлению Адуляра, именно с ним брат Флоригард оказался откровенней, чем с кем-либо из фамулусов. Однажды он поведал ему, что на самом деле у Тиндалина было еще две книги, одну из которых он спрятал где-то на Крайнем Севере, а вторую у него коварно похитили, и теперь брат Флоригард мечтает ее разыскать. Несколько братьев-фамулусов уже когда-то предприняли такую попытку, но никто из них не вернулся назад, и о судьбе их по сей день ничего не известно. «Что же такого важного в этих книгах?» — спросил Адуляр. «Увы, брат мой, о содержании я не могу тебе рассказать, ибо не я хозяин этой тайны, а за длинный язык можно круто поплатиться. Одно могу сказать: книга, которую однажды посчастливилось видеть мне, сотворена таким образом, что смысл написанного открывается ровно настолько, насколько читающий способен его воспринять. Это чем-то напоминает птичий язык алхимических трактатов: для большинства людей он полная абракадабра, и только для очень немногих открывается его сокровенный смысл». Наверное, неслучайно брат Флоригард делал успехи не только в поэзии и музыке, но и в алхимии. Он любил повторять, что поэзия и алхимия суть одно — Великое Деланье. В поэзии, говорил он, это особенно наглядно отражается, как ни странно, в каламбурах, в которых, по меткому замечанию Реверди, примиряются две отделенные и отдаленные друг от друга реальности; «в точке их слияния рождается совершенно новый мир и новый мировой порядок». Так и Великий Магистерий — дитя различных стихий, — есть не что иное, как протянувшийся во времени алхимический каламбур — величайший из всех каламбуров после сотворения бинарного мира. «И как же ты думаешь отыскать эту эльфийскую книгу?» — спросил заинтригованный Адуляр. «Пока не знаю. Сначала я должен хорошо выучиться: я не хочу пропасть, как другие. Только обо всем этом — никому ни слова. Поклянись!» — «Клянусь!» — воскликнул Адуляр, и мурашки побежали по его телу.

«И ты веришь во все эти бредни?» — спросил однажды у Адуляра брат Павсикакий. «Ты о чем?» — «Да ладно! Все знают, что наш Улитка Сольми собирается на поиски книги Тиндалина. Он на ней совсем помешался». — «Я ничего такого не знаю», — попытался уйти от разговора Адуляр. «Понятно. Он и с тебя клятву взял! — и Павсикакий рассмеялся. — Только, скорее всего, нет никакой книги. Все он придумал». — «Похоже, ты завидуешь?» — «Кто, я?! Еще чего! У меня и без этих сказок про эльфийские книги дел по горло... Кстати, мы тут с Атаназиусом и Фарбой затеяли совершить один квест... Или что-то вроде захтры, как это было у древних кельтов. Сегодня ночью. Не хочешь присоединиться?» — «Нет, сегодня я должен штудировать Гервазия Тильсберийского». — «Ну ты даешь! Как по мне, лучше самому хоть раз поймать ветер в рукавицу, чем сто раз прочитать об этом у Гервазия. Так что, если вдруг передумаешь, в полночь встречаемся у Зеленой двери. Говорят, если за нее проникнуть, там есть что посмотреть. Гервазию и не снилось! Только никому — ни слова». — «Брат, ну ты же знаешь, я — могила!» — «Знаю, брат, знаю!» Это была не первая отчаянная вылазка друзей Адуляра за пресловутые Запретные двери. «Запретными» они назывались не потому, что Магор возбранял их открывать, а потому, что вылазка за любую из них была действительно опасна, и шансы на благополучное возвращение назад расценивались как пятьдесят на пятьдесят. Но до сих пор удача сопутствовала фамулусам, как сопутствует она всегда настоящим героям...

Итак, как уже было сказано, Адуляр стал «братом Адуляром» и, влившись в дружную семью остальных братьев-фамулусов, каждый день вместе с ними погружался в многотрудные занятия под руководством Магора. А на занятиях этих нередко изучались и провозглашались такие вещи, о существовании которых, вероятно, смутно догадывается всякий человек в минуты, когда он влюблен или когда умирает; но только в первом случае в глазах окружающих он выглядит глупым, а во втором — слабым и беспомощным, а главное, обреченным перед лицом тех, кого он вскоре оставит жить дальше, страдать дальше и продолжать и дальше познавать все в этом мире на ощупь, на слух, на глаз. И сколь же несовершенен человек, если любовь покидает его, а вместе с ней — и истина; если, уходя из жизни, он уносит с собой и единственно правильное знание, вместо того чтобы остаться на земле и пользоваться им во благо себе и всему миру.

— Что-то, батенька, вы чересчур все обобщаете, — ехидно заметил Магор, в очередной раз выслушав жалобные иеримиады Адуляра. — И ваше обобщение грешит односторонностью, ибо в основу его вы ставите всего лишь один частный закон. В действительности же, как я полагаю, целое состоит из взаимодействия бесконечного множества различных частных законов, которые к тому же одновременно и подтверждают, и опровергают друг друга. В тот миг, когда придет понимание этого, вы освободитесь от эгоистических терзаний, станете мудрецом и будете любить всех без исключения. Истина, о которой вы так печетесь, но которую пока еще не poznали, хотя и ощущаете ее присутствие, возможно, больше, чем многие другие, истина — она не требует жертв, уверяю вас. Она вообще ничего не требует.

Затем, резко меняя направление разговора, Адепт уводил Адуляра в библиотеку, чтобы глубже ознакомить его со своими многочисленными собраниями книг и рукописных свитков, и не только. Одной из самых уникальных была коллекция лекарственных трав, которая собиралась по всем правилам и с учетом лунного календаря. Естественно, ее приходилось постоянно пополнять, поскольку, как говорил Магор, все эти чудеса природы существуют, в конце концов, совсем не для того, чтобы ими любоваться, а для того, чтобы пускать их в дело. Он называл их «истинными и живыми первоисточниками» и считал, что предпочтительнее изучать их непосредственно самому, хоть это труд тяжелый, длительный, и на первый взгляд неблагодарный, чем годами читать мучительные пересказы всем надоевшего Диоскорида, не говоря уже об «увлекательных» опусах доктора Лагуны.

— Согласитесь, оригинал всегда лучше копии. То же самое можно сказать и о книгах. Вот, к примеру...

— Что это?

— Это трактат персидского ученого Гиамасбы. Он называется «Книга философа». Тексты на этих древних свитках написаны его собственной рукой во времена Зороастра. А это уже их арабский перевод двенадцатого века... А вот эти папирусы — не что иное, как «Бардо», труд, известный у нас под глупым названием «Тибетская книга мертвых». При всем нашем уважении к господам Юнгу и Эвансу-Вентцу, мы предпочтем обходиться без их переводов и комментариев, и будем обращаться прямо к первоисточнику.

— Точно так же китайские иероглифы умирают в латинице или кириллице, и с этим ничего не поделаешь, — продолжал Магор, переходя к следующему стеллажу. — Хорошо еще, если переводчик — человек добросовестный. А если нет? Сколько может возникнуть недоразумений и кривотолков! Не случайно же некоторые господа сегодня поспешили заявить, что большинство трактатов Луллия написано вовсе не им. Сплошное *qui pro quo!*¹ А вот еще один оригинал книги, которую я очень люблю: «Сумма тайных совершенств». Написал ее мудрейший Джабир ибн ал-Тарусуси. Этот прославленный ученый уже в восьмом веке высказал одну замечательную мысль: раз уж все металлы состоят из одних и тех же элементов, которые входят в их состав в различных пропорциях, то напрашивается простой вывод о том, что эти пропорции можно изменять при помощи катализатора.

— Какого катализатора?

— Мы зовем его Философским Камнем.

— И что, ваш Тарусуси смог это сделать?

— Нет, — улыбнулся Магор. — Сам он даже и не брался... Но не будем отвлекаться, — сказал он, видя замешательство Адуляра. — Я начал рассказывать о травах. Вот здесь, взгляните, коварная непента, она усиливает опьяняющее действие вина. Кстати, о ней вы можете прочесть в «Одиссее». А вот трава молий, или моли, которую с древних времен с успехом применяли против колдовства. Известно, как с ее помощью славный Одиссей спасся от чар Цирцеи. Помните, как Гомер описывает эту траву:

«Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною;
Моли его называют бессмертные; людям опасно
С корнем его вырывать из земли, но богам все возможно»².

— Да, много драгоценных редкостей хранится на этих полках. Если хорошо порыться, то, возможно, вам повезет, и вы отыщите знаменитую панацею. А если вы безумец, то вот вам эллебор.

К траве эллебор Адуляр отнесся с особым интересом, невзирая на шутливый тон Магора.

¹ Одно вместо другого (*лат.*).

² Гомер, «Одиссея», X, стихи 304–306. — Перевод В. А. Жуковского.

В огромных шкафах с раздвижными стеклянными дверцами, на широких полках теснились сосуды из непрозрачного стекла разнообразных форм и емкостей, в которых хранились добытые Магором и его учениками тинктуры и вещества, полезные не только в медицине, но даже в кондитерском деле. Пузырьки с адрагантом — растительной слизью, извлеченной из коры кустарника астрагалла, были тому доказательством. Не меньшую редкость представляла собой и асса-фетида, или камедь, — застывший сок из корней ферулы. Имелся в коллекции и знаменитый германский териак, который, по утверждению Магора, состоял ни много ни мало из двенадцати компонентов: ангеликова корня, валерьяны, цитварного семени, корицы, кардамона, опия, мирры, сернистого железа, меди и прочего, соединенных в особых пропорциях. Но еще богаче по составу — так называемый «териак Андромаха», содержащий в себе семьдесят различных веществ. Это универсальное лекарственное средство можно с успехом применять от заразных болезней.

— А это что за рукопись?

— О! Бесценный манускрипт! Кстати, как вы относитесь к рыцарским романам?

— Ну что вам сказать. Почитываю их иногда ненастными вечерами, сидя у камина в своем фамильном замке, — пошутил Адуляр.

— Да? Я вам завидую, — в том же духе ответил Магор.

Рукопись и в самом деле была замечательная. Она датировалась XIV веком и представляла собой тот самый подлинник романа об Амадисе Галльском, авторство которого, как известно, приписывается португальцу Васко де Лобейре. Несмотря на свою древность, рукопись прекрасно сохранилась, а желтизна пергамента придавала содержанию романа бóльшую убедительность, особый шарм и внушала невольное доверие даже к самым невероятным и фантастическим событиям, описанным в нем. Магор благоговейно перелистывал страницу за страницей, и рука его казалась такой же древней, как и эта книга.

— Долгое время считалось, что рукопись погибла во время лиссабонского землетрясения 1755 года, — сказал он, продолжая показывать Адуляру вещи не менее выдающиеся, или можно даже сказать, «вопиющие» в своей исключительности. Это были книги, чудом спасенные из охваченной пламенем Александрийской библиотеки, несмотря на все старания калифа

Омара уничтожить их, или редчайшие экземпляры из некогда погибших двухсот тысяч томов Пергамской библиотеки и книгохранилища Иерусалимского храма. Или бесценные сочинения китайских астрологов, которые были преданы огню невеждой Хуанди. А еще — книги из утраченной (как доньше считалось) коллекции Писистрата в Афинах и пергаменты из тайного убежища в храме Пта в Мемфисе. От них исходил аромат шафрана и кедрового масла.

— Но как? Разве такое возможно?

— Да, друг мой, как видите. Собирать по миру пепел сожженных библиотек и возродить из него книги — одно из моих увлечений.

Во все это трудно было поверить, но при желании Адуляр мог взять в руки любую из этих книг и легко удостовериться, что она не иллюзия, не призрак и не искусно выполненная голограмма. И это прикосновение к «Альмагесту» или «Четверокнижию» Птолемея, или к свиткам, исписанным рукой Геминуса и Максима, поражало воображение не меньше, чем материальное существование этих книг. Казалось, в самой точке физического соприкосновения прошлое становилось настоящим. И в то же время все эти возвращенные из небытия книги невольно напомнили Адуляру об одной курьезной истории из жизни доктора Фауста — о том, как с помощью злого духа печально знаменитый чародей намеревался предоставить студентам Эрфуртского университета сто восемь утерянных комедий Теренция и еще сорок одну — и даже более — Плавта. Адуляр почувствовал некоторую неловкость и старался не смотреть на Магора, ибо аналогия с пресловутым доктором Фаустом напрашивалась сама собой.

— А мне нравится ваше чувство юмора, — как бы между прочим, сказал Магор, подбрасывая сухие поленья в огонь, полыхавший в камине; от неожиданности Адуляр даже вздрогнул, но Магор уже перешел на другую тему: — Все это очень хорошо. Но, поверьте, только по письмам вы вряд ли чему-нибудь научитесь основательно. Важнее иметь дело непосредственно с теми, кто их написал.

— Но ведь они все давно умерли! — заметил Адуляр.

— Что значит — умерли? — искренне удивился Магор. — Мне об этом ничего не известно.

— Вы шутите?

— Умерли... Хм, это слишком сильно сказано, друг мой. Нет-нет... Вот, посмотрите на все эти книги. Многие из них издаются и переиздаются, и будут переиздаваться еще не раз. Они ветшают, рвутся, приходят в негодность. Но это лишь книги умирают. Не умирает то, что в них написано. Оно как бы переселяется из одного издания в другое. Из одного временного пространства в другое. Однако, при всём том не следует забывать, что, увы, бессмертием обеспечена не только премудрость, но и глупость тоже, ибо времена — они, как вспаханная земля, из которой произрастает всё: и злаки и сорняки. Их утробная сила не знает ни добра, ни зла, она есть просто сила вибраций и роста, а ответственность за добро и зло ложится на человека, который несет в себе как животное начало, так и божественное, как смерть, так и бессмертие и, следовательно, просто обязан разделять и властвовать.

— Разделять и властвовать? Как государь у Макиавелли?

— Пусть так, но с одной очень существенной разницей: разделять и властвовать он должен не в обществе себе подобных, а в самом себе, в своих бесконечных «я», чтобы, в конце концов, прийти к целостности... Впрочем, я хотел сказать о другом. Если не умирают мысли, втиснутые в слова, как же может умереть разум, породивший их? Разум, который является частицей, мельчайшим атомом Бесконечного и Абсолютного Разума? Такое положение вещей, будь оно правдой, абсурдно. Природа же, по моему глубокому убеждению, не терпит абсурда. Я не знаю языка, который мог бы донести до вашего сознания в полном объеме и убедительности эту простую и великую истину. Нет такого языка, кроме как у самого Господа Бога. И мой разум — такой же атом, как и ваш, и все дело тут только в тонкости и силе вибраций. Каждый из нас может почувствовать ее, эту вибрацию, но как только мы начинаем объяснять что-либо вслух, сразу становимся косноязычными. Знание неизмеримо больше слов, в которые мы силится его заключить, и тут я полностью согласен с Блаженным Августином.

Кстати сказать, впоследствии Адуляр не раз убеждался, что для Магора не существовало понятия «родной язык». Все мировые языки (и даже самые древние!) были для него одинаково родными и в то же время одинаково условными, когда дело касалось великих и неизреченных истин. Иногда, в минуты глубокой задумчивости или, наоборот, бурного всплеска эмоций, он

изъяснялся с помощью весьма своеобразной смеси из разных языков. Но это свидетельствовало отнюдь не о рассеянности или забывчивости, или, хуже того, неумении подобрать подходящее слово в нужный момент. Речь его, помимо особого звучания, обретала некую фееричность и, в то же время, отличалась естественностью, как у ребенка или ангела, внезапно сошедшего на землю. И не понять такую речь было невозможно, хотя передать ее словами впоследствии на каком-нибудь одном из человеческих языков никто бы не смог.

Обитатели Дома Магора были под стать хозяину. Среди всех наук и искусств, которым обучались фамулусы, главными все же считались алхимия и астрология, притом, что определить, где пролегает граница между всеми ними и где заканчивается одна наука (читай: искусство) и начинается другая, было нелегко. Все, принадлежащие Братству, были вежливы, обходительны и чаще всего немногословны. Время от времени в библиотеке, в лаборатории или в обширном зале гостиной появлялись некие особо загадочные персоны, или ОЗП, как их называли фамулусы. Прячась за высокими ширмами, они тихо перешептывались там о чем-то и никогда не показывались на глаза. Сгорая от любопытства, братья-фамулусы, раз уж нельзя было подсматривать за ними, пытались хотя бы подслушивать их секретные разговоры, пользуясь малейшей возможностью, а такие возможности предоставлялись крайне редко, поскольку «особо загадочные персоны» были всегда начеку, и если кто-нибудь из любопытствующей братии исхитрялся ценой замысловатых маневров приблизиться к ширме на расстояние вытянутой руки, те тут же умолкали. Иногда все же с подслушиванием фамулусам везло, и тогда их трофеями становились драгоценные осколки неких, свершавшихся за пределами Дома, событий, из которых можно было, подключив воображение, сложить блистательный узор. Магор называл этих ОЗП «слухарями», «нюхачами», «следопытами», «соглядатаями» и так далее в том же духе — очевидно, по роду их деятельности, — и никогда не обращался к ним по имени. Одному ему или, в крайнем случае, мажордому пану Рышарду безымянные невидимки докладывали о важнейших новостях, среди которых в последнее время, особое внимание уделялось какому-то сверхценному изумруду. На основании противоречивых сведений Адуляр понял, что изумруд этот некогда был утерян, и вот

уже много лет следопыты, нюхачи и слухари усиленно занимаются его поисками. К сожалению, пока безуспешно. Вслушиваясь в тишайшие шепоты, струившиеся из-за ширм и колышущихся штор, Адуляр, как никто другой научившийся оставаться незамеченным, узнавал много интересного. Например, о различных оттенках запахов — от сладчайших или самых тонких ароматов до сбивающих с ног зловоний. И то был отнюдь не праздный интерес, ибо, по авторитетному мнению нюхачей, во всей этой совокупности испарений столько же жизни и смерти, сколько и во всем, из чего состоит наш мир. Немало полезных сведений он почерпнул также о многообразии следов, будь то оттиск, отпечаток, засечка, царапина, вмятина, нарост, сломанная ветка, примятая трава, брошенный окурок, волосок на одежде, пылинка на ветру, лужица, нитка, капля крови, обрывок газеты и многое-многое другое, чему каждый настоящий следопыт придавал огромное значение. След, оставленный минуту назад, десять лет назад, тысячу лет назад... Оказывается, иногда взгляд живого существа запечатлевается не только в нашей памяти, но и на поверхности зеркала или камня, и даже на лице того, на кого этот взгляд направлен. И это тоже след. Его можно обнаружить, разглядеть, и по нему можно идти. А однажды Адуляр подслушал, как один премудрый следопыт поучал своего молодого коллегу: «Ты зачем, неуч, сегодня на тот след наступил?» — «Я нечаянно...» — «Нечаянно?! Что значит нечаянно? Это же след сальванелли!» — «Ну и что тут такого? Они же безобидные...» — «Безобидные?! Да кто тебе такое сказал, деревенщина?.. Эх, и чему вас только учат? Ну, уж нет! Я не собираюсь вместе с тобой рухнуть в какую-нибудь яму и там пропасть... Из-за тебя мы сегодня целый час должны были ходить задом наперед. А в прошлый раз пощечину несмываемую от дикого сервана чуть не схлопотали! Когда же это кончится?» — «Хорошо, я больше не буду». — «Не буду, не буду! Запомни, неуч: в нашем деле нет места расхлябанности. Легкомысленность и сомнение приводят к гибели. Понял?» — «Понял!» — «Ты обязан чтить любой след, благоговеть перед ним. Даже если он устрашает и наводит ужас. *Vestigia semper adora!*¹ Заруби это себе на носу...»

Было известно, что следопыты особенно тесную дружбу водят с соглядатаями, потому что достаточно было, как книгу,

¹ Всегда чтить следы! (лат.).

«полистать» пристальный взгляд или устремленный взор какого-нибудь соглядатая, чтобы найти в них всевозможные следы, портреты, пейзажи и еще много других вещей, полезных и бесполезных, ибо все они навечно отпечатывались в его зрачках. Это позволяло следопытам экономить время и, тем самым, в значительной степени облегчало их бродячую жизнь: они могли чаще бывать дома, и рождаемость у них была выше, чем у остальных помощников Магора. Главное — оказаться в нужное время в нужном месте. Дозоры соглядатаев легко узнавались ночью по одному главному признаку: особому свечению в глазах; зрачки их фосфоресцировали, будто планктон или оперение какой-нибудь чудесной заморской птицы.

Что до слухарей, то они в основном имели дело со звуками. Говорят, когда слухарь на охоте расправляет свои уши, они становятся похожими на орлиные крылья. А еще говорят, в ушной раковине слухаря можно услышать, как растет трава, как шелестят облака в небе, как пульсирует где-то в атмосфере пропавший изумруд... Изумруд. По всему видно, это был не просто драгоценный камень, раз уж все заширмовые и зашторовые разговоры так или иначе с него начинались и к нему же возвращались. Магор не посвящал братьев-фамулусов в суть этой тайны, а они и не ожидали от него откровенности, тем более что и без изумруда у них хватало занятий и забот.

Кроме следопытов, слухарей, нюхачей и соглядатаев в число «особо загадочных персон» входил еще один, «сверхособый» разряд, или даже каста — посланцы, а самые прославленные из них — вестники. Но застать их в Доме было почти невозможно, потому что они всегда находились в пути. Это они слали Магору телеграммы весьма диковинного содержания: «Букет цветов порадует удаче ветра», или «Эпический дуб улавливает бесконечность», или «Гроза объясняет дали». Случались и совсем, казалось бы, несуразные телеграммы, как, например: «Развеселый шашлык Зильбермана оспаривается на просторах брэнного мира», или «Горноста́й больше не пьет и не курит», или «Вокзалы страдают клаустрофобией», или «Река в футляре успешно усopла». Однажды Атаназий Кловис высказал небезосновательное предположение, что во всех этих посланиях вестников зашифрованы какие-то важные реальные события. Так, например, он заметил, что перед тем, как в Дом впервые пришел брат Кападастриа со своей чудовищно расстроенной «шестистрункой», была

получена телеграмма с такими словами: «Искусственная гитара вредней натуральной и плохо выводится из организма», а накануне появления здесь того же Адуляра текст гласил: «Влюбленный паломник собирает осыпавшиеся яблоки, брошенные короны и безымянные перекрестки». Правда, о существовании этой телеграммы Адуляр узнал спустя два года, и не от Атаназия Кловиса, который о ней понятия не имел, а от кота Мусика; а тому, в свой черед, проболтался о ней попугай Густав, когда они как-то раз на кухне хвастали друг перед другом каждый своим хозяином...

Жил где-то в Доме еще один таинственный человек-невидимка — брат Адорнас Сквелекейла, который, правда, не относился к числу ОЗП, — его потрясающую игру на трубе Адуляр впервые слышал во время того памятного ночного чаепития в столовой, когда волею судьбы и тетушки Клер, едва живой, оказался во владениях Магора. Брат Адорнас был не только великим музыкантом, но и великим отшельником. Причем отшельником он стал так давно, что никто из нынешних фамулузов его ни разу даже в глаза не видел. Временами Адуляр слышал музыку дивной красоты и силы, которая доносилась то из каких-то дальних келий, а то совершенно неожиданно могла зазвучать прямо за соседней стеной. Но как Адуляр ни старался, ему ни разу не удавалось отыскать ее источник. Напрасно терял он время, блуждая по коридорам в поисках кельи Адорнаса Сквелекейлы. Когда ему уже казалось, что он ее нашел, выяснялось, что это вовсе не та келья. Может, соседняя? Он открывал другую дверь. Нет, не соседняя... А музыка еще некоторое время звучала где-то совсем рядом — ну буквально под носом, словно хотела подразнить незадачливого искателя!

Как-то поздно ночью в дверь Адуляровой кельи тихо постучали. На пороге стоял человек невысокого роста, немного полноватый. «Я — Адорнас Сквелекейла, — сказал он. — Зачем ты меня ищешь?» Адуляр так растерялся, что не нашелся, как ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. «Хорошо, здесь есть какой-нибудь музыкальный инструмент?» Адуляр поспешно извлек из футляра флейту, на которой с недавних пор начал учиться играть, и протянул Адорнасу Сквелекейле. Тот взял флейту и привычным движением чутких пальцев проверил работу клапанов. «Хочешь услышать, как ты звучишь?» — спросил он. Аду-

ляр кивнул. При первых же звуках флейты неожиданно для самого себя Адуляр заплакал. С этой мелодией в сердце он мог бы идти и идти бесконечно лесной тропой, или краем широкого поля, уходящего к горизонту, или подниматься на горный перевал, скрывающийся в облаках и блеске солнца. Это была мелодия его странствия...

«Хорошо звучишь», — сказал Адорнас Сквелекейла, когда кончил играть. «Спасибо», — прошептал Адуляр. «Меня не за что благодарить. Я всего лишь познакомил тебя с самим собой».

Воистину то был особый дар — слышать, как звучит человек, слышать его скрытую мелодию, его потайные созвучия! Но при всем том, не был ли этот дар больше сродни наказанию? — вопрос, который Адуляр не раз потом задавал себе. Сам же Сквелекейла никогда о том не говорил, а Адуляр так и не решился его спросить. «Есть люди не звучащие, — как-то сказал он. — От них исходит мертвая тишина». В ту ночь он оставил Адуляру плоскую доску с нарисованными на ней белыми и черными клавишами, по которым нужно было барабанить пальцами до тех пор, пока доска не зазвучит. Так неожиданно началась их дружба, продолжавшаяся до того дня, когда Сквелекейла навсегда покинул Дом Магора, чтобы дальше идти своей дорогой. Встречались они по ночам, когда фамулусы спали (а те из них, кто не спал, ходили в Задверные Пространства в поисках ответов на свои вопросы), говорили о жизни звука и тишины, о музыке слышимой и неслышимой, и даже музицировали, что для Адуляра было величайшей отрадой. И ни одна живая душа не знала об их дружбе: для всех брат Адорнас Сквелекейла по-прежнему оставался недосягаемым отшельником.

И, конечно же, одним из самых загадочных обитателей Дома Магора был глухонемой эльф Тиндалин, который спас Адуляра от огня. Он не умел ни читать, ни писать. Или делал вид, что не умеет ни читать, ни писать. И именно ко второму мнению все больше склонялся Адуляр, ибо никак не мог представить себе безграмотного эльфа. Да и легенда об эльфийских книгах говорила в пользу этого мнения, даром что немногие понастоящему верили в их существование. А брату Флоригарду, который якобы видел одну из этих книг у Тиндалина и даже ухитрился в нее заглянуть, почти никто уже не верил. Но Адуляр верил. И для него несколько не стало бы неожиданностью, если бы вдруг выяснилось, что Тиндалин и глухонемым тоже только

притворялся. Впрочем, доказать это не представлялось ни малейшей возможности: быть может, подозрения Адуляра и были оправданными, но сам глухонемой эльф, разыгрывая свою роль (если у него действительно была такая роль), не совершил ни единого промаха, чтобы их подтвердить. По словам Магора, а уж ему-то было известно о Тиндалине все или почти все, благородный эльф, в отличие от любого человека, знал о мире самое сокровенное. Знания его были велики и безграничны и никогда не затуманивались частностями, абстракциями и сантиментами. Бессмертная любовь вела его кратчайшим путем, минуя нагромождения мелочей и ненужных подробностей, а также прочь отбрасывая все отвлеченное, к вещам конкретным и осязаемым, как бы в их очищенном, почти рафинированном виде, а через них — к глубинным тайнам мироздания. Он ощущал и любил мир едва ли не на клеточном, даже атомарном, уровне, интуиция его не знала границ, и, может быть, потому он практически никогда не ошибался. Обычно во время ученых занятий Тиндалин бесшумно входил в лабораторию, становился лицом к стене, и каждый, кто имел смелость тайком подсматривать за ним в такие минуты, не мог отделаться от ощущения, что эльф прозревает сквозь глухой камень ночную Луну или дневное светило. Иногда Адуляру казалось, что эльф слышит все, о чем говорят в его присутствии. Высокий и статный, одиноко стоял он на фоне белой стены; тело его как бы уподоблялось музыкальному инструменту, серебряные струны которого отзываются на малейшие касания звуковых волн, и, по-видимому, уже в самом этом вибрирующем у него внутри «серебре» ему раскрывались смыслы сказанного — будь то за спиной, за дверью или где-нибудь в самой отдаленной комнате. «Неужели такое возможно?» — думал Адуляр, и сам содрогался от этой мысли.

Однажды брат Флоригард в обществе Атаназиса Кловиса, Павсикакия и Адуляра за стаканчиком пунша рассказывал всякие байки про Тиндалина. Якобы тот помнит уйму древних эльфийских песен, и когда он спит, они звучат в нем. Так что, если приложиться ухом к груди спящего эльфа, можно их услышать — ну совсем, как из радиоприемника. «Вранье! — выпалил брат Павсикакий. — Сначала ты врал про книгу, теперь про песни». — «Клянусь Эльфийскими Дарами, это правда! Я сам много раз пытался проверить, но беда в том, что наш Тиндалин никогда не спит». И действительно, никто и никогда не видел его

спящим. Будто в подтверждение исключительной музыкальности Тиндалина, можно было не раз наблюдать такую картину. Когда в столовой собирался маленький оркестр братьев-фамулусов и исполнял какое-нибудь новое восхитительное произведение Адорнаса Сквелекейлы, глухонемой эльф, как обычно, располагаясь где-нибудь у стены или за столом, смотрел немигающим взором куда-то поверх голов музыкантов, и из его серебристых очей катились слезы. Ранящие сердце и тут же его умиротворяющие мелодии, захватывающие дух мелизмы и неожиданные созвучия сложных аккордов, в своем непрерывном движении увлекающие за собой в неведомое будущее, в котором присутствие божества становится уже почти физически осязаемым, — такова была гениальная музыка Адорнаса Сквелекейлы! Но стоило лишь на мгновение отвлечься и посмотреть на Тиндалина, все это рассеивалось, как нечто эфемерное, в то время как сама волновая, ударная сила музыки, ее сокрытая в контрапункте и орнаментовке душа воплощалась в этом эльфе, становилась этим эльфом, его собственной душой. Казалось, личность его сейчас разрушится и наступит смертный исход, и распад, и останется один лишь чистый дух.

«Это правда, что у Тиндалина нет детей?» — спросил как-то брат Павсикакий. «Правда, — сказал Атаназиус Кловис. — И это тем более обидно, что истекают его последние дни в нашем мире». — «Так почему же он не женится?» — «У него есть возлюбленная: Элирис. Она дочь короля Тилирима и некой прекрасной феи». — «Врешь, Ключик! Что вы все врете? Сначала Флори, теперь и ты туда же. Откуда тебе все это известно?» — «Да так, подслушал один разговор», — невозмутимо ответил Атаназиус Кловис. При этих словах друзья невольно обернулись на дверь кельи брата Флоригарда, где они сидели за пуншем. «Один раз я ее видел», — уже шепотом продолжал Атаназиус. «Кого?» — «Элирис». — «Как? Ты нам ничего не рассказывал!» — удивился Адуляр. «Так ведь вы ничего и не спрашивали», — резонно заметил Атаназиус. «И где же ты ее видел? Когда? Какая она?» — посыпались на него вопросы. «Это случилось во время одного из моих квестов, — с важным видом произнес Атаназиус Кловис. — Глубоко-глубоко под нашим Домом протекает подземная река, широкая и могучая, как Днепр. Добраться туда нелегко, а вернуться оттуда — еще труднее! Но я добрался! Вдруг смотрю: на берегу Тиндалин и Элирис о чем-то мило беседуют. А она, Эли-

рис, дочь величайшего из королей, вся такая ослепительно-белая, красивая, и глаза горят как две звезды! На голове — венчик из эдельвейсов, а волосы — пламя зеленого золота...» Атаназий Кловис аж задохнулся от восторга. «И в том, что они любовники, у меня нет никаких сомнений», — со знанием дела добавил он. «И это все? Беседовали?» — язвительным тоном переспросил Павсикакий. «Я сказал: мило беседовали. Чувствуешь разницу?» — «Ключик, ты бредишь!» Тут в разговор вмешался брат Флоригард по прозвищу Улитка Сольми: «А я вот слышал, что возлюбленную Тиндалина зовут Шаэнтинэль Эриминэ, что в переводе с эльфийского языка означает: тихий звон восходящего солнца». — «Мало ли что ты слышал! — не сдавался Павсикакий. — Где доказательства?» — «Я слышал то, что слышал, и это, дорогой Какий, кое-что да значит!» — «А я видел то, что видел!» — подхватил брат Атаназий. «Хорошо, а что было потом?» — «Я быстренько унес ноги подальше». — «Но почему?» — «Да потому! Ежели б эльфийка влепила мне пощечину за то, что я подсматриваю, отпечаток ее ладони остался бы на моей щеке до самой смерти!» — «Врешь! Опять врешь!» — «Какой же ты зануда, Какий!» — «Не называй меня Какием, Флори!» — «А ты не называй меня Флори!» — «А как же мне тебя называть: Ули? Соли?..» — «Да будет вам собачиться! Мы пьем или не пьем?..»

Случались в Доме и гости. Как правило, из соображений конспирации они посещали его в ночное время. Принимали их с большим почетом и уважением, будто принцев крови, хотя имена их Адуляру ничего не говорили. Собственно, имен, как таковых, и не было. Их заменяли аббревиатуры. С одним из таких посетителей, неким мсье Ж.-К***, Магор вел бесконечные споры о Великом Искусстве, о его прошлом, настоящем и будущем, о грядущих счастливых временах, когда химия избавится от своей инфантильности и сменит детский лепет на мужественную речь мудрости. Во всяком случае, так утверждал Магор.

— О, нет! Все гораздо хуже! — горячо возражал ему сей мсье. — Искусство перестает быть Искусством, как только подвергается разгерметизации, и превращается в конвейерное производство. Да, да, коллега, уж сколько раз такое было. Алхимия, это бабочка Высшего Духа! Становясь профанической химией, то есть гусеницей на теле Божественной Истины, она гибнет, ибо

все, что направлено на чисто практические, материальные цели, обречено на смерть и разложение. Разве не то же самое происходит и с астрономией, которую профаны пытаются подменить астрологией?

— Ах, стоит ли так горячиться, дружище? — посмеиваясь, успокаивал его Магор. — Вы же сами знаете, что такая подмена невозможна в принципе. Истина не может быть ложью, как бы она ни старалась. Обе они существуют параллельно.

— О, если бы! Да только мир катится ко всем чертям! Это ужасно, коллега! Но в этом-то и состоит печальная правда. Возьмем, к примеру, литературу. Что она есть, как не герметическое искусство? Не имеет ли она свой космос, живущий по своим особым законам? Я даже готов согласиться с тем, что между откровениями аббата Виллара, Казановы и Виктора Гюго гораздо больше общего, чем между литературой как таковой и модными глянцевыми журналами, ибо они относятся друг к другу, как голова к ножу гильотины...

— А грамматика! — все больше распалялся мсье Ж.-К***.

— А что грамматика?

— Да очень просто! Грамматика хороша уже тем, что она грамматика, а не пособие по безграмотности. Ведь в идеале грамотность присутствует уже в самой грамматике, а стало быть, не может являться целью последней. И так во всем! Во всем! Церковь — практическое пособие по религии. Религия, между прочим, умирает не на Небе, и не на Земле, а между оными, — то есть в Церкви... Увы, так было, есть и будет. И это справедливо, черт подери, поскольку отвечает закону бытия.

— Как-то уж слишком пессимистично, — промолвил Магор.

— Я же говорил, все катится в тартарары! Надо смотреть на вещи храбро. Это дает надежду.

— Каким же образом, дружище?

— А вот послушайте. Подобно тому, как бутон, раскрываясь, превращается в прекрасный цветок и потом срывается чьей-то рукой, а тем самым предается смерти, так же и Искусство веками хранит свои тайны, уподобляясь цветку, но однажды становится достоянием всех и каждого, — и раскрывается, и умирает, растасканное по лепестку. Попробуйте-ка, откройте консервированный компот, — тот самый, что годами скрывается на полке кухонного шкафа, и компот перестанет существовать, потому что вы его... съедите.

— Так в чем же надежда? — пытался понять Адуляр.

— Так ведь цветы вырастают следующей весной, а на полке в том же шкафу, глядишь, обнаружится новая банка с компотом, сваренным все тем же демиургом! — почти с юношеской горячностью пояснил гость.

— Демиург — это вы? — не выдержав, спросил Адуляр.

— Что касается компота, то очень может быть, — с лукавой улыбкой ввернул Магор, очевидно, в расчете на чувство юмора своего гостя. Это был довольно рискованный шаг.

На прощанье, как обычно, мсье Ж.-К*** оставлял на столе пару относительно свежих номеров «L'Nurperchimi» и с высоко поднятой головой удалялся восвояси.

Не менее своеобразным гостем прослыл и некто барон фон Р*** из Рейхенбаха. Тот любил поговорить с Магором о всемирно распространенной силе од, которую он якобы открыл, и ставил это событие куда выше, нежели другие свои открытия, как то: парафин и креозот. Он каждый раз жаловался на упорное недоверие к нему в научных кругах, на попытки некоторых академиков обвинить его, мягко говоря, в несерьезности. При этом, как бы в подтверждение сказанного, он доставал с полки один из томов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и, тыча пальцем в поблекшую страницу, восклицал:

— Даже здесь, даже здесь они не постыдились опорочить мое честное имя! Завистливые начетчики, бездушные статисты от науки! Перед лицом всего мира они посмели обвинить меня в легковерии. Меня — в легковерии! Они нагло заявляют, будто бы я подменил научный опыт непроверенными слухами и истерическими рассказами неких экзальтированных особ!

— Зато в византийском словаре Свида о вас нет ни слова, — заметил Магор, усмехаясь в бороду. — Да и у Калеба Ефендиунуло ваше имя тоже не встречается.

— А вы, вы, мой лучший друг, как вы можете держать это непотребство в своем доме? — не унимался гость из Рейхенбаха.

— Да успокойтесь же, барон! Согласитесь, не стану же я сжигать книги, в самом деле. Мало ли что пишут в энциклопедиях. Разве может это как-то повлиять на одическую силу?

— Ага, ага! — резво подхватывался попугай Густав. — Пускай себе клеветают, клеветы проклятые!

— И то — правда, — соглашался Магор.

Еще дольше продолжались дискуссии с неким господином Р-ским. Тут уж собеседники пускались в такие дебри радиохимии и физики атома, что Адуляру приходилось туго. И вскоре его начинало клонить в сон и, случалось, он просыпался уже после ухода этого гиперученого гостя. Но один из монологов все-таки запечатлелся в его памяти, несмотря на то, что на момент его произнесения он уже крепко спал, а после пробуждения совершенно не помнил, кому именно этот монолог принадлежал — господину Р-скому или Магору:

«Не есть ли Солнце — конец Вселенной? Ослепительная вспышка перед грядущим мраком. Мозг умирающего человека также взрывается, выделяя колоссальную энергию.

Листья повторяют Солнце осенью и превращаются в прах.

Золото превратится в железо.

Сон — только потому напоминание о смерти, что повторяет, имитирует предсмертный взрыв сознания.

Все уйдет, чтобы вновь вернуться и повториться в иных измерениях и в иных формах. Солнце будет иным, деревья, листва, золото, люди и их сны — все будет иным. И слова, называющие их, также будут иными. И, однако, все это будет тем же, чем и было...»

Не исключено, что сей монолог, от начала и до конца, Адуляру только приснился. И в том не было бы ничего удивительного. Ибо новая жизнь давалась ему нелегко. Нередко, утомленный до крайности учеными занятиями и пережитыми за день впечатлениями, он едва доползал до своей кельи, падал, не раздеваясь, на кровать и тут же проваливался в забытие. Как лучи солнца сквозь густую листву, в его сознание прорывались некие события, в которых он играл далеко не последнюю роль. Но был ли то, действительно, он, а не кто-то другой, оставалось загадкой из загадок. Каждый раз, вырываясь за пределы силового поля очередной такой фантазмагии, взволнованный и напуганный, Адуляр в мельчайших подробностях вспоминал все, как если бы это происходило с ним наяву. С ним и раньше случались подобные казусы. Раза два или три... Но здесь, в Доме Магора, в этой более чем странной обстановке, в этой оторванности от мира, в замкнутости толстых непроницаемых стен, где время, казалось, перестало изменять окружающее и словно царил шум ветра, но без самого ветра, — в этом постоянно слящемся пространстве необъяснимые, поражающие своей реальностью видения стали повторяться все чаще и чаще.

Случалось, Дом посещали такие гости, что не только у Адуляра, но и у любого другого на его месте исчезло бы всякое представление о том, где проходит граница между сном и явью, и вообще возникло бы серьезное недоверие к самому факту существования такой границы, как принципа мироздания. Так, однажды в гостиную ввели пожилого человека в казенной больничной пижаме, глаза его были плотно закрыты, и перемещался он, словно лунатик. Сопровождал его тип и вовсе немислимого вида — рыжий гибрид кота и мыши с цветком копытня в зубах. Он явно бравировал своей «человеческой» осанкой и вообще держался довольно развязно. Похоже, явление подобных гостей на Магора не произвело ни малейшего впечатления, и Адуляр осмелился вполголоса поинтересоваться, кто они такие.

— Вон тот рыжий уродец на двух задних лапах — натурально, *persona turpis*¹, — отвечал Магор. — Зовут его Котомыш Лаврентий Печерский. Однако не в том суть! При помощи этой твари природа неожиданно для самой себя совершила внезапный эволюционный скачок. Но не вперед, а куда-то в сторону. И теперь что бы Лаврентий Печерский ни сделал — все вывихнуто.

— А тот лунатик в пижаме?

— Это бывший профессор философии Беневольский. Точнее, не он сам, а его сон.

— Сон?..

— Ну, если быть более точным, его сновидческий образ.

— Да, только в улучшенном варианте! — просипел Котомыш Лаврентий и постучал когтистой лапкой по голове виртуального профессора. — Видишь, какая черепушка? Здоровенная! Это тебе не хухры-мухры! Почти антиквариат! Голова неизвестного философа-материалиста предположительно восемнадцатого века. — Котомыш на секунду задумался и уточнил: — Конца восемнадцатого века.

— Ну, и чем могу служить? — поинтересовался Магор.

— Слышь, старикан, купи профессора! Продам не дорого: башку за четвертной, а все остальное, так и быть, за целковый. Возьми, не прогадаешь...

Магор покачал головой.

— Эй, эй! Да ты погоди! Это же почти задаром! Один котелок чего стоит... Ты только глянь, какие на нем большие ши-

¹ Личность с дурной славой (*лат.*).

щечки, какие ямочки... Между прочим, доктор Галль за такой раритет заплатил бы вполне конвертируемой валютой. Но мы же с тобой патриоты, бессребреники!.. Нам доллары ни к чему! Ну что, по рукам?

Из всего сказанного Адуляр сделал вывод, что Котомыш Лаврентий Печерский — подпольный торговец снами.

— Извините, любезный, но ни голов, ни тех, кто их носит, я не покупаю. А тем более их сны, — строго заявил Магор. — Так что поскорее верните экземпляр туда, где взяли. И вообще, что это вы себе позволяете? Прямо работорговля какая-то! Не кажется ли вам, любезный, что ваши действия изрядно отдают уголовщиной?

— Эге! Да ты, старикан, видать, совсем уголовного права не знаешь. Нет у нас такой статьи, как «Работорговля». А раз нет такой статьи — стало быть, нет и состава преступления. Так что ты мне туфту не впаривай, ты понял?

Легким воровским движением Котомыш извлек из кармана профессорской пижамы серебряный портсигар, открыл его и выудил кривым коготком папиросу. С таким же успехом это могло быть и портмоне с купюрами...

— Спички есть?

— Не курю, — хмуро соврал Магор, вынимая изо рта дымящуюся трубку и пряча ее в карман.

— Ишь ты, правильный какой! А я вот и курю, и пью, и все остальное делаю... много. Ладно, старикан, будет тебе ломаться! Пару копеек скину, но только ради твоих седин: уважаю старость-не-радость. Ну?.. Так и быть, отдам все целиком за тридцатку. — И Котомыш заботливо обмахнул неподвижного профессора Беневольского лапкой сверху вниз. — Уж больно коньяку хочется: трубы горят.

— А я вот сейчас призову вашего отца, сэра Мурмила. Он вас ремнем отстегает, и трубы сразу охладятся.

— Не надо отца! Мы уходим. — И резко повернувшись к виртуальному профессору, Котомыш Лаврентий, раздосадованный провалившимися торгами, отвесил ему затрещину. — Шевелись, мыслитель недобитый! Одна морока с тобой, а проку никакого.

Поправив ворованную голову на своих плечах, профессор Беневольский послушно засеменил за Котомышем. У самой двери парочка внезапно остановилась, и любитель коньяка с надеждой в голосе промурлыкал:

— Если все же надумаешь, старикан, ищи нас в Скорбной Обители.

— Ремень сэра Мурмилота вас отыщет, — невозмутимо ответил Магор.

Дверь тут же захлопнулась, чуть не прищемив Лаврентию хвост.

— А мне жаль этого профессора, — грустно произнес Адуляр, когда странная парочка покинула гостиную. — Он выглядел таким несчастным!

— Да и мне его жаль, уж поверьте. Но что я могу сделать? К тому же, это ведь и не профессор вовсе. Это его сон. А сны не покупаются, друг мой, согласитесь. Даже с благими намерениями... Спички есть? — вдруг спросил Магор, вынимая из кармана погасшую трубку.

Адуляр растерянно развел руками.

Однако Котомыш Лаврентий Печерский исчез не навсегда. Временами он появлялся в Доме Магора и всюду совал свой нос, — как правило, в самый разгар каких-нибудь важных событий. Однажды он чуть не соблазнил Атаназиуса Кловиса выпить с ним на брудершафт царской водки. Бесшабашного Ключика остановили братья фамулусы, они выбили у него рюмку из рук в тот момент, когда она была уже у самого рта. А в другой раз Котомыш ухитрился продать Полковнику Ферапонтову, который обучал фамулусов военному искусству, за двадцать рублей меч Калибурн, принадлежавший королю Артуру. Но очень скоро выяснилось, что никакой это не Калибурн, а большой кухонный нож, который звался «Сидоров», со всеми вытекающими из этого имени последствиями: вонял протухшей рыбой и луком, да к тому же был тупым, как, вероятно, и его бывший хозяин. Взбешенный старый вояка хотел немедленно «отворить врата войны», но Магор отговорил его, посоветовав как-нибудь при случае подвергнуть обманщика традиционной армейской порке, дабы вразумить его раз и навсегда...

VIII

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

...Как-то раз, после очередного переутомления, сопровождавшегося обычными в таких случаях видениями, Адуляр за вечерней чашкой чая обратился к Магору с такими словами:

— Знаете, учитель, иногда мне кажется, что я не один... что меня много... Ну, как бы это точнее выразиться... Я и там, я и сям, и при этом сам не ведаю, что творю. Может, у меня шизофрения?

— Господь с вами! Никакой шизофрении у вас нет.

— Но ведь я, то есть мы...

— Послушайте, о чем тут говорить! Ваш хорошо сбалансированный организм не в состоянии выделить транс-3-метил-2-гексеную кислоту, которая, как всем известно, присутствует в поту закоренелого шизофреника.

— Откуда вам известно, что не выделяет?

— Ну как же! По запаху, мой друг, по запаху.

Но Адуляру было не до шуток. Ответ Магора показался ему не очень-то убедительным. Через несколько дней он опять стал приставать к Адепту с расспросами.

— Видите ли, друг мой, — отвечал тот. — Все не так просто. Я вовсе не хочу уходить от сути вашей проблемы. Раз уж вы настаиваете, я буду говорить, а вы постарайтесь понять.

— Я весь внимание.

— Прекрасно. Итак... Между миром материи и миром духа пролегает огромная дивная страна, и называется она — Осмахил.

— Никогда не слышал...

— Это имя не единственное. В разные времена разные народы называли ее Уркальей, Авалоном, Пэнлаем и так далее. Так вот, иногда, сам того не ведая, человек внезапно, в силу особых обстоятельств, чаще не зависящих от его воли, оказывается в этой стране, куда его переносят сновидения и грезы. Как это ни прискорбно, но в обыденном мире, то есть в мире плотной материи, исконная сущность человека искажена и замутнена множеством различных обстоятельств и зависимостей, которые ему, слабому и одинокому по земному своему рождению, очень трудно преодолеть. Мир духов же обычно затемнен и малодоступен ему и лишь изредка прорывается жарким огнем любви или холодным пламенем ненависти, которые озаряют в самом его сердце вечность времен и вечность борьбы между добром и злом. И это прикосновение вечности страшит его, ибо почти невозможно человеку вырваться сознанием своим за пределы своего же физического «Я», в коем также, в свою очередь, вершится эта борьба.

— Кроме того, — продолжал Магор, — от ярчайшего света, исходящего из мира духов или, напротив, от его непроницаемой тьмы, человек, не готовый к постижению и приятию в себя столь бесконечных сущностей, рискует быть ослепленным, и тогда либо любовь убьет его, либо — ненависть, ибо ни то и ни другое не будет иметь в себе Божественной Природы, но — лишь усугубленные до гротеска несовершенства собственного «Я».

И только Осмахил одаривает человека чудесной возможностью постичь собственную сущность во всей ее святости и порочности — ведь только в своих мечтах и грезах человек раскрывается полностью и живет в том свободном мире легко и естественно, ничем не ограниченный и как бы отображенный, словно в зеркале, сам для себя, ежели он умеет и желает видеть. Иными словами, человек таков, каковы его фантазии. Он всегда не столько человек реальный, сколько человек воображаемый. Даже — самовоображаемый. И незримые небеса Осмахила отражаются в его глазах, меняя их цвет, глубину и выражение. И всякий человек находит в этой волшебной стране именно то, что искал, и постигает ту меру добра и зла, которые тайно живут в его сердце и которые составляют ландшафт, население и звучащий язык этой страны.

Магор прервался на минуту, чтобы воскурить благовония. Библиотека тут же наполнилась запахами лаванды, можжевельника и сандала. Адуляр заворожено всматривался в синий плащ Магора, словно в небеса Осмахила, Уркальи, Авалона или Пэнлая.

— Но дорога туда, — продолжал Адепт, — очень непроста и сопряжена с немалым риском. Обычно человек защищен своим неведеньем, в силу чего не способен преодолевать большие расстояния и естественным образом получает лишь то, к чему внутренне готов, хотя, как я уже говорил, он и сам не осознает этого в полной мере. Но тому, кто сознательно поставил себе цель проникать туда в любое время и при любых обстоятельствах и странствовать там столько, сколько необходимо, нужна особая подготовка, терпение и напряжение всех духовных и физических сил. Игнорируя эти условия, путник рискует затеряться в чудесном Осмахиле и уже никогда не вернуться назад, а его физическое тело, оставшееся на этом берегу, может оказаться легкой добычей духов из самых низших миров...

Видя, как взволновал Адуляра его рассказ об Осмахиле, Магор улыбнулся и мягко, по-отечески, положил руку ему на плечо.

— Ну-ну, не стоит так волноваться, друг мой! Я вам помогу. Прямо сейчас... Да и Луна как раз вблизи верхней кульминации, так что самое подходящее время отправиться в дорогу. Вы готовы?

— Прямо сейчас?

— Немедленно.

И с этими словами Магор протянул Адуляру бокал из темно-синего, как ночь, стекла с какой-то жидкостью. Адуляр подчинился беспрекословно. Он не знал точно, что им движет: честолюбие, нежелание выдать свой страх или могучая воля Адепта. Зажмурившись, он выпил содержимое бокала — какой-то травяной отвар, ароматный и терпкий на вкус. Магор усадил его в широкое кресло и заботливо прикрыл пледом. Затем он поставил на стол песочные часы и... стал медленно растворяться в свете горящих свечей. Библиотека закружилась, теряя очертания стеллажей, под ногами Адуляра поплыли облака. Великолепные, громадные, они летели куда-то, вбирая в себя закатные краски: золото и кобальт, шафран и жемчуг, кадмий и ртуть до тех пор, пока не растаяли в водянисто-серых сумерках, быстро сменившихся ночью, темной и непроглядной; только одинокое окно тускло светилось во тьме... И вдруг то ли Адуляр полетел навстречу окну, то ли окно устремилось к нему навстречу! Спустя несколько мгновений они настолько сблизились, что Адуляр смог рассмотреть комнату, так хорошо ему знакомую; за круглым столом сидела тетушка Клер, как всегда, раскладывающая неизменный пасьянс, слева от нее расположилась баба Маня в платке, закрывающем пол-лица, а справа пристроилась Янка... она листала какую-то книгу... Адуляр чуть не вскрикнул от радости. Все находились на своих местах! Будто он никогда и не покидал этого дома. Всё так же на старом диване дремал кот Мурмилот, а на резной этажерке в углу сидел Фарфоровый Лев, с навеки застывшей улыбкой... Только вот Янка заметно повзрослела и стала настоящей красавицей. Сколько же лет прошло?..

— Нет, княгинюшка!

— Да, баба Маня.

— Нет, княгинюшка!

— Да, баба Маня.

— Да нет же, нет, княгинюшка! — настаивала баба Маня и для пущей убедительности громко отхлебнула чаю из блюдца. — Вот ты мне все же ответь...

Янка демонстративно уставилась в книгу и даже заткнула уши пальцами.

— Нет, ты все-таки ответь, почему у нашего Фарфорового Льва сердце львиное, а не фарфоровое, а? Тут что-то не то! — Видно было, что бабе Мане эта тема не дает покоя.

— Ах, баба Маня! — вздохнула с укоризной Янка. — Право, какая же вы смешная! Уж сколько лет прошло? Девять?

— Десять, — уточнила тетушка Клер и хохотнула себе под нос.

«Десять!» — мысленно ужаснулся Адуляр за окном.

— Десять! — всплеснула руками Янка. — Десять лет прошло, а вы всё никак не можете понять таких простых вещей!

Баба Маня стыдливо опустила глаза.

— Ну, хорошо, объясняю в последний раз. А вы запоминайте! Поскольку наш Фарфоровый Лев не кот и не мышь, а именно лев, то и сердце у него — львиное. И дело тут в волшебстве, а не в фарфоре.

— Ладно! — согласилась баба Маня, хотя по ней было хорошо видно, что до согласия еще очень далеко. — Может, оно так, а может, и не так. Но ты вот тоже заладила, княгинюшка: «Львиное сердце! Львиное сердце!», да так и твердишь одно и то же все десять лет кряду, как будто других сердец в цельном мире уже и не существует. А ведь бывает, к примеру, и змеиное сердце. Разве нет?

— Ах, баба Маня! Сколько раз можно повторять: речь не о том, что у кого есть! У всех всё есть. Мы говорим о главном!

— О главном?

— О главном. И поэтому у змеи главное не сердце, а жало. Змеиное жало!

— По-твоему выходит, у кого этого главного жала нет, так ему уже и не жить? — запальчиво спросила баба Маня, и даже сама остолбенела от такой постановки вопроса.

Тетушка Клер выдохнула свое знаменитое «Хо-хо-хо!» (в этот раз больше похожее на «Охо-хо!») и покачала головой.

— Зачем вы меня путаете? — чуть не обиделась Янка. — Пускай все живут! А у кого нет змеиного жала, значит, есть что-нибудь другое главное. Скажем, у собаки тоже нет жала, но зато у нее есть нюх.

— Bien-sûr!¹ — подтвердила тетушка Клер, неожиданно поворачивая голову к окну, за которым, паря в сыром ночном воздухе, притаился невесомый Адуляр. — Собачий нюх!

— А у маленького жука нет ни сердца, ни жала, ни нюха. Но вместо всего этого — у него усы, клешни и крылья...

— Ага! Но клешни есть у рака, а крылья — у птицы, — резонно заметила баба Маня, тараща глаза из-под низко надвинутого на лоб платка. Она ткнула бугристым пальцем в зеркало напротив: — И хоть у меня нет клешней и крыльев, но зато есть усы!

— Усы?! У вас усы?

— Еще какие! И борода тоже. У меня бывает просто-таки бородатая борода.

— Баба Маня, вы, кажется, бредите!

— Voilà, à propos!² — воскликнула тетушка Клер, воздевая кверху тонкий пальчик с ониксом. — Борода бывает у козла. «Козлиная борода» называется.

Тут уж баба Маня обидчиво насупилась, а тетушка Клер принялась извиняться, одновременно стараясь под столом незаметно наступить ей на валенок своим острым каблучком, и объяснять ей, что между козлом и бабой Маней, конечно же, нет и не может быть ничего общего; просто тетушка Клер совершенно случайно вспомнила про главную особенность козла, которая заключена в его бороде, только и всего...

— Ну да, вы еще и про козлиный запах вспомните! — огрызнулась баба Маня. — Ясное дело, за день так наработаешься, что и запах будет, и борода козлиная вырастет, и рога в придачу. — И баба Маня возложила свою большущую пятерню себе на лоб. — Всё, хватит с меня этой дурацкой зоологии! Давайте лучше географией займемся.

— Ах, географией! — воскликнула Янка. — А знаете ли вы, тетушка Клер, чего изволила вчера нагородить наша баба Маня?

— Нагородить? — переспросила тетушка Клер, морщась, будто от того самого пресловутого козлиного запаха. — Где это вы набрались таких слов, Ваше Высочество?

В ответ почему-то покраснела баба Маня.

— Так вот, — продолжала Янка, — вчера во время занятий географией у нас возникла дискуссия...

¹ Конечно! (*франц.*).

² Вот, кстати! (*франц.*).

— Дискуссия? Очень хорошо.

— Да, дискуссия, в ходе которой баба Маня выдвигала очень странные теории...

— Может быть, гипотезы? — предположила тетушка Клер. — Интересно, какие же?

— А вот какие. Оказывается, если верить нашей бабе Мане, в Персии персы питаются одними персиками, потому что там больше ничего не растет. Померания — страна мертвых, а в Венеции делают веники, и все жители ходят в венках или в венцах, не снимая их с головы ни днем, ни ночью. Она даже принесла из прихожей свою метлу и заявила, что на самом деле это вовсе не метла, а настоящий венецианский веник, только окультуренный.

— О! — изумилась тетушка Клер. — Это уже даже не гипотеза. Пожалуй, это концепция... Ну хорошо, а что же в таком случае произрастает в Киеве?

— Ну, конечно же, киви! Но и это еще не все.

— Боже правый! Что же еще?

— Далее баба Маня авторитетно заявила, что в Индии водятся индюки — домашние и дикие. Китай — родина китов. В Непале жители не ведают, что такое огонь, а в Пакистане всегда творятся всякие пакости...

Глаза тетушки Клер округлились, а Янка продолжала излагать дивную бабы-Манину географическую концепцию:

— Падуя, да будет вам известно, это город, в котором все падает, потому что там нет ни одной ровной поверхности. А когда выяснилось, что Пизанская башня тоже падает, наша баба Маня целый день ходила сама не своя. «Если башня падает, — сказала она после долгих размышлений, — то должна называться не Пизанской, а Падуанской, и место ей в Падуе». Вот так-то! Париж — вообще город очень спорный, и потому там все бьются об заклад и заключают всевозможные пари. В Салерно питаются одним салом, из чего делаем вывод, что город этот заложен запорожскими казаками, которые переселились в эти места из Запорожья. А покинули они родину из-за климата, который способствовал, прошу прощения, несварению желудка.

— Quelle horreur!¹ Баба Маня, голубушка, откуда вы взяли весь этот кошмар? Я ушам своим не верю.

¹ Какой ужас! (*франц.*).

Но баба Маня не отвечала, она сосредоточенно грызла сахар-рафинад, запивая его чаем из блюдца, и делала это так громко, что разбудила кота Мурмилота, который тут же забил хвостом, тем самым выражая свое недовольство.

— Слушайте дальше, — Янка едва сдерживала смех. — Елисейские Поля принадлежат царевичу Елисею. Павией управляют павы под присмотром мудрых павианов. А если вы хотите улучшить зрение, то поезжайте в Зреньянин, что в Сербии, где, кстати, люди не говорят, а сербают. А особенно примечателен город Караваджо. Его в давние времена основали славяне вместе с татаро-монголами. Славяне построили высокую-превысокую башню из черного камня, который подвозили на своих повозках татаро-монголы. Так ее позднее и называли: Кара-Вежа, то есть Черная Башня...

В эту минуту снова проснулся кот Мурмилот. Некоторое время он лениво прислушивался к совершенно бессмысленному, как всё у людей, разговору, потом, невзирая на присутствие дам, откровенно зевнул во всю пасть, встал, потянул сначала одну заднюю лапу, за ней другую, и, подойдя к столу, вспрыгнул на него. Облизнувшись на тарелку с пирожными, он подал несколько певучих звуков, на которые тетушка Клер немедленно отреагировала соответствующим образом:

— Голубушка, — обратилась она к бабе Мане, — будьте так любезны, накормите сэра Мурмилота.

И пока баба Маня, ворча и обзывая кота «блохастым рыцарем безделья», потчевала его ужином на кухне, Янка принялась рассказывать тетушке Клер про сон, который она видела прошлой ночью:

— Ах, тетушка Клер, вы и представить себе не можете!

— Неужто, душенька?

— Да! Мне приснилось, будто в мою комнату вошел старец Даниил, — так он представился, хотя я всегда знала его как нашего соседа со второго этажа, который угощал меня монпансье, когда я была совсем маленькой.

— Ну как же, помню, помню! Милейший был господин. Говорят, все бросил и в монастырь ушел.

— Так вот, — продолжала Янка. — Вошел он, весь огромный такой — настоящий великан, — седой и красивый, в длинной накидке и с посохом. Взял меня за руку и повел.

— Куда же? — спросила тетушка Клер, краем глаза поглядывая на свои карты, разложенные на столе.

— Это был какой-то темный лабиринт... глубоко под землей.

— Вот как? И что же вы там видели?

— Я ничего не видела, а только слышала... Какие-то шорохи, шепот со всех сторон, голоса... Мы шли очень долго, а потом увидели вдали огонек. Когда мы приблизились, оказалось, что это большие напольные часы, очень похожие на те, что стоят в нашей столовой, но только с обратной стороны, и там, по ту сторону часов, за стеклянной дверцей горел свет. Это было так необычно!

Тетушка Клер невольно посмотрела в ту сторону, где стояли старинные томпионовские часы.

— Даниил погладил меня по голове, думая, наверное, что я испугалась, — продолжала Янка свой рассказ, — но мне совсем не было страшно. Тогда он повел меня прямо сквозь часы. Он отворил стеклянную дверцу, и мы оказались в большой ярко освещенной зале. Повсюду горели свечи, и вокруг было много книг. А еще был большой круглый стол, и за этим столом сидел человек и что-то писал... И только тогда я заметила, что на мне нет одежды! Но, честное слово, тетушка, мне ни капельки не было стыдно. Мне было хорошо и легко... Вы не осуждаете меня, тетушка?

— Девочка моя! Могут ли какие-либо одежды или их отсутствие сделать нас иными, нежели мы есть? Но продолжайте, прошу вас.

— Да, мне было так легко, будто вместе с одеждой исчезло и мое тело. Я даже как будто разучилась говорить, потому что сам язык уже ничего не значил. Я все понимала, но не в словах, а как-то сразу в чувствах... Не знаю, тетушка, как это объяснить... Представьте себе много-много разных шаров, на каждом из которых что-нибудь написано. Ну, например, на одном: «шар стеклянный, синий», на другом: «яшмовый, пятнистый», на третьем: «серебряный», и так далее. Но только теперь все эти слова для вас уже не имеют никакого значения, и вы даже не станете их читать: ведь вы и без слов все видите и понимаете.

— Это разумно, — согласилась тетушка Клер.

— Ну, а если вам все же захочется, и вы прочитаете, что же там такое написано, на этих шарах?.. Разве все эти слова, увиденные вами, не покажутся вам бессмысленными и даже смешными?

— Очень может быть.

— И тут, — Янка печально вздохнула, — началось самое интересное! Навстречу нам из-за стола поднялся человек. Тот, который что-то писал. И я видела его... как бы это сказать... ну... как будто бы в двух лицах. Но во сне это меня совсем не удивило. В общем, получалось, что их двое. Они молчали и смотрели на меня, а я — на них. Только помню, что глаза мои были закрыты. Или мне казалось, что они закрыты?.. Не верите? Сейчас я вам их опишу, тетушка. Первый — такой рыжеволосый, смешной, но слишком уж какой-то взвинченный...

— Взвинченный? — переспросила тетушка Клер.

— Ну, в смысле, слегка прибабахнутый. Хотя и очень милый...

— Фи, княгинюшка, где же вы таких слов набрались? Нужно говорить: излишне беспокойный или полный смятения. Может быть еще взбалмошный...

— Простите, тетушка, но вы же сами согласились с тем, что слова тут не имеют никакого значения. Они как одежда.

— Это спорное сравнение.

— Ну и пусть так. Не перебивайте меня, а то я что-нибудь забуду. Так вот, этот рыжеволосый был чем-то сильно обеспокоен. Он все время суетился, куда-то спешил, переминался с ноги на ногу, и вообще все движения его были торопливы, порывисты. Кажется, его сильно лихорадило.

— Может, он был болен? — предположила тетушка Клер.

— Может быть... Но в тот момент я об этом не подумала. Зато второй, наоборот, оставался задумчивым и печальным, и звали его Классиком. Но, что поразительно, тетушка, лицо и руки его светились, и от них шло тепло.

— Да, — вздохнув, тихо молвила тетушка Клер. — Как быстро растут дети.

— А в огненных волосах его горела золотая корона, — продолжала Янка, глядя куда-то в свой сон. — И тут он сказал... Он сказал, что любит меня. Ах, тетушка Клер, он так и сказал! И всё...

— И всё?

— Нет, не всё. Еще я видела их в зеркале.

— Этого еще не хватало! — всплеснула руками тетушка Клер. — Вы же знаете, нельзя шутить с зеркалами.

— А потом один умер, а другой остался жить. Дальше я не помню. Одно могу сказать: оба внешне были похожи друг на друга, как близнецы. А все вместе, знаете, на кого?

— На кого же?

— На Сказочника Адуляра. — Глаза Янки погрузнели. — Уж сколько лет прошло, тетушка, а он все не возвращается. И зачем только вы его отправили в это путешествие?

— Не я. Судьба его. — Тетушка Клер нежно обняла Янку и поцеловала. — Ничего, девочка моя, он еще вернется. Обязательно вернется.

— Вы думаете?

— Я верю. И вы должны верить... Хорошо, что вы о нем не забыли.

— Ах, тетушка Клер! Как же можно забыть Сказочника Адуляра? Ведь я его так люблю, так люблю... Нет такого дня, чтобы я о нем не думала. И когда я смотрю на Фарфорового Льва, которого он подарил мне на Рождество, то будто вижу самого Сказочника Адуляра. А по воскресеньям я хожу в Крестовоздвиженскую церковь или во Владимирский собор, и ставлю свечи, и молю Богородицу, и Николая Угодника, и всех святых, чтобы не оставили его в пути без своего покровительства. Иногда со мной и баба Маня ходит.

— Вот как? — поразились тетушка Клер. — А я и не знала. Она что, тоже молится?

— Не знаю, тетушка. Я за ней не подсматриваю.

Тут в комнату вплыла баба Маня. На ее плече восседал кот Мурмилот. Он самозабвенно облизывался и урчал.

— Даже я столько не слопаю, сколько этот обжора, — прохрипела она, однако уже не столь сердито.

Очутившись на диване, удовлетворенный ужином кот Мурмилот принялся тщательно умыться, в очередной раз готовясь ко сну. Плененная этим зрелищем, баба Маня завистливо слотнула слюну:

— Эх, мне бы вот так недельку-другую пожить: знай себе ешь да спишь!

— Будет вам! — рассмеялась тетушка Клер. — От такой жизни вы бы просто отупели, голубушка моя.

— Я и так тупая! — из чистого упрямства ответила «голубушка», потуже затягивая платок на голове. — Эх! Помнится, как-то мы с Давыдовым, что на Саксаганского живет, на спор по ночам лбами сшибали водосточные трубы.

— Ну и развлечения у вас, баба Маня! — изумленно воскликнула тетушка Клер.

Зато Янка хохотала до слез.

— А что? Это был честный спор, а вовсе не развлечение, — заявила баба Маня. — И, между прочим, я победила.

— Да, кто ж перед вами устоит?

Было уже за полночь. Янка встала из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, направилась в свою комнату, но у самого порога остановилась.

— Тетушка, можно кое-что спросить?

— Спрашивайте, дитя мое.

— Существует ли в мире большая и верная любовь? Такая, чтобы до последнего дня?

— Конечно, существует!.. Но так же редко, как наидрагоценнейшие из камней.

— Спасибо, тетушка. — Янка вздохнула и затворила за собой дверь.

А тетушка Клер вместо того, чтобы вернуться к своему пасьянсу, открыла какую-то ветхую книгу и обратилась к сидевшей напротив бабе Мане:

— Ну вот, *mon cher*¹, теперь продолжим наши занятия, а то вы совсем запустили свои манеры. Сегодня я прочитаю вам несколько утонченных диалогов из замечательной книги графа Бальдассаре Кастильоне «*Il Cortegiano*»², дабы вы лучше уяснили себе, каким должен быть идеальный придворный. И, пожалуйста, перестаньте зевать, вы же не Мурмилот!

Покинув свое укрытие, Адуляр переместился к другому окну. Он был настолько бесплотен, что даже не мог для самого себя определить: думанье он или виденье. Он вспомнил о так называемой *quinta essentia*³, Магор не раз рассказывал о ней в своих лекциях, как об особом виде материи, которая совершает чистое движение вокруг центра мира. Вот и Адуляр сейчас совершал чистое движение вокруг центра своего мира.

Янка уже легла в постель и погасила ночник у изголовья. В комнате воцарилась тишина и покой, и Адуляру — Сказочнику Адуляру! — захотелось, как в старые добрые времена, рассказать Янке какую-нибудь прекрасную сказку, коснуться рукой ее волос и нежно поцеловать на сон грядущий.

¹ Мой дорогой (*франц.*).

² «Придворный» (*итал.*).

³ Квинтэссенция, пятый элемент (*лат.*).

Вдруг, непонятно откуда, на Замок напозла огромная тень, и воздух наполнился холодной моросью. Тревожное предчувствие пронзило Адуляра. Он посмотрел вверх. Что это?! Среди ярких звезд, словно грозовая туча, медленно плыл корабль под черными парусами. Его мокрое днище лоснилось в лунном свете. Описав над Заком круг, корабль опустился ниже и неподвижно застыл метрах в десяти от освещенного окна, за которым тетушка Клер обучала бабу Маню хорошим манерам.

И тут Адуляр заметил, как с борта корабля к оконному карнизу быстро устремились длинные трапы. Казалось, пропитанный дождем воздух пришел в движение. Трапы еще не успели достичь окна, а по ним уже бесшумно крались вереницы корявых черных силуэтов. Засверкали клинки кривых ножей, замелькали пики. Впереди всех, сильно прихрамывая, ступал предводитель, высокий, худощавый, похожий на тень в своем черном, развевающемся за спиной плаще. Из его левого глаза струился зеленый луч. Все это зрелище было полно зловещей красоты. Уж не войско ли самого Эрлекина высаживалось здесь стремительным inferнальным десантом, войско, о котором Адуляр когда-то прочитал в книге Ордера Витала, подробно описавшего видение священника Гошелина, которое святой отец пережил однажды ночью на безлюдной зимней дороге. Тщетно Адуляр всматривался сквозь морок в движущееся по трапам войско, выискивая глазами помянутые Гошелином звериные шкуры, кухонную утварь, гробы с большеголовыми лилипутами и эфиопов с дыбой... Напротив, это войско выглядело по-настоящему смертоносным и, похоже, намеренья его полностью отвечали его виду. Адуляр что было силы закричал в надежде предупредить своих не ведающих об опасности друзей, но вместо крика лишь ветер зашелестел в старых тополях. Он кричал и кричал, и ветер все усиливался, завывая в водосточных трубах, превращая их в боевые горны. И о чудо!.. Окно со звоном распахнулось, и в проеме показалась баба Маня, в рыцарских доспехах, в руках — палица, в ухе — серьга золотая. Она устремилась навстречу колченогой тени по углу трапу, грудью отражая ударивший в нее зеленый луч, а за ней, — с копьями наперевес, — воины в стальных кольчугах и шлемах. И высоко над Андреевским спуском, будто над пропастью, завязалась жестокая битва. Трапы угрожающе скрипели и прогибались под тяжестью множества ног. Не было слышно ни единого возгласа — лишь звон клинков, шум дождя и ветра да это скрипение трапов над потонувшей во тьме улицей.

Какая-то могучая сила подхватила Адуляра и увлекла далеко в сторону от схватки. Перед взором опять все закружилось в сверкающем вихре...

...Очнулся он в том же кресле посреди библиотеки, укрытый пледом, как раз в тот момент, когда последние песчинки в песочных часах на столе проскользнули в нижний сосуд.

— Извините, дорогой друг, — сказал Магор, переворачивая часы, — но я вынужден был вас вернуть. Слишком вас увлекло в прошлое, а это небезопасно. — Он протянул Адуляру платок. — Вы плакали.

— Я плакал?!

— Полноте, не стоит так смущаться! — воскликнул Магор. — Это были слезы очищения. А вообще вам не мешало бы навесить вашего кота.

— Мусика? Он что, заболел?

— Нет, он обиделся. Говорит, вы давно к нему не приходили поболтать о том, о сем. Уважьте малого. Кажется, он сейчас на кухне: изучает тонкости кулинарного искусства.

— Наверняка делает успехи, — улыбнулся Адуляр.

— Вот и славно.

И Магор, покручивая ус, с хитровой усмешкой вышел из библиотеки, оставив Адуляра в глубоком размышлении...

IX

ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ИЗЛИЯНИЯ АДУЛЯРА

...С того дня Адуляр затосковал. Учение становилось все более не в радость: ему хотелось видеть Янку, говорить с нею или просто слушать, как она говорит. Он готов был стать даже Фарфоровым Львом — и часами, сутками, месяцами сидеть на этажерке в ее комнате; он готов был стать кем угодно — хоть ватным дедом Морозом под ее рождественской елкой, — лишь бы видеть ее.

— Нет-нет, друг мой, — увещевал его Магор, — до Льва вы пока еще не доросли. Чтобы стать Львом, надо в совершенстве овладеть воинским мастерством и встать на путь воина, и пройти его с избытком. А вот что касается деда Мороза, то, как временное средство, это вполне осуществимо... Знаете, я подумую, чем тут можно вам помочь.

— Вы опять смеетесь надо мной!

— Отнюдь! Я вам глубоко сопереживаю. Ибо знаю, что творится у вас в душе. Путь к посвящению нелегок. Истинные лекарства всегда горьки, но именно они исцеляют. Друг мой, вы страдаете от земной любви. А страдаете вы потому, что такая любовь несет в себе одновременно две субстанции — субстанцию Жизни и субстанцию Смерти. Тем самым мужчина, любя женщину, как некогда Адонис, обретается между миром Афродиты и миром Персефоны, так никогда и не принадлежа ни одному из них в отдельности, но — обоим сразу. И в этой любви он вечно рождается, и умирает, и снова рождается. Вам необходимо научиться быть счастливым, и тогда вы уничтожите страдание. Тогда вы познаете более высокую любовь, над которой не властны ни Эрос, ни Танатос, ибо она станет вечной, каковой, собственно, всегда и была. Либо вы плывете в реке, либо вы только созерцаете ее с берега, мечтая да вздыхая. Запомните, истинному философу, воину и сказочнику вменяется иметь любовь и не иметь привязанностей.

Рассуждения Магора показались Адуляру холодными и даже жестокими. Он готов был списать это на возраст Адепта, однако в глубине души чувствовал его правоту, что причиняло еще бóльшие страдания.

Однажды Магор посоветовал ему:

— А вы напишите ей письмо.

— Да что толку! — с досадой ответил Адуляр. — Зачем писать, если она все равно не прочитает?

— Прочитает, обязательно прочитает. Поверьте, у меня есть кому позаботиться о том, чтобы письма попадали по назначению. Вы, главное, пишите.

Так Адуляр начал писать письма к Янке в свободное от занятий время. Он бросал их в почтовый ящик, висевший на стене в гостиной, а посланники, а может, и сами вестники, по повелению Магора уносили их с собой, как всегда, никем не замеченные. Иногда от усталости он засыпал прямо над столом в своей келье, уткнувшись головой в лист бумаги, и дописывать письмо приходилось на следующий день или несколько дней спустя, когда тому выпадал подходящий случай и если в гости не забегал кто-нибудь из братьев-фамулусов. Только теперь, взявшись за перо, он по-настоящему остро ощутил, как изменился за это

время мир и он сам. Прошлого больше не было, оно стало живой частью настоящего. Что же будет дальше? Адуляр не знал. Любые границы, как между прошлым и будущим, между Домом Магора и всем миром, между именами предметов и самими предметами, так и между его именем и им самим, растаяли, и теперь не оставалось ни вопросов, ни ответов... Он писал, и рукой его водил Ангел Странности. Одно было ясно: Янка либо примет его таким, каков он есть, либо...

ПИСЬМА К ЯНКЕ,
написанные на воздушных шариках

Письмо первое

«Месяц хотябрь, понедельник-запредельник.

Даже не знаю, как Ваше Высочество отнесется к моему умопомрачению. И правда, имеет ли смысл говорить о помрачении ума, если ум как таковой в настоящее время у меня отсутствует? Иначе как объяснить все то, что со мной происходит? Что есть ум? Я живу чем-то иным, чему нет названия. Иногда мне чудится, что я — это не я. И этих “не я” много, даже слишком много, и все они претендуют на главенствующее положение. Сказать, что эти мои “не я” абсолютно вольны в своих желаниях и поступках — все равно, что ничего не сказать. Я не устаю удивляться им и их произволу, их непредсказуемости, однако, несмотря на все это, продолжаю жить их самостоятельными жизнями. Или они моей... Что же это еще, как не безумие?

Как-то раз попугай Густав, — приемный сын нашего Адепта, у которого я хожу в учениках, — заявил мне, что, вероятней всего, одно из двух: либо где-то сам по себе бродит мой фантастикум, либо я, в свою очередь, являюсь чьим-то бродячим фантастикумом. Я не особенно доверяю сентенциям Густава: он большой шутник и, как попугай, ответственности за свои слова не несет. Как и я, Густав живет в Доме Великого Адепта и всем сердцем жаждет алхимическим путем трансмутировать из Густава в Августа. А что же я? Адепт уверяет, что Сказочником мне еще только предстоит когда-нибудь стать. Равно как и Адуляром. Имя надо заслужить, а свое истинное “я” — отстоять. Я еще только в начале пути, а пока сижу в своей маленькой келье и пишу Вам письмо, и зовут меня СказАдулем, как какого-нибудь сказочного зверя.

Помните ли Вы крохотного и писклявого Мусика, которого подарили мне на Рождество много лет назад? Мусик вырос, возмужал, с завидной легкостью влился в наше Братство и, между прочим, ответил на извечный вопрос: “Кому на Руси жить хорошо?” Достаточно взглянуть на его упитанные щеки и густую белую шерсть, и все становится ясно. К счастью для него, он — натура цельная, и мои метания ему непонятны. Поэтому Мусик посмеивается надо мной. Кроме того, его заветная мечта — трансмутировать из несовершенного Мусика в совершенного Мусея, и эта мечта возвышает его в собственных глазах, а заодно дает ему право относиться ко мне несколько иронично. Я не обижаюсь: каждому — свое.

Вместе со мной здесь много и других учеников, которые зовутся “братьями-фамулусами”. У каждого, помимо штудий общих для всех, есть еще и индивидуальный курс обучения, который определяется и утверждается Великим Адептом лично. И каждому из нас он успеваает уделить внимание. Чем только мне не приходится заниматься под его руководством! Например, утром штудируешь словарь растений Филиппа Миллера, днем — “О свойствах трав” Макра, а вечером корпишь над “Магией растений” Седира. У Эмпедокла читаешь: “...Выросло много голов без шеи, руки блуждали вокруг туловища без плеч, а глаза вращались, лишенные лбов... Много выростало двулицых и двугрудых Быкородных человеколицых, и, наоборот, возникали Человекородные быкоголовы...” И тут же — псалом 84: “Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются”. И, что удивительно, все это уживается вместе! Как тут не запутаться, Ваше Высочество? И я путаюсь! Но Адепт учит: “Развей свой интеллект до таких пределов, когда он перестанет для тебя что-либо значить”. Вероятно, он прав. Потому что — *Magister dixit!*¹ А пока в моей голове полная неразбериха; случается, начитаешься всякого такого до одури и начинаешь путать простую гортензию с Гортензией, племянницей кардинала Мазарини, а Млечный Путь с обществом фривольных красавиц при дворе Карла II Стюарта... “Вот-вот! — посмеивается Адепт. — Очень хорошо! Еще древние превратили безумие в игру”. Иногда мне кажется, что мое ученичество — это игра в прятки в огромной комнате с множеством дверей. Я один. А кого ищут — и сам не знаю.

¹ Мастер сказал! (*лат.*).

Кстати, о дверях. В доме Великого Адепта их не счесть, и двери эти не простые. Или, скажем иначе, двери эти — не просто двери. И есть тут одна дверь: стоит мне в нее войти — и я уже совсем в ином городе, в иной стране и сам я — иной. Открываю другую — и я уже в сумасшедшем доме. Не важно, где, в каком районе города он расположен, и тщетно искать меня там, поскольку там я — это не я. Персонажей, подобных мне, там хватает, и развлекаемся мы тем, что рассказываем друг другу “страшилки” из детства и наслаждаемся испытываемым ужасом. разве не прав Великий Адепт, говоря, что безумие — это игра? В игре познается мир. С нее начинают свой жизненный путь дети, и в ней они преодолевают болезни роста. Что ж, посмотрим. Кстати, в сумасшедшем доме тоже много дверей. Говорят, за каждой из них — целый мир.

Адепт говорит, что рано или поздно надо пройти через все двери. Вот я и прохожу. И не могу остановиться. Вламываюсь в очередную — и оказываюсь на корабле, который под всеми парусами мчится по небу, словно по морю. У капитана нет головы, а владелец судна, Альгакобилла, как мне показалось, человек наполовину искусственный, — с искусственной рукой, искусственной ногой и искусственным глазом, — не оставляет тщетной надежды втянуть меня в заговор против Луны. Он хочет придержать меня за пазухой, чтобы однажды швырнуть в спящую Луну. Да только она никогда не спит, слава Богу! Впрочем, а что если эта дверь, как и все остальные, находится в моей голове, и я вхожу в одночасье в несколько комнат, отворив одну дверь и забыв прикрыть другую, отчего в глубинах моего дома гуляет сквозняк?..

Итак, княгинюшка, вам придется свыкнуться с мыслью, что я безумец, сумасшедший или Дурак с большой буквы, и тогда смысл всего мною произносимого больше не будет казаться Вам странным.

Однако случается, я вхожу и через окно. Именно в такой способ мне даже посчастливилось увидеть Вас. Была ночь. Вы так сладко спали, когда я вошел и был в нескольких мгновениях от вашего сна. Вероятно, в ту минуту я был Сказочником Адуляром, каковым, возможно, Вы меня еще помните. Я коснулся Ваших волос и поцеловал, и Вы улыбнулись... Вы спросите, почему я Вас не разбудил. Мне запрещено видеть Вас. Увы! Мне запрещает это Великий Адепт, у которого я учусь; мне запрещает это

коварный Альгакобилла, у которого я томлюсь в плену; запрещает главврач Федор Федорович и его больничный режим, благодаря которому я начал постигать смысл и цену свободы. Ладно еще Адепт! *Philosophus per ignem*¹, он знает, что делает, и я ему безмерно доверяю. Но что касается остальных, мною перечисленных... Знаете, все они кажутся мне на одно лицо, и лицо это уж очень нехорошее.

Сегодня, как я уже сказал, я сижу в своей келье. Горят свечи. Тишина. Рядом, на столе, — часы в виде металлической пирамиды. Она разделена снизу вверх на четыре части, три из которых, включая вершину, символизируют секунды, минуты и часы и, благодаря скрытому внутри механизму, движутся вокруг своей оси с подобающей каждой из них скоростью, а четвертая, нижняя, часть является неподвижным основанием с начерченной посередине точкой отсчета. И я, подобно новому Сфинксу, восседаю у подножия этой пирамиды. Сейчас два часа. Два часа чего: дня или ночи? Это неизвестно. Более того, не имеет здесь никакого значения...

Ну вот, звонит колокольчик. Это значит, что сейчас начнутся занятия. По плану у нас сегодня натурфилософия досократиков *in cogrore*², Стагирит и Искусство Прогулки, а также онтологическое доказательство существования Бога в изложении Ансельма Кентерберийского и об ответственности человеческого мышления с точки зрения тонких миров. На десерт, в преддверии традиционных Великих Дурацких Дней — практикум, суть которого можно выразить словами Публия Теренция, а именно: “Продуманно творить чепуху”».

Письмо второе

«Тот же месяц, только день другой.

Ессе *epistola*!³

Все последние дни мы усиленно занимаемся музыкой. Покончив с теорией двенадцатиступенного равномерно-темперированного строя Чжу Цзай-Юя и игры на шэне — своеобразной губной гармонике, сделанной из выдолбленной тыквы и

¹ Огненный философ (*лат.*).

² В полном составе (*лат.*).

³ Вот письмо! (*лат.*).

двадцати четырех бамбуковых трубок с медными язычками, — мы принялись изучать “Гармонику” Клавдия Птолемея, Аристидову теорию ритма в неподвижных телах и в особенности — все шесть книг “De musica” Аврелия Августина, в которых он подробно останавливается на искусстве модуляции. А отсюда рукой подать до числового пифагорейства, до гармоничной упорядоченности всех видов движения, как в мусических искусствах, так и во Вселенной. Не обошли мы стороной и Секста Эмпирика, и Никомаха из Герасы. О, как успокоительно, как благотворно действует на меня уже одно лишь упоминание о единстве, равенстве, пропорции, соразмерности и соответствии! Как притягательны эти слова, и сколь много в них животворящей силы! И как всего этого не хватает в моем зыбком бытии. Кажется, вот только обрел я твердую почву под ногами и уже вознамерился подняться во весь рост и смело протянуть руку к небу, как вдруг опять все ускользает, и мир вокруг качается и рушится, и я, дабы удержать шаткое равновесие, цепляюсь то за “единство”, то за “пропорции”... Увы, княгинюшка, вынужден признать, пока я бесконечно далек от совершенства! Иное дело — наш Praeceptor¹. Слышали бы Вы, как божественно он поёт! Третьего дня он пел с листа Палестрину, и казалось, его вдохновляла сама Полигимния. Диапазон его голоса воистину безграничен! Этот голос может быть высоким и прозрачным, как у Фаринелли или Имы Сумак, а в следующую минуту — уже таким низким и могучим, как у Шаляпина или Гмыри. Иногда же его голос и вовсе становится нечеловеческим и звучит как «поющее пламя» в пирофоне Кастнера, редчайший экземпляр которого имеется в Доме. Затем он продемонстрировал нам свое дирижерское искусство, и чудеснейший оркестр фамулусов, в котором и я имею честь участвовать, сыграл под его управлением “Триумф Вакха” Дебюсси, “Пинии Рима” Респиги, и Симфонию №5 Сильвестрова, а под конец, чтобы нас немного развлечь, — третью часть “Оксфордской симфонии” Гайдна. “Недостаточно, друзья мои и коллеги, знать, чем отличается кварт-секстаккорд от нон-аккорда, — говорит Адепт. — Важно научиться модулировать, то есть заставить одно превратиться в другое. Наша цель — Трансмутация”. Но об этом, княгинюшка, я должен молчать. Пока наш Адепт пел и дирижировал оркестром, даже невидимый Адорнас Скве-

¹ Наставник (лат.).

лекейла умолк, перестав играть на кельтской арфе где-то за стеной. Наверное, он, как и мы, был зачарован и наслаждался чудной музыкой. Да, Ваше Высочество, видели бы вы все это своими глазами: проникновенный взгляд, переливы голоса, непревзойденное мастерство — все это ошеломляет, завораживает, покоряет и убеждает лучше любого учебника или трактата! Однако, несмотря на это, мы все равно должны каждый день утруждать свое зрение и дышать книжной пылью. Шаг за шагом познаем мы все тонкости Гандхарва-веды, изобретенной Муни Бхаратой на основе знаний индийских кентавров. По правде говоря, если я могу еще хоть как-то себе представить кентавров, которые играют на ситахах и танцуют, то их искусство мимики в моей голове пока не укладывается... А тут еще изо дня в день приходится проглатывать по десятку страниц из “Gradus ad Parnassum”¹ Фукса, item² из “Рациональных и социологических оснований музыки” Макса Вебера, не говоря уж о трудах Джузеппе Царлино, Кальвизия, Гвидо д’Ареццо, Цельтера и многих других. Кстати, о вышеупомянутом Гвидо. Адепт утверждает, что, помимо известной Гвидоновой руки с обозначением на каждом ее суставе и кончике каждого пальца ступеней гексахордов, существует еще и Гвидонова неделя, но сие есть тайна сокровенная, о которой не прочитаешь ни в одном из “Наставлений” великого аретинца: ни в “Micrologus de disciplina artis musicae”³, ни в “Epistola ad Michaellem de ignoto cantu”⁴, если бы такое желание и возникло.

Короче говоря, пока мы громогласно восхищались исполнительским мастерством Адепта, тот молчаливо стоял у камина и перебирал щипцами уголья, от которых взлетали яркие искры, и у меня при виде них рождались мысли о бессмертных душах, устремляющихся через темный туннель в бесконечные просторства любви и света, о чем много, популярно и осторожно, с учетом гиперматериализма нашей эпохи, пишет некто д-р Моду. Потом властным жестом руки он остановил поток славословий и коротко сказал: “Все дело в медленном огне”. Далекое не все из нас его поняли. Вы спросите, княгинюшка, а понял ли

¹ «Лестница к Парнасу» (лат.).

² Равным образом (лат.).

³ «Микролог, или Краткое наставление в музыке» (лат.).

⁴ «Послание Михаилу о неизвестном распеве» (лат.).

слова наставника я сам? Должен напомнить, что до сих пор мне так и не удалось разобраться в сложной комбинации своих “я” или “не я”, а посему ответ мой был бы преждевременным и безответственным [...]

[...] недавно узнал: круглыми бывают не только дураки и отличники. Оказалось, что наш город тоже круглый, то есть шарообразный. А в круглом городе и время движется по кругу. Круглое время!... И я, как тот круглый дурак, хожу-брожу кругами по круглому городу, и что-то во мне самом крутится, и перекачивается, и щелкает. Это картинки цветные во мне крутятся или стекляшки разноцветные перекачиваются — что-то вроде того. Когда я подглядываю за самим собой, точнее — заглядываю в себя, как в замочную скважину или в окуляр, — я напоминаю себе детский калейдоскоп. Слегка повернул — щелк! — и картинка. Повернул — щелк! — и еще картинка... Весело жить на Глобусе Киева!

А однажды слышу, кто-то там стучится у меня в голове. Открываю “дверь”, а там, на пороге сознания, колышется великий мудрец, знаменитый даос, отец Вдоха и Выдоха, старый По. Смотрит на меня и ласково так говорит, будто по голове гладит: “Не суетись, юноша! Ибо в бессмертной Книге сказано, что нет ровных дорог без уклонов, нет уехавших и не возвращающихся обратно”. Сказал — и как в землю провалился куда-то в меня.

“Не суетись! Не суетись!..” Я и не сучусь. Я просто бродяжничаю. И иногда вспоминаю.

Тут меня прервал брат Мусик. Он беспардонно вошел в келью, презрительно посмотрел на меня как на совершенного безумца и сказал: “Напрасно стараешься”. — “Это почему же?” — спрашиваю я. “А потому, что она все равно больше любит меня, Мусика”. — “Совсем обнаглел, котяра!” — “Да! — отрезал Мусик. — Потому что я кот, а не какой-нибудь фантазер. Я белый, и хвост у меня серый, в полосочку, не то, что у тебя. — Он скорчил презрительную физиономию: — Да у тебя и хвоста даже нет! Тьфу!..” Тут он выгнул спину и продолжал: “Посуди сам, я хорошо ем, не курю, не пью, в меру романтичен и крепко стою на четырех лапах. И меня, между прочим, не носит по ночам черт знает где, как некоторых неврастеников. Так что, давай, кончай писать всякую слезливую чушь, а лучше налей мне молока и отправляйся спать”.

Вот так. Ничего не поделаешь, милая Янка. Если уж кот говорит такое!

Да хранит Вас Господь. Ваш Сказочник Адуляр...»

Письмо третье

«Месяц ноябрь запоздалого года.

[...] И Адепт говорит, что уж слишком я серьезен; а это, мол, никуда не годится. Всегда-то он ставит меня в тупик, и тогда я перестаю вообще что-либо понимать. Я становлюсь инфантильным и слабым, над чем Адепт посмеивается. По его мнению, так и должно быть, ибо сила как раз и вырастает из слабости и такой навсегда и остается; а если, наоборот, слабость вырастает из силы, то, значит, то вовсе и не сила была, а некое стечение обстоятельств, временно образовавшее вокруг меня поле силы, однако достаточно зыбкое и иллюзорное, чтобы рассеяться при первом же дуновении студеного ветра. И тут я вспомнил Вас, княгинюшка, как Вы сидите в своей кровати и, затаив дыхание, внемлете моим нехитрым сказкам. О, сколько рек утекло с тех пор, сколько дождей пролилось и снегов просыпалось! Вы были совсем ребенком, а я — взрослым человеком. Теперь же — Вы взрослый человек, а я все более становлюсь ребенком. Следопыты, слухари и нюхачи, которые, похоже, живут за ширмами, шторами и портьерами, по-дружески подбадривают меня и шепчут: “Не отчаивайся, дружище! Все проходят через безумие, из которого потом вырастает настоящий разум. Главное, чтобы не наоборот”. И еще они говорят: “Надо жить так, чтобы оставить после себя ясный след, чистый звук и хороший запах!”

Однажды Адепт открыл одну из своих дверей, взял меня за руку и сам вывел в город. О, что за город открылся мне! Киев и одновременно не-Киев, ну, может быть, около-Киев, или за-Киев, или из-за-Киев... не знаю, как еще сказать. Адорнас Сквелекейла называет его над-Киевом или сверх-Киевом.

Город осыпался листьями, последними каштанами и старой штукатуркой, озарялся солнцем, которое уже почти не грело. Горьковатые осенние запахи навевали традиционные мысли о бренном: что-нибудь вроде призрачно-красивого и холодного “Memento mori...”¹. Был девятый день Луны девятого месяца, и

¹ «Помни о смерти...» (лат.).

мы с Адептом отмечали Праздник Хризантем. На улице, одновременно похожей и не похожей на Большую Житомирскую, мы пили ледяное вино, настоянное на ветру, бросив в “бокалы гра-
ненных стаканов” фиолетовые лепестки хризантемы. Я с наслаждением пил вино, и нежные лепестки прилипали к моему нёбу. Быстро захмелев, я говорил себе, что именно теперь я трезв, как никогда.

Вскоре к нам подошел человек в длинном балахоне и с золотой маской на лице, похожий на монаха, собравшегося на карнавал. Молчаливым кивком, как давнишний знакомый, он поздоровался с Адептом, и уже втроем, все также молча, мы поднялись по черной лестнице на черепичную крышу мансарды большого старого дома. Мы долго стояли на крыше, провожая взглядом гонимый ветром Город, который гигантским позолоченным шаром катился к вечеру. “Это Глобус Киева, — сказал Адепт. — Видишь два его крыла?” — “Где?” — я смотрел и смотрел, но видел только птицу, борющуюся далеко в вышине с воздушными потоками. Незнакомец откинул со лба капюшон и, указав пальцем на птицу, обратился ко мне: “Это ты... Видишь?” Я понял его буквально и тут же... улетел. Что за сила влекла меня — не знаю. Крыльев у меня не было, но я летел! Краем глаза я успел заметить, как вслед мне цементная химера, когтями вцепившаяся в каменный карниз, изрыгнула из своей пасти струю пламени, опалив подошвы моих ботинок.

Недолгий полет мой закончился на вершине высокого зеленого холма. Исполинские ступени из белого камня возвышались передо мной, уводя мой взор куда-то в поднебесье. Их было всего пять, но мне стоило больших усилий взбираться на каждую из них, ибо способность летать, так неожиданно обнаружившаяся во мне, так же неожиданно исчезла. Сколько я не подпрыгивал, взмахивая руками, взлететь я больше не мог. Карабкаясь вверх, подобно муравью, я слышал, как при каждом моем движении у самых моих ушей что-то однообразно позвякивает. Непроизвольно я потянулся рукой к голове и стащил с нее... разноцветный колпак с бубенцами. И тогда я рассмеялся. И мне стало так легко, что я больше не чувствовал своего тела. На широкой поверхности первой ступени я прочитал огромными буквами вырезанное слово “Надежда”. Я продолжал карабкаться дальше, и вскоре на остальных ступенях прочитал одно за другим: “Созерцание”, “Объятия” и “Полная отдача”.

Поднявшись на вершину, я увидел хрустальный дворец, столь прозрачный, будто его и вовсе не было, — лишь огоньки, то тут, то там радужно вспыхивая, пробегали по его незримым граням. Солнце в зените польхало, как сапфир. И небо простерлось вверх, вниз и вокруг, — и я словно мчался куда-то на сверкающем астероиде. А вдали, среди звездных россыпей, по черному бархату бесконечности, катился помаранчевый диск Луны. Я рассмеялся от счастья и, позвякивая бубенцами, смело вошел во дворец, но, к своему изумлению, снова оказался на той же улице, где меня терпеливо поджидал Адепт, но уже без своего приятеля в монашеском одеянии. Адепт молча протянул мне все тот же “бокал граненого стакана” все с тем же вином... Или нет, не с тем же. Вкус у вина теперь был самый обычный. Стоя на промозглом ветру, я молча допивал вино, зажевывая его размокшими и безвкусными лепестками хризантемы. Криво-красное солнце уже скрылось за крышами домов. Я оказался в каком-то иллюзорном Городе. Окруженный призраками, я с грустью сознавал, что мое одиночество не умрет вместе со мной, ибо оно существовало еще задолго до моего рождения. “Кто это был?” — спросил я Адепта. “Капеллан, — сказал он тихо и добавил: — Дух Города. Он, как и ты, сумасшедший. Надежда, Созерцание, Объятия, Полная Отдача, — в общем, все, что необходимо для безумия”. — “Хорошо”, — сказал я и подумал, что у нас с Вами, княгинюшка, как раз все наоборот: Полная Отдача, Объятия, Созерцание, Надежда. А результат один: Дворец... Словно услышав мои мысли, Адепт сказал: “Любое помещение само по себе еще ничего не значит. Оно становится тем, чем его наполняют. Так же и с головой”. Я потряс в ответ бубенцами, и они неожиданно благозвучно зазвенели. “Приятный звон, — улыбнулся Адепт. — Тройка, Русь...” — “Всего лишь дурак”, — возразил я. “Настоящий дурак — это умник наизнанку. Иди и перестань бояться”. И я пошел.

Так я разминулся с самим собой во времени и в пространстве. Теперь какая-то неведомая мне сила гонит меня, изменяя направление потока времен, и я совершаю абсолютно дурацкое путешествие дальше, а в результате — назад. Я себе напоминаю Мусика, что гоняется за своим хвостом. Это сравнение меня согревает. Правда, сам Мусик считает, что он уподобляется древнему Уроборосу гностиков. Да разве можно теперь чего-нибудь бояться? [...]

[...] Ну и корабль! Черный, как ночь. Сумасшедший дом под парусами. Настоящий Корабль Дураков. “Мы полетим на Луну, — говорил мне Альгакобилла, рассматривая меня с головы до ног сквозь большую изумрудного цвета линзу. — Луна! Селена!.. Но есть и еще кое-какие, не менее впечатляющие глупости, которые необходимо совершить перед этой, главной. Однако для начала запомните, что вас нарисовали. Повторяю, вас нарисовали. А это, согласитесь, ко многому обязывает”. — “Пусть так. Конечно, можно нарисовать человека с внешностью дурака, но как нарисовать его душу? — ответил я. — Разве можно пощупать глупость?” — “Можно пощупать ее плоды, — сказал Альгакобилла. — И даже вкусить от них. Что нарисовано, то подразумевается, а что подразумевается, то существует. Вы здесь, на моем корабле, а значит, вы — дурак подлинный... Я бы даже сказал, рафинированный, пусть и нарисованный”. Альгакобилла был красноречив и в красноречии своем — убедителен. “Мы все вынуждены находиться на этом корабле — говорил он, — и, более того, обязаны строго выполнять многочисленные и противоречивые, а иногда взаимоисключающие приказы такого же, как и мы, безумного кормчего, приказов, без которых, как это ни странно, корабль давно разбился бы вдребезги вместе со всеми нами. Причем, заметьте, ветер не всегда дует в нужном направлении, но дураку — что в лицо, что в спину: это незначительное обстоятельство нисколько его не смущает. Дурака трудно сбить с курса. Почти невозможно. Для дурака главное — никогда не отставиваться. За пределами Земли ветер вообще отсутствует, но это не мешает нашему дураку под всеми парусами мчаться к далеким лунным пределам! Он эпичен, героичен, а иногда даже фотогеничен. Истинная глупость, вы уж поверьте мне, способна творить чудеса”. — “Разок-другой, не больше”, — возразил я. “А больше и не надо! — ухмыльнулся Альгакобилла. — Умный ведь и на такую малость не способен, поскольку постоянно занят размышлениями, в то время, как дурак просто действует. Умный въедет в Рай только на горбу дурака, но даже не заметит этого: он не смотрит по сторонам, так как слишком занят самим собой. По сторонам, разинув рот и ковыряясь в носу, смотрит дурак”. Меня разбирал смех. Я был почти согласен со всем, что говорил Альгакобилла, но сам он был мне крайне неприятен, даже отвратителен, и лететь с ним на Луну я вовсе не собирался, потому

что в действительности, несмотря на всю “правильность” его слов, в них скрывалась изощренная ложь. Он вел себя слишком артистично. Обаяние артиста — это не то же, что обаяние ребенка. Нет, нет, он не был настоящим дураком и даже не понимал, что это такое. О, я это хорошо чувствовал! Похоже, он думал, что полноценного дурака можно сотворить несколькими росчерками пера или несколькими взмахами кисти, или, и того хуже, вырастить в пробирке, словно алхимического гомункула. Итак: Альгакобилла чересчур умен и самонадеян, рассуждал я, а значит, не слишком отличается от искомого дурака, ибо при отсутствии каких бы то ни было координат наличие ума теряет всякий смысл. “Надо лишить его координат, — подумал я. — Надо быть последним дураком — это залог успеха!” Альгакобилла торопил меня с решением: “Значит ли это, что мы договорились?” — “Хвост собаки пробуждает дремлющий сад”, — подурачки и невпопад ответил я.

Так я стал Фарфоровым Львом, и меня выбросили за борт. Делая мне зло, сотворили мне добро. Ибо я совершил полный круг во времени и понял истинную суть той Рождественской ночи, когда мы с Вами, княгинюшка, расстались, и, оставив Вам в дар свой фарфоровый образ, я с благословения тетушки Клер отправился в свое долгое путешествие.

Не грустите, моя милая, когда-нибудь я обязательно вернусь. Как говорил мастер Ильдефонс, слова которого так любит повторять наш мажордом пан Рышард Кобольд-Юревич:

No, no, nie płacz, nie troskaj się, nie martw,
że tego mostu już niema —
my się jutro w Farlandii spotkajmy...»¹

Письмо четвертое

«22–24 января месяца внеочередного года.

[...] Что ж, открыл я и эту дверь. Я открыл ее и храбро вошел. Моим глазам представилась довольно тесная палата с блеклыми, стенами и потолком. Свое место я нашел сразу. Или, может быть, это место нашло меня. Скромное, оно полностью

¹ И не грусти, не лей напрасных слез
и не тревожься, что взорвали мост,
в Фарландии произойдет свидание... — *Перевод с польск. В.Корнилова.*

соответствовало случаю: казенная койка на пружинах со скрипом, застиранное до дыр вафельное полотенце и на металлической спинке табличка с надписью: “Mania leontiana”¹, у изголовья — тумбочка... На тумбочке, в блюдце, несколько таблеток и два шарика поливитаминов — желтый и оранжевый.

Коллеги по диагнозу (диагнозу в самом широком смысле этого слова, поскольку существует множество тонких различий) — люди во всех отношениях замечательные. И они этого нисколько не скрывают. Каждый второй — гений. Прорицатели, философы, визионеры, первооткрыватели, космонавты и другие небожители, собранные отовсюду щедрою рукой судьбы воедино, обитают здесь в любви и согласии и разве что не плодятся. Видеть гениев и общаться с ними можно запросто, и это составляет единственное, но существенное отличие от мира по ту сторону высокой стены, ибо там гении совершенно неразличимы в толпах обывателей, либо положение их так высоко, что не доберешься. Перефразируя “Изумрудную Скрижаль”, можно сказать: “Что внутри, то и снаружи”. Хотя кто возьмет на себя ответственность определенно указать, где у этого мира лицо, а где изнанка?

Здесь меня почему-то принимают за некоего писателя Побродягина и рассказывают обо мне массу небылиц. Я не обижаюсь. Меня это даже устраивает. А иной раз и забавляет. И вообще я принял обет молчания (позволяя себе говорить только во снах), и тем самым облегчил себе существование.

Когда все спят, меня навещают посланники Адепта, а то и сами вестники. Прячась за большими зонтиками, они сообщают последние новости. Оказывается, где-то кто-то на кого-то обменял какого-то Луиса Корвалана. Честно признаться, я не знаю, что это событие может для меня значить, и должен ли я после этого обмена поступить каким-то особым образом. Да, много событий в мире, недоступных пониманию! Например, здесь принято спрашивать друг друга: “Ты почему не на строительстве Байкало-Амурской Магистральной?” Вместо ответа следует пожимание плечами, отягощенное многозначительными подмигиваниями. Меня спрашивают чаще других. Наверное, потому, что я всегда молчу и, следовательно, не ляпну чего-нибудь лишнего. А подмигнуть или пожать плечами для меня не составляет большого труда. Но если бы не обет молчания, я рассказал бы всем, что такое эта Магистраль. Существуют вещи с точки зрения ма-

¹ «Мания величия» (лат.) — медицинский термин.

териалистического рационализма, властвующего сегодня над людскими умами, совершенно бесполезные, — такие, как, например, пирамиды в Египте. Все они суть объекты сакральные, изначально отрицающие наш дихотомический подход к миру, они — результат аналогового мышления, ключ к двери, за которой бесконечность, где “да” и “нет” не исключают, но дополняют друг друга. В действительности никто, кроме жрецов и магов, не знает, куда же на самом деле ведет Байкало-Амурская Магистраль. Она строится не для того, чтобы по ней ходили поезда, как думает большинство простаков.

Но я отвлекся. Итак, вестники приносят мне новости, но самое главное — они забирают для Вас, княгинюшка, мои письма. Увы, от Вас — ни строчки. Может быть, Вы существуете, как и эти письма, только в моем воображении? На это вестники отвечают, что юродствовать мне не к лицу [...]

[...]“Ну что ты терзаешь себя, старик!” — как-то раз, заглянув ко мне на огонек, сказал спецкор Кутищев. Коллеги по диагнозу, наглотавшись транквилизаторов, спали мертвецким сном, и грудные клетки их высоко и спокойно вздымались под тощими одеялами. “Брось печалиться! Классикам это не пристало”. — “Вот как? А что же пристало классикам? — не без раздражения спросил я человека, которого сам же и выдумал и который теперь имел наглость меня же поучать, льстиво называя классиком. — Что пристало-то, а?” — “Надо, старик, надо испить сию чашу до дна. Помнишь, как я тогда испил, в ЖЭКе №30/3?” — “Ага, ну как же, испить и помереть...” — “Почему же сразу помереть?” — хитрец делал вид, будто существует сам по себе, будто никто и никогда его не выдумывал. Легко ему играть в свободу воли и за поступки расплачиваться “книжной” кровью. Но меня не проведешь. “Зачем помирать? — наивно хлопая глазами, спросил Кутищев. — Можно просто сменить образ, а заодно и фамилию, стать каким-нибудь Побродягиным или Забродягиным, и живи себе, сколько душа пожелает. Главное — помалкивать”. Я пропустил эту колкость мимо ушей и только сказал: “Один вот придурок был слишком разговорчив и взял, да и умер прямо на крыше”. — “Умер-шмумер! Открой глаза пошире. Да я живее всех живых, чего и тебе от всего сердца желаю. А что до твоей зазнобы, по которой ты тут безнадежно чахнешь, вместо того чтобы делом заниматься, так лучше вспомни: она ведь и прежде всякие фортеля выкидывала. То из томпионовских часов

выскакивает в чем мать родила вместе с этим старым Данилой Заточкиным, то в зеркалах маячит, как призрак Анны Блейн...” — “Ну да! — горестно молвил я. — Зато теперь она появляется исключительно во снах”. — “Эх, старик! Да вся наша жизнь — сон”. — “Очень оригинально”. — “А прочему ты не думаешь, что это ты мне снишься вместе со всеми твоими глупостями?” — спросил Кутищев, ехидно улыбаясь. “Послушай, — не на шутку рассердился я. — Если бы не я, ты бы так всю свою жизнь и проспал где-нибудь у меня в подкорке”. Про себя я подумал: “Вот так дурак создал дурака, и теперь неизвестно, кто из них двоих больший дурак”, — а вслух сказал: “И теперь вот никак концы с концами не свяжу. А ведь ты всего-навсего *peticio principii*!”. Спецкор Кутищев снисходительно похлопал меня по плечу и сказал: “Брось, старик! Все это от неудовлетворенности чувств. И чем больше ты хандришь, тем злобней становишься. Оно и понятно: с одной стороны — Нобелевскую премию мы так и не получили, с другой стороны — с личной жизнью не все в порядке. Но я не обижаюсь. Нисколько. Более того, истинно говорю тебе: чем дольше разлука, тем ближе встреча. И не следует избегать ни того, ни другого, потому что, в конце концов, и встреча, и разлука — две стороны одной медали. Да и Нобелевка от тебя никуда не уйдет, вот увидишь!” — “Да на кой черт мне сдалась эта твоя Нобелевка со всеми твоими медалями?!” — вскипел я.

И тут, будто в ответ на прозвучавшее слово «медалями», в палату ворвался Полковник Ферапонтов. “Р-р-равнясь! Смир-р-рно! — сходу скомандовал он. — Рядовой Кутищев!” — “Я!” — “Выйти из строя!” — “Есть!” — “Три наряда вне очереди. Кр-р-ругом марш!” — “Есть три наряда вне очереди!” И спецкор Кутищев, чеканя шаг, удалился прочь, на прощанье делая мне глазами какие-то знаки. “За что вы его так?” — спросил я. “А чтоб субординацию соблюдал, — отвечал Полковник Ферапонтов, любовно расставляя по углам свои пищади, сабли и бомбарды. — Бойцы спят?” Он посмотрел на моих соседей по палате, потом на меня: “Бойцы спят, я спр-р-рашиваю?” — “Ага, спят! — Но тут я забеспокоился. — Однако мы изрядно шумим. Нас может услышать Гестаповна — сегодня ее дежурство”. — “Не услышит. Я отослал ее на Восточный фронт”. — “Да? А где он сейчас пролегает?” — осведомился я. “На востоке, где ж еще! А Западный — на западе”. Пол-

¹ Мнимое или недостаточное основание для доказательства, аргумент в споре, сам нуждающийся в подтверждении или доказательстве (*лат.*).

ковник Ферапонтов уселся на мою койку. Сидит, ремнями да портупеями поскрипывает, глазами воинственно посверкивает и усалихватски покручивает. Ну, делать нечего: полез я под матрас, достал бутылку водки. Выпили, как водится, по сто грамм. “Ну что, солдатик? — говорит он мне, скручивая самокрутку. — Все дурью маешься? Это, брат, непорядок. Ну, подумаешь, она тебе не пишет...” — “Не пишет, товарищ Полковник!” — махнул я рукой. “Стало быть, не пишет. А ты на меня, брат, посмотри. Кто я есть? Я есть целый Полковник — и по званию, и по имени. И мне тоже никто не пишет. И не звонит! Ну, я не говорю про всякую там штабную мелочь, что пакеты секретные мне присылает. Я даже читать их брезгую”. Я развел руками: что тут скажешь? “А все почему так выходит? — продолжал Полковник Ферапонтов. — А все потому, что одни дамы-с — и таких большинство-с! — ни тебе читать не умеют, ни писать. Другие — умеют, но не знают, куда собственно мне писать, потому что я обычно засекречен: специфика должности, брат. Третьим я, все одно, и сам бы не ответил, а так как они про это хорошо знают, то и не пытаются писать. Есть еще и четвертые: те все пишут и пишут, но писем не отправляют. И не потому, что я засекречен — плевать им на это! — а потому что письма их все равно не дойдут: я ведь сегодня здесь, а завтра там”. — “Я тоже сегодня здесь, а завтра там”, — вздохнул я. “Вот! — обрадовался Полковник Ферапонтов. — А ты мне нравишься! Надо как-нибудь повесить тебя в звании. Ефрейтор тебя устроит?” — “Никак нет!” — “Хорошо, я подумаю. Наливай!” Мы выпили по второй. “А то ты мне вот про что скажи, братушка-солдатушка! — взревел Полковник Ферапонтов, и глаза его налились кровью. — За что я кровь проливал?!” — “За все, — предположил я. “То-то и оно”, — согласился он сразу. — Вот за это и выпьем!..”

Так мы, выпивая и беседуя, коротали ночь. Полковник Ферапонтов рассказывал о своих бесконечных подвигах — ратных и любовных, — между которыми я постепенно перестал ощущать какую бы то ни было разницу. Он цитировал по памяти целые главы из многочисленных книг, написанных им в часы редких привалов между боевыми действиями, на постоянных дворах или прямо в поле под открытым небом. Высшей степени слияния этих двух героических тем он добился в повести «Взятие Феклы», причем я так и не смог понять, кем была эта Фекла: необузданной вакханкой, жаждущей грубых полковничьих объятий, или всего лишь городом, окруженным крепостными стенами.

Вместе с содержимым бутылки иссякло и красноречие Полковника Ферাপонтова. Он нехотя встал, собрал знамена и оружие и, позвякивая орденами и медалями, выдвинулся на заранее отведенные позиции. “Маневры”, — устало произнес он, тревожно оглядываясь. “Военно-эротические?” — спросил я, стараясь не смотреть ему в глаза. “И то и другое” — отчеканил полковник и неожиданно для самого себя прослезился. На прощанье (видимо, из гуманитарных соображений) он пообещал демобилизовать проштрафившуюся Гестаповну, конечно, если ее еще не разорвало снарядом, или не изрешетило пулями. Нечто жестокое и безысходное звучало в этих безличных глаголах.

Потом я уснул. В ту же ночь, во сне, мне явился Отец Вдоха и Выдоха, старый По, о котором я Вам уже однажды писал, книжничка. Так вот, входит он мягкой поступью в мой сон, ручками плавно поводит, будто крыльями, ножками перебирает, семенит так, словно утонуть боится, и улыбается сам себе. Ну и спрашивает меня на своем древнекитайском языке: “И что же ты надумал, о юноша?” А я ему на еще более древнекитайском отвечаю: “Отец! Мой жизненный опыт говорит, что мне, рожденному в ян-варе, самим Провидением было предуготовано Счастливое пь-ян-ство. Но, увы, пь-ян-ство закончилось, а опь-ян-ение все еще продолжается!”. На это мудрый По молча развесил по углам бумажные фонарики и возжег их, а потом, подарив мне “прыгучий” мячик на резинке, сказал так: “Я вижу в тебе опасный переизбыток субстанции ян. Отскочив от пола, мячик должен вернуться на высоту, с которой падал. О юноша! Ищи ответ в субстанции инь, дабы установилось законное равновесие в твоей Поднебесной”. А я ему: “Но как? Как искать-то это законное равновесие? Ведь мой жизненный опыт...” Но Отец Вдоха и Выдоха прервал меня плавным движением ладошки и сел в шпагат. “Жизненный опыт! — воскликнул он и рассмеялся. — О, юноша! Жизненный опыт, говорил мудрый Кун-цзы, это всего лишь тусклый фонарь, который не освещает ничего, кроме нашего прошлого. Забудь обо всем иллюзорном, и начни черпать недостающее инь”. — “Но где? Где и как я должен черпать это спасительное инь?” — вопрошал я, теряя терпение. “Для начала отр-инь многообразные влечения влекомого, о юноша! Зак-инь удочку ума в бездны сознания, как то сделал в давние времена проникновеннейший Кун-цзы, когда в тишин(ь)-е ночи обратил взор свой к ян-тарной Луне и посредством ин(ь)-туиции приобщился к Божественной беседе, после чего сочин(ь)-ил бессмертную книгу ‘Лунь-юй’, то есть ‘Беседы и сужде-

ния'. Затем отр-инь желание желаемого и нежелание нежелаемого, а совершив это де-ян-ие, отр-инь нежелание желаемого и желание нежелаемого. Отр-ин(ь)-ув их, а вслед за ними и само де-ян-ие, погрузись в ба-инь-ки, посредством коих ты отворишь свои сокровенные ворота для проникновения свежего ветра..."

С этими словами я и проснулся. Полдня меня истязала сильнейшая головная боль, но я старался не подавать виду, чтобы мне не сделали какой-нибудь укол. Я одиноко бродил по саду в поисках возжеленной субстанции инь, но так ничего и не найдя, последовал мудрому наставлению старого По: улегся на свою койку и часа два усердно практиковал ба-инь-ки. По-видимому, эти занятия заметно повлияли на мой внешний вид, потому что сразу после уж-ин(ь)-а, которому я отдался с сознанием его высшего, но скрытого смысла, ко мне подошел один умалишенный священник, отец Станислав, и пр-ин(ь)-ялся выяснять, не одержимый ли я. Как обычно, следуя обету молчания, я не произносил ни слова, а святой отец ласково гладил меня по голове и рассказывал всякие жуткие истории об одержимых, кои он в обилии почерпнул из ученых книг. И хоть мне это не доставляло ни малейшего удовольствия, я против своей воли вынужден был узнать, что, согласно Кириллу Иерусалимскому, "одержание" происходит следующим образом: Дьявол "тиранически использует чужое тело. Пена идет вместо слов, человек погружается во тьму: его глаза открыты, но его душа не видна в них, и несчастный бьется в конвульсиях перед смертью". Тут я понял, что отец Станислав, как и я, настоящий Дурак, да он этого и не скрывает, в отличие от большинства здешних обитателей, каждый из которых уверен в том, что он один непревзойденный умник и гений, а все остальные на соседних койках — идиоты и бездари.

Покончив с прамбулой, священник обследовал меня по трем основным показателям, а именно:

1. Сведение мышц и искривление лица и тела.
2. Срыгивание инородных предметов.
3. Изменение голоса.

По первому пункту, то есть моим лицом и телом, он остался вполне удовлетворенным: физически я был совершенно в норме, разве только моргал чаще обычного. По второму пункту, присутствовавший при обследовании один новообращенный в веру милиционер по фамилии Пришивалов, сообщил, что я не только "не был замечен в изрыгании каких бы то ни было предметов", но даже — и это якобы установленный факт! — наоборот, заглатывал

буквы и целые слова, причем “не рóтом” (он так и выразился), а “взором телесным”. Это сообщение несколько насторожило отца Станислава, однако, по здравому размышлению, он снял подозрения и по этому пункту, ибо о поглощении письменных текстов церковные авторитеты хранят молчание. Стало быть, не о чем и говорить. А что касается изменения голоса, то есть третьего показателя одержимости, то вопрос остался открытым: поскольку до сих пор никто из дураков не слышал моего голоса, то и не представлялось никакой возможности достоверно определить, изменился он или нет. Мне почему-то показалось, что отец Станислав ушел слегка разочарованным [...]

[...] На следующую ночь я снова, не теряя надежды, погрузился в продолжительные ба-инь-ки. Но, княгинюшка, как это ни прискорбно, равновесие между инь и ян все не наступало. С еще бóльшим посто-ян-ством Ваш прекрасный образ оживлял мои сновидения, и я даже видел, как Вы пишете мне письмо. И я читал его и чуть не плакал от счастья, но, проснувшись, не мог вспомнить ни слова.

А утром все мы были построены в коридоре, и утрюмые дуболомы в белых халатах долго и тщательно разыскивали среди нас какого-то умника, который якобы выдавал себя за ученую собаку. Абсолютное большинство гениев заявили, что для них, сверхлюдей, принять статус собаки означало бы полное нравственное и духовное падение. “Мы что, сумасшедшие — корчить из себя собак?” — говорили те, что были попроще...

Короче, едва дождавшись вечера, я проскользнул в одну неприметную дверь и... оказался в своем старом родном доме! Я не был здесь целую вечность. Хотя, кто знает: может, и был, но как одно из своих “я” или “не-я”?.. Зажег свет... Горит! Кажется, все здесь уснуло без меня и больше во мне не нуждается — давно забытые предметы, давно прочитанные книги, давно прожитая жизнь...

И вот я в кухне, ставлю чайник на огонь. Смотрю: кругом пыль и запустение. За окном, в ночной мгле стынет спящий город. “Интересно, что сейчас делает Адепт? — думал я. — Неужели он меня совсем забыл? Или предоставляет мне возможность дойти до последней степени сумасшествия?” Я зачем-то открыл холодильник, хорошо зная, что в нем шаром покати. Открыл, а там — о Господи! — там замороженный г-н Архивариус. Я помнил его по нескольким встречам у Адепта, к которому он приходил на кон-

сультации вместе со своим ученым секретарем г-ном Филином. “Зачем он здесь? — думал я, вытаскивая г-на Архивариуса из холодильника. — Может, и он тоже перепутал двери?” Когда я его разморозил, он обнял меня как старого друга и сердечно поблагодарил за проделанную работу. На мой недоуменный вопрос о холодильнике он ответил, что вошел туда, чтобы лучше сохраниться до моего прихода. Я налил ему горячего чаю, и пока он приходил в себя, я с любовью вспоминал Вас, княгинюшка, но с горечью думал: ну почему не Вы вышли из холодильника, как когда-то из томпионовских часов или из мутного зеркала? На худой конец, если и не Вы, то почему не почтальон с кожаной сумкой, в которой лежало бы письмо от Вас — то самое письмо, что приснилось мне?

Попивая чаек без сахара, г-н Архивариус то и дело заглядывал мне в глаза. Он трогательно вздыхал, а под конец даже прослезился. “Ах, я все-все знаю, дорогой друг, — заговорил он, сморкаясь в платочек. — Да, да, я уже все знаю: такая-сякая сбежала...” — “Да нет же! — едва скрывая досаду, говорю я. — Вовсе она не сбежала”. — “Ну конечно, дорогой друг! Я хотел сказать: пропала”. — “Позвольте, вы о чем? Кто сбежал? Кто пропал?” — “Гм, простите... Наверное, я перепутал... Ну конечно, я все перепутал! Уж больно холодно в вашем холодильнике. Господин Адепт заверил меня, что вы явитесь еще прошлой ночью, но... В общем, я или не так понял, или не то сказал... Простите, дорогой друг, но я думал, что княгинюшка...” — “Понятно, — сказал я. — Но, к сожалению, мне о ней ничего не известно. А если уж кто-то ушел или пропал, как вы изволили выразиться, то это я. Я ушел, и я пропал. В общем — исчез”. — “Ну, если было откуда исчезнуть, то, значит, есть и где возникнуть”. — “Это уж точно, — согласился я. — Вот я и возникаю. Но как-то все время не там. Что было, того уж нет, господин Архивариус”. — “Ох, напрасно вы так говорите, дорогой друг! Сие есть *in Regum natura*¹. У нашей княгинюшки свой путь, а у вас, извините за откровение, — свой. Но здесь, поверьте, важно даже не то, где эти пути пролегают, а где и когда они пересекаются”. Пожалуй, он был прав, этот любезный г-н Архивариус. Он только не учитывал, что при такой множественности моих “я” путей получалось больше, чем нужно... “Вы когда-нибудь встречались с самим собой?” — спросил он неожиданно и так точно попал в цель, что меня бросило в пот. Но в эту минуту кто-то отчаянно

¹ В природе вещей (*лат.*).

забарабанил в окно. Дробные удары напоминали град, но град какой-то уж очень осмысленный, точнее, разумный град. За окном была темень, и сквозь оконное стекло, в котором отсвечивала кухонная лампа, я ничего не мог разглядеть. “Не извольте беспокоиться, — промолвил г-н Архивариус. — Это свой”. — “Свой?!” — “Это мой ученый секретарь”. Я поспешно отворил окно, и вместе с промозглым осенним ветром в кухню впорхнул г-н Филин. “Угу! Угу! — вопил он. — Мои манжеты! Я растерял мои манжеты!” И действительно, в ночном небе, подобно мотылькам, порхали манжеты, увлекаемые ветром. Невольно я вспомнил птицу капеллана и себя, легко парящего над городом. “Мои манжеты! У-йу-йу-й! Совсем новые!..” — “Да будет вам! — оборвал его г-н Архивариус. — Не до ваших манжет сейчас. Тут происходят вещи куда более серьезные, — и он молча указал глазами в мою сторону, что от меня не ускользнуло, а затем спросил: — Кстати, дражайший господин Филин, вы сегодня почти случайно не разбирали? Может быть, там затерялось какое-нибудь письмецо для нашего друга?..” Ученый секретарь нерешительно посмотрел на меня, хлопнул себя крыльями по бокам и переспросил: “Письмецо?” — “Письмецо, письмище или просто письмо, в конце-то концов!” — сгорал от нетерпения г-н Архивариус, а у меня даже дыхание перехватило. “Сейчас, погодите, — припоминал г-н Филин. — Насколько я помню, писем нет... Но если вы хотите, я слетаю и поищу”. — “Не надо, — остановил я усердного парня. — Если письмо когда-нибудь придет, мне его доставят вестники Адепта”. — “Мы не хуже вестников!” — подбоченившись, обидчиво заявил г-н Филин. Извинившись, г-н Архивариус отвел его в сторону, к самому окну, и они стали о чем-то шептаться, неистово жестикулируя в клубах пара, поднимавшегося от кипящего на плите чайника. “Будет лучше, если вы сами ему письмо напишете, — шептал г-н Архивариус г-ну Филину, не подозревая, что я все слышу. — Ведь вы умеете писать?”. — “Я?..” — “Ну да, именно вы! Всем известно, что вы беспреданно что-нибудь пишете. Многие даже почему-то считают вас блестящим версификатором и якобы выдающимся стилистом... Непревзойденным, гм-гм, мастером слова... Вот и напишите письмо от Ее Высочества Янки”. — “От Янки?!” — Г-н Филин даже покраснел от удовольствия, а потом побледнел от страха, разумеется, насколько позволяло его густое оперение. “Что, испугались?” — презрительно скривился г-н Архивариус. “Э нет, господин хороший! Увольте, но так дело не пойдет. Я простой, но честный Филин-секретарь и на заведомый подлог не

пойду. Ишь чего придумали! Да вы знаете, что за такие вещи полагается? Во Франции — пожизненная каторга! Почитайте Видока, начальника парижской полиции”. — “Ай-ай-ай! Какую чушь вы несете! Все это было давно, и мы, слава Богу, не во Франции”. — “Извините, но я не разделяю вашей радости по этому поводу. И лучше уж каторга там, чем здесь”. — “Здесь? — г-н Архивариус рассмеялся. — Да у нас, на Глобусе Киева, вас всего лишь пожурят”. — “Пожурят, как же!” — “Ну, может быть, синяк-другой под глазом поставят да парочку перьев из хвоста повыдерут”. — “Угу! Легко же вам говорить, господин Архивариус, перья-то, небось, не из вашего хвоста!” — “Нет, — честно признался г-н Архивариус, — не из моего. Но если бы они у меня были, то я...” Он не успел договорить, потому что г-н Филин с громким воплем вспрыгнул на буфет: “Угу, это еще кто на меня зарится так хищно?” — “Это просто Мусик”, — сказал я. И действительно, в кухню незаметно прокрался мой Мусик, которого я уже давненько не видел. “Мог бы, между прочим, навестить меня в дурдоме, — пожурил я кота. — Тебе бы там никто не удивился”. Но наглый кот на меня даже не взглянул! Вы представляете? Вместо этого он со знанием дела заявил: “Послушайте меня, ребята! Эта лупоглазая птица права: за такое лжеписьмо я первый ее обдеру, как липку”. — “Лупоглазая? — возмутился г-н Филин. — Да как вы смеете? Что за манеры? Что за стиль и общая интонация? Какое хамство! И на каком основании?” — “А на том основании, ребята, что сама княгинюшка своею собственной материнской рукою вскормила меня из пипетки. И я никому не позволю...” — “Ах, какая прелесть!” — восхитился г-н Архивариус и радостно подбросил свой ученый колпак под потолок. “Никому не позволю, — продолжал Мусик, — оскорблять ее честь и достоинство своими лживыми мистификациями”. — “Чем?” — изумился я. “Пойди-ка лучше возьми там, в авоське: тебе два бутерброда и банка кофе от г-на Учителя”, — заявил Мусик, проигнорировав мой вопрос. — “От Адепта?” — обрадовался я. “А сегодня я видел сон, — промурлыкал Мусик, вновь не ответив мне, своему хозяину. — Вещий сон”. — “О, как интересно, господин Мусик! — наострил ухо г-н Архивариус. — Господин Филин, вы записываете?” — “Угу, на чем? Я же потерял манжеты!” — “Ах да! Ну ничего. Господин Мусик, вы рассказывайте, а он потом по памяти все запишет”. — “Так вот, снилось мне, будто вижу я, как наша раскрасавица княгинюшка красиво так восседает за столом и что-то красиво пишет красивым-прекрасивым почерком на большущем листе бума-

ги...” — “Что такое?” — переспросил я, не веря своим ушам: ведь это же был мой сон. “Пишет, и пишет, и пишет... Потом думает, и думает, и думает. И снова пишет. При этом волнуется, ручку грызет”. — “Угу, зачем?” — “Ты что, дурак?” — “Нет, — вмешался я. — Дурак — это я”. — “Я же сказал: грызет ручку. Шариковую. И еще глаза так закатывает мечтательно, что твой ангел, и жмурится, ну совсем как я, когда хорошо поем. А потом берет второй лист, а он раза в два больше, чем первый, и опять пишет, и думает, и бормочет, и жмурится... Такая красота, знаете ли!” — “А дальше? Что дальше?” — “Мр-р-мя! Я даже запомнил первую и последнюю строчки этого письма”. — “Неужели?! — хором воскликнули все мы, а мне, милая княгинюшка, стало за себя так стыдно: ведь в отличие от этого наглого кота, я не запомнил ни одного слова из того письма, которое Вы писали прямо в мой сон. “Да, ребята, — Мусик принял позу микельанджеловского Давида, так что едва уместился в моей кухне. — Вот первая строчка этого божественного письма: “Здравствуй, мой дорогой Мусик!”. — “Угу, бред сумасшедшего”, — откликнулся с буфета г-н Филин, а мне подумалось, что я, как бурлак, таскаю свою белую палату за собой. “Постойте, — засуетился г-н Архивариус. — А последняя строчка?” — “Ну, это очень интимно, — попытался уклониться дерзкий кот, застенчиво опуская глазки. — О таких вещах в обществе джентльменов говорить не принято”. — “А мы не джентльмены!” — выпалил г-н Филин и тут же осекся. “Мы ученые, — попытался смягчить неловкость ученого секретаря г-н Архивариус. — А для ученых не существует запретных тем”. — “Ну, раз уж вы так просите, — с деланной неохотой согласился Мусик, прекрасно понимая, что будь он сейчас действительно в обществе джентльменов, а не ученых, триумф вряд ли бы состоялся. — Я готов рассказать, но под вашу ответственность”. — “Мы согласны, — сказал г-н Архивариус и добавил, как ученый: — Клянусь памятью Оппенгеймера, услышанное в этих стенах никогда не коснется ушей непосвященных!” Мусик сложил на мохнатом животе лапки и сладчайшим голосом сообщил: “Итак, последняя строчка письма гласит: нежно целую тебя, любимый мой Мусик. Вечно твоя Янка...”

Очнулся я на полу в горизонтальном положении. Глаза мои слепил яркий свет лампы. Г-н Архивариус брызгал на мое лицо холодной водой из-под крана, г-н Филин обмахивал меня крыльями, словно султанскими опахалами, а Мусик, как ни в чем не бывало, лизал своим шершавым языком мой нос. “Дорогой друг, — строго сказал мне г-н Архивариус. — Ваши нервы никуда

не годятся. Разве можно столь болезненно воспринимать слова обыкновенного домашнего кота?” — “О, вы его еще не знаете”, — слабым голосом промямлил я.

Меня усадили на стул. Мусик сварил в кастрюльке кофе “покошачьи”, и после нескольких глотков я почувствовал себя лучше. “Не обращайтесь внимания, ребята, — заверил присутствующих Мусик. — Это у него от ревности ноги отнялись. Он ревнив, как собака”. — “Я с тобой потом поговорю, — злобно процедил я. — Я покажу тебе, как позорить меня перед людьми”. — “Угу, что делает с нами любовь!” — задумчиво произнес ученый секретарь. “А давайте-ка, я лучше вас немного развлеку”, — участливо предложил мне г-н Архивариус. Я обреченно кивнул головой. “Отлично-с! Ну-ка, расступитесь!” — и г-н Архивариус извлек из своего камзола нечто большое и круглое, завернутое в сукно. Через мгновение я увидел тот самый Глобус Киева, о котором узнал еще от Великого Адепта, о чем я Вам уже писал раньше, княгинюшка. “А теперь смотрите внимательно, дорогой друг, — сказал г-н Архивариус, ставя Глобус Киева на кухонный стол. — Смотрите внимательно”. — “Ну, смотрю”. — “Видите эти тонкие светящиеся пунктиры?” — “Ну, вижу. А что это?” — “Видите, как их много?.. Здесь, здесь и вот здесь еще... на каждой улочке, на каждой площади, в каждом скверике...” — “Но что это?” — “Ага! Кажется, вы заинтригованы, сударь! Смотрите же, смотрите: как они искрятся и переливаются! Тончайшими нитями протянулись они во все стороны. Словно изумрудные паутины, они навечно опутали всю поверхность этого прекрасного и вечного Глобуса... Ну же! Неужели не догадываетесь?” — “Это похоже на следы”, — неуверенно сказал я. “Конечно! Следы!” — “Как же я сразу не догадался?” — рассмеялся я. “Тугодум, — хмыкнул Мусик. — И это мой хозяин!” — “Итак, это следы. — Г-н Архивариус сделал паузу, а я молчал в тревожном ожидании. — Следы нашей княгинюшки, дорогой друг. Уже давно она ищет вас повсюду. Об этом и говорят сии волшебные автографы, оставленные ее сиятельными ножками на городских мостовых. Разумеется, в метафорическом смысле”. Волнение мое нарастало. “А как вы думаете, господин Архивариус, может быть, она меня уже нашла где-нибудь там? — я неопределенно показал на Глобус Киева, — а я все еще здесь?” — “Похоже, клиент устал”, — сказал Мусик. “Да, вам бы и в самом деле не мешало отдохнуть”, — согласился г-н Архивариус, в голосе его слышалась тревога. “Наверное, господа, вы правы. У меня что-то разболелась

голова”. — “Вам следовало бы хорошенько выспаться”. — “Да, да, сейчас пойду, лягу в постель. Вот и старый По прописал мне регулярные ба-инь-ки”.

Мы попрощались. Г-н Архивариус пожал мне руку и выразил уверенность, что все образуется. Затем он уселся на спину своему ученому секретарю, взмахнул ученым колпаком, и оба они вылетели в распахнутое окно и быстро растворились в ночном небе. А мы с Мусиком улеглись спать в обнимку и, засыпая, каждый — думал о Вас на свой лад, милая Янка...»

— Друг мой, да вы никак опять уснули!

Адуляр вздрогнул и открыл глаза. Он обнаружил себя сидящим за столом в своей келье, с авторучкой в руке. На столе лежал чистый лист бумаги.

— Ну и ну! — посмеивался Магор, а это был он. — Я вижу, вы так ничего и не написали.

Боже, что же это с ним происходит?! Адуляр вдруг осознал, что все письма к Янке он написал во сне, где они, судя по нетронутой поверхности бумаги, так и остались. Как же такое могло с ним случиться?

— Не стоит так сокрушаться, — сказал Магор. — Лучше посмотрите на казус, приключившийся с вами, как на волшебство, тогда ни вам не будет так обидно, ни моим вестникам, которые тщетно ждут от вас писем, чтобы доставить их по назначению.

— Какое уж тут волшебство! — простонал Адуляр.

— Ну как же! Известно ли вам, что великий чародей Михаил Скотт, находясь в Палермо при дворе императора Фридриха II, одной только силой внушения принудил некоего рыцаря совершить длительный и многотрудный поход за Гибралтарский пролив. Рыцарь этот успел побывать во многих неведомых странах, жить в них и даже победоносно сражаться с разными могучими врагами. Одолев всех врагов, он завоевал обширное царство, добился всеобщего процветания, ну и о себе не забыл: женился и имел много детей. Словом, прожил долгую, сложную и счастливую жизнь. А в действительности длилось все это не больше часа! Ну вот, кажется, вам уже легче, я вижу это по вашим глазам.

Адуляр улыбнулся и сказал:

— Как это у вас всегда получается все переиначить?

— Это мелочи, — скромно ответил Магор. — Однако раз уж моим посланникам и вестникам нет работы, то, вероятнее всего, работа появится у вас.

Адуляр вопросительно посмотрел на Магора.

— Скоро Рождество, — пояснил Адепт. — И у меня есть все основания предполагать... Короче говоря, вам придется нанести один не совсем обычный визит в дом, о котором вы все это время так мечтали.

Нервная дрожь пробежала по телу Адуляра.

— Вижу, вы меня правильно поняли, — сказал Магор. — Но хочу сразу предупредить, что визит этот станет для вас непростым испытанием. Так что особо не обольщайтесь.

— У меня больше нет иллюзий. Осталась одна лишь надежда....

— Надежда? — перебил Адуляра Магор. — Это уже совсем плохо. Вы заслужили надежду, Адуляр. — Кажется, впервые Адепт назвал его по имени. — Но знайте, друг мой, с нее все только начинается. Ибо надежда все же короче жизни.

— Короче жизни, — задумчиво повторил Адуляр.

— Именно так. — Глаза Магора сверкнули из-под кустистых бровей. — Но если вы бессмертны, то и надежда бесконечна.

— Но как?

— Осознайте себя. А осознав, кто вы есть, станьте тем, кто вы есть. И еще должен сказать вам, Адуляр: вы уже проделали немалый путь, вы научились трудиться, что редко кому удается. Печать Возрождения сияет на вашем челе, и неспящий всегда узрит ее. Вспомните, как крепко вы спали, когда вам казалось, что вы бодрствуете, хотя это всего лишь тело ваше перемещалось в пространстве и выполняло свойственные ему операции. Но теперь все изменилось. Теперь вы обречены бодрствовать среди спящих, и трудно сказать, много ли радости это принесет вам, особенно на первых порах. Будьте же терпимым, не презирайте спящих, ибо еще совсем недавно вы ничем от них не отличались. Помните, что каждый когда-нибудь да пробудится. Каждый! Короче говоря, оставьте *caput mortum*¹. догнивать в старом тигле и смело идите вперед. С Богом, Адуляр! Ваш час скоро настанет. Так что будьте наготове...

¹ Мертвая голова (*лат.*). — Алхимический термин.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

РЕПЕТИЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО ОРКЕСТРА

Глава, написанная на большом оркестровом барабане
и фортепьянных клавишах

...Дверь была плотно заперта. На ней висел приколотый булавкой листок:

«ОСТОРОЖНО ИДЕТ РЕПЕТИЦИЯ!»

— Угу! — насторожился г-н Филин. — Кто-нибудь объяснит мне, куда может идти репетиция и почему она делает это осторожно?

Прочитав надпись, Вялый Горбун сокрушенно покачал головой и хотел уже тащить Фургон от греха подальше, но г-н Архивариус его остановил и, весело соскочив с подножки, бросился к двери:

— Нам повезло, друзья мои!

Но только взялся он за ручку, дверь сама распахнулась. словно помоями из ушата, г-на Архивариуса окатило музыкой. Дверь тут же захлопнулась.

Оценив в полной мере растрепанный вид г-на Архивариуса, г-н Филин, который недолюбливал авангардную музыку, отодвинулся от окна Фургона и сказал сидевшей рядом Янке:

— По-моему, господин Архивариус несколько преувеличивает наше везение.

— Не бойтесь, господин Филин, — отвечала Янка. — Если репетиция «идет осторожно», как там написано, то, значит, она сама чего-то боится.

— Угу, Ваше Высочество, так вы утверждаете, что бояться нам нечего, угу?

— Думаю, нечего.

Янка высунулась в окно Фургона и как можно громче, чтобы показать, что она не боится, обратилась к г-ну Архивариусу, который размахивал руками и подавал какие-то знаки:

— Господин Архивариус! А вы уверены, что нам действительно повезло?

— Еще как! — радовался г-н Архивариус, потирая ручки. Идите-ка сюда! Сейчас мы собственными глазами увидим и собственными ушами услышим знаменитый Блуждающий Оркестр.

Однако г-н Филин не проявлял большого энтузиазма, он ворчал себе под клюв: дескать, с него довольно и услышанного собственными ушами, чтобы еще и видеть это собственными глазами... Но все же пришлось повиноваться, и с обреченным видом ученый секретарь поплелся следом за Янкой, которая первой храбро покинула Фургон.

Прежде чем войти в Оркестровую Залу, г-н Архивариус рассказал окружившим его спутникам о том, что никому и никогда еще не случалось послушать от начала и до конца этот превосходнейший коллектив виртуозов, а все потому, что появляется он всего лишь на одно мгновение — то тут, то там, — оставляет после себя мощный звук и стремительно исчезает. Вне всякого сомнения, уверял г-н Архивариус, в Блуждающем Оркестре собраны лучшие на свете музыканты, и отбор их очень строг: главное и самое трудное — положительно сдать анализ музыкала. Ну, а во главе коллектива стоит за всякими пределами выдающийся компоститор, капельмонстр Упырного театра маэстро Скарлатини.

— Скарлатини? — переспросила Янка. — Какое неприятное имя...

— Угу, хорошо, что не Поганини.

— Скажите, господин Архивариус, — спросила Янка, — а что, маэстро Скарлатини тоже болеет какой-нибудь гениальной болезнью вроде часотки Главного Часовщика или литератургии Гениального Кондратия?

— О нет, княгинюшка! Гений нашего капельмонстра находится за пределами болезни и здоровья. Я бы даже сказал так: его болезнь — это абсолютное здоровье. Но вот зато у Блуждающего Оркестра... О, у него целый букет гениальных недугов!

— Каких же?

— Да все и не перечислить... Ну, скажем, обширный пианизм, ползучий флейтизм, внутриинфекционный арфизм и многое другое...

— Я не ослышалась? Вы говорите, он выдающийся композитор? — спросила Янка.

— Не выдающийся, а выдающийся. И не композитор, а компоститор. Согласитесь, княгинюшка, это совершенно разные понятия.

— Тогда в чем же его выдавлющевость?

— Ну как же, княгинюшка, всему миру известно, что славу Скарлатини и его музыкантам принесли такие непроходящие произведения, как сборник «Большие, средние и маленькие кирпиччо», Десять стрёмных квактетов, столько же тряпичных трио и, конечно же, знаменитый Кончерто аллерго-помирато для убоя, чемпопало и странных. Но все же особой популярностью пользуется Третий Инцидент для фортельяно с арестом, и еще, пожалуй, Двенадцать бокальных прелюдий Бабаха.

— Бокальных?..

— Ну да! Там в самом финале о сцену один за другим бьют бокалы и одни хором кричат: «Бабах! Бабах!», а другие отвечают: «На здоровье!».

— Погодите, господин Архивариус, — возразила Янка. — Насколько мне известно, бокалы бьют «на счастье», а не «на здоровье».

— Эх, княгинюшка, какое уж там счастье без здоровья! — вздохнул г-н Архивариус и, потянувшись к дверной ручке, сказал: — Да, вот что еще: я понимаю, что мой рассказ о капельмонстре Упырного театра мог вас чрезмерно впечатлить и излишне встревожить... Вы, главное, держитесь поближе ко мне, и все пройдет как по нотам!

С этими словами г-н Архивариус широко распахнул дверь. С трудом отбиваясь от яростных звуков, друзья ринулись в Оркестровую Залу вслед за Вялым Горбуном и Фургоном.

— Пойдете в яму! — сухо пропел маэстро Скарлатини кому-то из оркестрантов; он круто швырнул партитурные листы на пол, и музыка тут же исчезла. — Я это вам говорю!

— Мне?.. — из Оркестра вопросительно приподнялся тщедушный фрак с пейсиками.

— Вам, вам! Кому же еще? Повторяю: пойдете в яму!

— В оркестровую, маэстро?

— В волчью! В волчью яму — на съедение! На окончательное и бесповоротное съедение! — Скарлатини собрал с пола партитурные листы и снова разложил на пульте; в Оркестре царила напряженная тишина. — Это когда-нибудь кончится? До каких пор вы будете путать зубную гармошку с губной щеткой, *ostinato mio*!¹

— Я больше не буду, маэстро.

¹ Упрямый мой! (*итал.*).

— Не буду, не буду! — передразнил капельмонстр. — Вы каждый раз обещаете. Сейчас мое терпение лопнет, и я вас навсегда транспонирую.

— Только не это, маэстро, умоляю!

Оркестр замер в тревожном тремоло.

— Bene!¹ Начнем с третьей цифры, и дальше — соло силофона.

После нескольких тактов душераздирающего ай-ай-ай, филигранно переплетенного с прозрачным и воздушным динь-дилинь-дилинь-динь, грянуло мощное, эпически раскатистое гум-па, гум-па-а-а-а! Какой-то здоровяк в третьем ряду размашисто молотил увесистыми кувалдами по клавиатуре крупнотоннажного силофона. Ядреные звуки, будто чугунные гири, взлетали под потолок, на мгновение зависали там и затем, бесильно кувыряясь, с грохотом падали вниз, круша роскошный дворцовый паркет: гум-па!.. гум-па!... Следом пронеслось романтическое а-тя-тя!..

Честно говоря, для не слишком требовательного слушателя все это было прекрасно и даже, может быть, божественно, но только не для утонченно-искушенного капельмонстра Скарлатини! А-тя-тя доконало его окончательно. Маэстро сломал об колено батутту², и музыка прервалась. Затем он швырнул партитуру на пол и принялся топтать ее ногами. Оркестранты полезли под стулья, прикрывая на всякий случай головы инструментами.

— Безобразию! — набросился Скарлатини на лопухого музыкантика, прижимавшего к похолодевшей от испуга груди семистонную гетеру. — Откуда у вас, mille diavoli³, взялся восьмой стон?

— Вы спрашиваете меня или гетеру? — захныкал музыкантик, стараясь как можно плотнее прижать уши к своей маленькой головке.

— Я спрашиваю вас обоих!

— Фи, тюфяк! — обиделась семистонная гетера на музыкантика.

— Но дорогая, — залепетал тот, — как вы жестоки! Разве вы не помните, что в прошлый раз маэстро мне уже оторвал правое ухо?

¹ Хорошо! (*итал.*)

² Баттута (*итал. battuta*, от *battere* — «ударять») — специальная палочка, служившая в XV—XVIII веках для отбивания такта^[1]. Считается одной из предшественниц современной дирижёрской палочки.

³ Тысяча чертей (*итал.*)

— Вот и поделом! — равнодушно ответила семистонная гетера. — Пускай вам оторвут и левое ухо, а заодно — ваш сопливый нос, пуговицы и карманы.

— Лучше берите пример с кальтиста Данилкина, — несколько смягчился компоститор, не любивший семейных сцен, которые, по правде говоря, не шли ни в какое сравнение со сценами больших столичных театров. — Данилкин, встаньте, пожалуйста, пусть все увидят вашу дисциплинированность, осанку и покрой одежды.

Кальтист Данилкин приподнялся со стула, отряхнул с волос иней и скромно поклонился, едва улыбнувшись посиневшими губами.

— Вот с кого вам всем следует брать пример. Посмотрите на этого человека: его кальт¹ безупречен! — провозгласил Скарлатини. — Садитесь, коллега.

Коллега сел, маэстро взмахнул рукой, и воодушевленный положительным примером Оркестр так грянул, что всю залу встряхнуло, как картонную декорацию. Но теперь капельмонстру не понравилось гум-па, гум-па. Чего-то в нем не хватало. Может быть, душевной широты... Однако в ответ на справедливое замечание здоровяк с кувалдой силло рывкнул: «К чертям, рефрен² тебе в минор!» — и в довершение так шандарахнул по силофону, что один из звуков перестал существовать в природе.

— Ну вот, так всегда! — беспомощно развел руками Скарлатини. — Мало того, что ни грамма почтения к старшему по званию, так еще и звукоряд уничтожают. Где, в каких краях, на какой планете, скажите мне, пожалуйста, я теперь возьму такой звук, а?

Но здоровяк не отвечал. Он молча сидел у разбитого силофона, потный и злой, и отдувался, словно загнанный верткими пикадорами бык.

В досаде маэстро Скарлатини повернулся к сцене спиной и увидел притаившихся путников, которые на всякий случай отступили к Фургону. С приподнятой бровью он грациозно сбежал по ступенькам в партер и, проскакав кузнечиком по стройным рядам кресел, мгновенно оказался в кругу ценителей своего таланта.

¹ Русское написание немецкого слова kalt («холод»).

² Музыкальный термин, обозначающий тему произведения, которая проходит в нем несколько раз и скрепляет его структуру.

— Синьора! — маэстро музыкально чмокнул Янкину ручку. — И вы, синьоры! Чем могу?

— Угу! — г-н Филин поправил свои манжеты с нотным станом и, вызываяще позвякивая тяжелой связкой скрипичных и басовых ключей, вперил немигающий взор в маэстро.

— Скарлатини, — несколько напыщенно представился маэстро.

— Филлини, — последовал скромный ответ.

Обстановку разрядил г-н Архивариус. Извинившись за столь внезапное вторжение, он выказал свое искреннее восхищение скарлатининским искусством.

— О, что вы, синьоры! Заслуживаю ли я таких лестных похвал?

— Еще как заслуживаете, маэстро!

— Знаете ли вы, синьоры, какое это оргазмическое наслаждение — видеть перед собой ценителей искусства, да еще и живьем? — тут Скарлатини повернулся к Оркестру, который застыл в пугливом ожидании, и громко объявил: — Все свободны! Обед — сорок пять уток. Прошу не опаздывать!

Блуждающий Оркестр оживленно задвигался, загудел, зашумел. Зачем-то принесли сорок пять больничных уток. Появились тарелки, столовые приборы, внесли вертел с жареной барабаниной.

— Должно быть, вам уже известно, синьоры, что на носу грандиозный праздник, — продолжил маэстро и посмотрел куда-то в воображаемую даль взглядом, не лишенным изрядного магнетизма. — О! О! Я так и вижу! — воскликнул он, — так и вижу всю эту красоту! Представьте, как с первыми же неудержимыми звуками моей искрометной музыки в Большую Тронную Залу торжественной поступью входит герцогиня Эсклермонда, сопровождаемая свитой придворных в орденских мантиях. Ну разве не *bellissimo*?¹

— *Bellissimo*, — согласился г-н Архивариус, тоже вглядываясь куда-то в даль. — Ну, прямо как на полотнах бесподобного Маркуса Герардса Младшего!

— Вот и я говорю, — и маэстро Скарлатини плавно провел вокруг себя новенькой держижорской палочкой, которой одновременно с музыкой или в паузах обычно драл непослушных исполнителей, а после нагонял на них неконтролируемый жор, в результате коего исполнителями пожирался весь неприкос-

¹ Прекрасно (*итал.*).

новенный запас, хранящийся на гомофонно-гармонических складах, за что капельмонстр драл их пуще прежнего. — Нет, вы взгляните, взгляните, синьоры, и вы не сможете не увидеть залитую утренним светом Большую Тронную Залу, вы увидите грациозно шествующую герцогиню — в алом платье, с букетом амариллисов в руках. Вы также увидите вдоль стен, покрытых раззолоченными шпалерами с романтическими пейзажами, почтительно склонившихся подданных: — статных кавалеров при шпагах, с «локонами любви» у самого уха, и прелестных дам с высоко взбитыми, как мои любимые сливки, волосами, в которых деликатно прячутся бабочки, перья, бусы, жемчужины, кольца и прочие премилые безделушки. О! О!.. А когда появится Фарфоровый Лев, моя музыка, — тут Скарлатини остановится, видимо, подыскивая наиболее подходящие слова, а Янка при упоминании о Фарфоровом Льве вздрогнула. — О, моя музыка вспыхнет и закульминирует грандиозным фонтаном, наполняя сердца всех присутствующих любовным жаром!

Зажмурив глаза и стиснув свои кулачки у самого лица, капельмонстр вдруг запел:

— Цр-р-рака-така-тышь-тышь-тышь!..

— Ах! — всплеснул руками г-н Архивариус. — Неужели, маэстро, вы порадуете нас своим новым шедевром?

Скарлатини снова чмокнул Янкину ручку:

— Еще как порадуя, синьоры! Вы услышите мою новую «Парадную синкопетту», «Проавстрийскую польку крик-кряк» и, главное, «Торжественную тараторию» с участием Собачьего хора на Татарке. Будьте покойны, мы оставим после себя такой Звук, что мало не покажется!

— Погодите, вы сказали, на празднике будет Фарфоровый Лев? — спросила Янка.

— Обязательно будет! А вы что, знакомы с ним?

— Мы друзья.

— О, синьорита, как это диатонично!

Внезапно компоститор насторожился, будто застигнутый врасплох.

— Что такое? — воскликнул он, нервно поводя ухом. — Что за отвратительный скрежет?

Возле Фургона на раскладном стульчике сидел Вялый Горбун и вдохновенно музицировал на вялой нчели. Войдя в неподдельный экстаз, он красиво тряс носатой головой, проливал слезы радости и целовал свои узловатые пальцы, когда им удавалось извлечь из вялой нчели особо понравившиеся ему звуки.

— Угу, поглядите-ка на этого Ростроповича, — съязвил г-н Филин.

— О да! Все же, как сильно преображает человека настоящее искусство, — растроганно молвил г-н Архивариус. — Просто до неузнаваемости.

— Кто бы мог подумать, — удивлялась Янка, — что наш Вялый Горбун наделен музыкальным талантом. А что скажете вы, маэстро?

— Гм... Я скажу: *bravissimo!* Я скажу: *magnifico!*¹ Могу даже предложить ангажемент.

В порыве чувств Вялый Горбун бросил свою вялую нчель, которая отозвалась печальным вздохом, и с громкими рыданиями полез в Фургон, где уже в полном одиночестве дал волю душившимся его сантиментам.

— Вепе... — задумчиво произнес Скарлатини. — Очень, очень талантливый юноша, — и, будто о чем-то вспомнив, резко повернулся к сцене: — Обед окончен, синьоры! Продолжим занятия.

— Как? — изумилась Янка, обращаясь к г-ну Архивариусу. — Уже пролетело сорок пять уток? Так быстро?

Но г-н Архивариус не успел ответить, потому что в эту минуту широко разлилось развеселое ай-люли, на смену которому явилось скупое дринь-дринь, кое-где расцветченное мелодичным ути-пути...

— Пойдите, пойдите! Что это вы играете, *diavolo* вас разберет! — снова и снова разорвался Скарлатини. — Мы взяли вас на должность «немца» не для того, чтобы вы лепили сюда эту лажу!

«Немец» вскочил — прямой, как швабра, руки по швам:

— Но херр каппельмайстер! Нихт оскорбляйт! Ихь играйль нах кляйне фляйта! Ихь играйль файно Ваймар, унд Ляйпциг, унд ендлих Хайльбронн-ваффенфабрик!²

— Играйль-играйль! — возмутился маэстро. — Значит, плохо играйль! И вообще, цурюк и хенде хох! Ферштейн?

— Их-хь... их-хь... Ихь написыя гроссише швайнише кляуза! — почти захлебываясь, выпалил исполняющий обязанности «немца» и рухнул на стул, тараща остекленелые глаза.

¹ Превосходно, великолепно! (*итал.*).

² Хайльбронн. В фильме «Шерлок Холмс: Игра теней» режиссёра Гая Ричи, в Хайльбронне расположен вымышленный оружейный завод, снабжающий всю Европу и принадлежащий Джеймсу Морьярти.

— Что?! Кляuzu?.. На меня?! Да знаешь ли ты, что я с самим Берлиозом из одной миски берлял?¹ Черт знает что такое! — капельмонстр вперил гневный взгляд в оркестрантов. — Кларнет?!

— Нет, маэстро, Клар нет, — угодливо отвечала первая штрипка, за что тут же получил звонкого леща от мужиканта со старинной злбней.

— Понятно, — кабаня, процедил Скарлатини. — Продолжим без Клар. Но предупреждаю: как только они объявятся, посажу в хлев и под воду.

И все понеслось да покатилося сначала: оп-гоп тру-ля-ля, фари-ра-ра-пом-пом, шуба-дуба. Тыц-дрыц... На тыц-дрыц, как назло, все оборвалось.

— Что опятьстряслось?

— Я хочу пи-пи...

— А разве у вас нет своего пипитра? Эй, кто-нибудь, дайте ему пипитр!

— Ишь чего захотел, — недовольно бурчали оркестранты. — Свой пипитр надо иметь! И как его только в семье терпят?..

И опять: трали-вали, тюр-лю-лю, шурум-бурум, ох-ма!..

— Стоп-стоп-стоп! Не понял! Вот у вас там во втором такте соль-дюшес-мозоль, так? А я слышу только дюшес-мозоль.

Оркестранты хватались за головы и трагично кивали ими друг на друга.

— Хватит кивать! Подбавьте-ка там соли на мозоль и после вопля в третьем такте сразу переход на фасоль-диатез-помидор! Эй, вы! Да, я вам говорю! Не забудьте: там двенадцать тактов соло с рассолом! И никакого маринада. Особенно это касается вас. Всем остальным — не жалеть солений! Главное, побольше огурчиков, грибочков, капустки!...

— Но маэстро, а как же насчет... Тут вот даже в партитуре указано...

— Хорошо, разрешаю по пятьдесят капель. Но только по пятьдесят!

Оркестранты закрыли глаза, открыли рты и хором выдохнули:

— Будет исполнено, синьор Помидор!

— А вы, Джеф? — обращался Скарлатини к некоему виртуалу, который отмороженно обнимал почти невесомый бандж с нежными сим-симвовыми струнами. — Сдается мне, вы сегодня слишком зафьюжены².

¹ Кушал, ел. — Музыкальный жаргон.

² Слово, производное от «фьюжн», одного из стилей современной музыки.

— Фьюжн — это кайф! — мечтательно протянул Джеф, закатывая жемчужного цвета глазки.

— Да что это с вами? Какой-то вы весь покусанный! Опять комар не дает покоя?

— Комар — это кайф!

— Хватит! Хватит о комарах! Вы, между прочим, на репетиции, а не на болоте, и у вас в будущем намечается очень непростой контрапункт.

— Контрапункт — это полный кайф! — и, неожиданно для всех, Джеф контрапунктировался в неизвестном направлении.

Маэстро Скарлатини не стал заострять на этом внимания. Тем более что как раз к моменту соло с рассолом на сцену выкатился еще один музыкальный инструмент под названием «рояль». Как, и весь Блуждающий Оркестр, рояль этот тоже был блуждающим, но, имея внушительные размеры и немалый вес, он, не мог блуждать также быстро, как Оркестр, — поэтому и появился с опозданием.

Следом выскочил запыхавшийся роялист, которого Скарлатини почему-то назвал «рукосуем», и, откинув фалды фрака и крышку инструмента, незамедлительно взялся за тело рояля; наподобие опытного патологоанатома он перебирал его черно-белые ребра.

Все шло очень хорошо. Пока роялист разливал свой рассол, ребята выпили, закусили (не жалея, согласно партитуре и указаниям маэстро, солений), и после протяжного грум-парарама с тремя удаляющими и изящным переходом в перццо с легчайшим стукатто в аккомпанементе, наконец, мощно вступила уже успевшая заскучать группа туда-сюдастов. Трое истосковавшихся по музыке мародеров, вооруженные латин-дерунами, энергично обдирали звонкие касамары, а еще четверо крепьшей метались в многоярусном хроматическом колотуне с разнообразными прибабасами. В дело было пущено все: чухалки, бормотаты, звякалсы, сладкозвучные шипуны, вибро-тарактоны и даже кнуты с мухобойками. При этом один из крепьшей шмыгал носом в слабую долю, а остальные, прекрасно читая с листа, хлопали ушами, ляпали языками, дринчали на баттлах, подковывали ковыляло квинтолями, скрежетали металлокерамическими зубами и слегка постукивали кастанедами, от которых во все стороны разлетались снотворные донхуаны.

Но, пожалуй, самым запоминающимся в группе туда-сюдастов оказался исполнитель, игравший на контрастах. В каждой руке у него было по одному контрасту, и он ими так

ловко орудовал, что от его исполняйства путникам было то сухо, то мокро, то видно, то не видно, то высоко, то глубоко, то далеко, то рядом...

В конце концов, на Оркестр утомленно напозла общая пятидесятитактовая пауза, в протяжении которой маэстро Скарлатини успел отсолировать своему коллективу все, что он о нем думает и знает, и вообще как его чувствует. Но особо безжалостно знаменитый капельмонстр прокомпостировал нагло уснувшего буйниста:

— Эй! У вас в партитуре какая партия?

Буйнист подозрительно уставился в широченные нотные листы и неуверенно промямлил:

— Хорошая...

— Ах, хорошая? У вас такой большой глаз, а ничего не видит! — взорвался Скарлатини. — Я спрашиваю: как написано?

— Нет, нет, маэстро, это не он! — начали помогать со всех сторон. — Это его собака!

— Но тут буйнист, опомнившись, извергнул свой ответ:

— Тут написано сю-сю-сю... сю-сю...

— Что? — маэстро посерел. — У вас там шу-шу-шу — два раза!.. Да вы пьяны никак?

— Никак-и как нет, ждраганин Скотини, — на одном дыхании выпалил буйнист, и воздух вокруг него окислился и позеленел.

Тогда подала голос первая штрипка:

— Да чего там! Он еще на позапрошлых Смухах Котомыша Лаврентия наклюкался до такого пьяннессимо, что большая голова отключилась, а маленькая голова не включилась.

И тут первая штрипка схлопотала второго леща от мужиканта со старинной злобней.

— Ага-а-а! — вспомнил буйнист. — Так ведь шу-шу-шу — два раза... Я ж и говорю!

— Так какого же diabolio вы впетрушили туда свой дурацкий ковь-ковть?

Вот такого поворота буйнист никак не ожидал! По правде говоря, он и сам толком не помнил, что же именно он петрушил и в каком месте. С равным успехом он мог петрушить, например, и шмяк-шмяк из седьмой цифры.

Подобно раненному зверю Скарлатини метался перед оцепеневшим Оркестром.

— У кого ковть-ковть в пятой цифре? — угрожающе прорычал он.

— У меня, маэстро, — еле слышно отозвался молодой пригожий исполнитель, трусливо прячась за свою биолу да дамба.

— А я вас совсем не слышу, любезный.

— Ковть-ковть у меня, маэстро! — во всю глотку радостно прокричал любезный. — В пятой цифре!

— Да не вас, а вашего ковть-ковть я не слышу!

— Правда? — смутился любезный и припал ухом к своей биоле да дамба. — Надо же! А я думал, что я один не слышу. Стало быть, и вы тоже?

— Sì, sì, любезный, и я тоже! Клянусь аускультизацией и моим стетоскопом, который всегда при мне, что вообще никто ничего не слышал!

— Что же мне делать?

— Прежде всего, уберите дамбу! На кой ляд она вам сдалась? Делайте что хотите, но в пятой цифре мне нужен ясный, четкий и акцентированный ковть-ковть. В противном случае я вам подпорчу мордент, любезный синьор... И вообще, синьоры, это касается всех! Вчера вы играли очень хорошо, но много. А сегодня — с гулькин нос, но отвратительно.

Скарлатини вытер носовым платком всю голову и устало произнес:

— Начнем с первой цифры, да простит нас Святая Цецилия...

Все время, пока длилась репетиция, путники прижимались к Фургону. Они явственно ощущали, что какая-то могучая сила несет их куда-то... Пришлось испытать на себе большие перегрузки, подобно астронавтам, корабль которых с огромной скоростью рассекает плотные слои атмосферы. Разумеется, все это было в порядке вещей: ведь Оркестр был Блуждающим и, следовательно, даже в процессе репетиции ни на минуту не задерживался на одном месте. А увлеченность столь сильно овладела душой и телом всех участников и присутствующих, что никто из них и не заметил, как за это время сменилось полторы сотни больших и малых зал и, по меньшей мере, этажей пять или шесть. Вот почему, покинув репетицию, путники оказались совсем в другом конце Замка...

КНИГА КОРОЛЯ

ШКОЛА МАГОРА

(продолжение)

Х

ЛЕГЕНДА ОБ ИЗУМРУДЕ. ЭЛЬФИЙСКАЯ КНИГА ТИНДАЛИНА

!

... — О нет, конечно, я не стану однозначно утверждать, что этот человек в черном, известный нам под именами Альгакобиллы, Сидора Пантелеймоныча, Свампиуса, Федора Федоровича или Теодора Теодорини (не секрет, что у него еще много и других имен), и есть тот самый андроид, — говорил Магор, расхаживая взад и вперед по библиотеке. Остановившись у одного из портретов, висевших на стене, и указав на него пальцем, он спросил Адуляра: — Вы что-нибудь слышали о той нашумевшей истории, связанной с этим уважаемым господином?

Подойдя ближе, Адуляр поднял над головой подсвечник с горящей свечей. С потускневшего от времени старинного портрета на него безразлично взирал Альберт Великий.

— Это же надо! Какое совпадение! Уже несколько дней, как я читаю его «Секреты».

— Что ж, похвально.

— Но какое отношение имеет Альберт Великий к Альгакобилле или Сидору Пантелеймонычу, или как там его еще?..

— Для начала, к андроиду, друг мой, к андроиду! Альберт строил это диковинное, я бы даже сказал, немислимое, по тем временам, существо что-то около тридцати лет, — продолжал Магор. — Некоторые историки утверждают, что сотворенный из различных металлов андроид, тем не менее, двигался с поразительной пластичностью: он легко совершал всевозможные, довольно сложные действия и, как говорят, абсолютно во всем походил на обыкновенного живого человека. Известно также, что знаменитый ученик Альберта Фома Аквинский был так потрясен

самостоятельностью андроида, так возмущен и напуган просто-таки противоестественным своеобразием этой машины, что решил: не иначе как дьявольская сила присутствует в ней. Дабы не дать этой силе торжествовать победу над миром, он, не мешкая, разбил андроида.

— Разбил?

— Вдребезги! И зная характер старины Аквината, могу вас заверить, что, все это очень похоже на правду.

— А что было потом?

— Вот этого-то никто и не знает. А ведь продолжение могло быть... Понимаете, о чем я?

— Ну да, кто-то разбил, а кто-то собрал, — задумчиво произнес Адуляр. — Значит, вы утверждаете...

— О нет! Я пока еще ничего не утверждаю. Я лишь позволяю себе немного пофантазировать, исходя из того, что нет ничего невозможного. Разумеется, не исключены и другие версии. Например, не имеем ли мы дело с каким-нибудь не в меру разгулявшимся фантошем?

— А это что такое?

— Фантошами назывались механические куклы. Их изготавливали для кукольных театров. Скорее всего, именно такие марионетки использовались в знаменитом театре Доминика Серафена... Напрасно смеетесь, дорогой друг! В этом деле очень многое зависит от того, под каким углом зрения смотреть на вещи. Если вы смотрите на кукольный театр как на жизнь общества — это одно, а если вы на жизнь смотрите как на кукольный театр, то это уже совсем другое. Цена этой жизни будет различная. В таком случае уместно задуматься: далеко ли отстоит какой-нибудь смешной и даже нелепый фантош по имени Полишинель от кошмарного андроида? Кто измерял это расстояние? И чем его можно измерить?

Магор подошел к одному из стеллажей и достал с полки какую-то книгу. Адуляр молча наблюдал за ним, ожидая продолжения.

— Есть, конечно, любители раскапывать свежие могилы на кладбищах или похищать покойников из моргов. Но все это чистой воды магия никчемных прозекторов. Притом магия черная, как бы некоторые не старались выдать ее за науку.

— Так речь идет о науке?

— Увы, о науке, как это ни странно звучит. Если под наукой понимать некое количество прикладных знаний, возведенных материалистическим мировоззрением семнадцатого столетия в ранг божества, — знаний, пополняющихся на протяжении последних веков и уже давно противоречащих самим себе, результаты чего мы можем наблюдать там и сям в мире каждый день. С точки зрения такой науки рукотворный андроид невозможен. Как, впрочем, невозможна и трансмутация. Точнее, первый невозможен именно потому, что невозможна вторая. Но эта наука рождена эпохой рационализма, и, поверьте, по отношению к истинной науке она такая же искусственная машина, как андроид по отношению к человеку.

— Вот эта книга, — и Магор положил на стол перед Адуляром увесистый том, — издана, между прочим, в 1865 году.

— «Die Grenzen und die Ursprung der menschl. Erkenntniss»¹, — прочитал вслух Адуляр.

— Полистайте на досуге. Эту книгу написал один мой старинный приятель — Генрих Чольбе. Видите ли, как и большинство ученых его времени, на протяжении многих лет вопросы медицины и философии, связанные с бытием или небытием, то есть с жизнью и смертью всего живого на земле, он рассматривал сквозь призму сенсуализма, верным последователем которого он всегда был. На этом искреннем заблуждении наш любезный Чольбе составил себе прочный научный авторитет. Однако впоследствии он резко изменил свои воззрения и пришел к так называемому панпсихизму, что стало для всех большой неожиданностью... Но это уже другая история. Я лишь хочу сказать, что кое-кто сегодня пытается выдать за нечто совершенно новое идею о зомбировании людей, и упускает из виду вещи не менее опасные. И здесь уже речь не о «подмене», которая лежит в основе любого воздействия на психику человека. Увы, абсолютное большинство людей, сами того не ведая, каждый день подвергаются такому воздействию и в действительности почти ничего о себе не знают.

При этих словах Адуляр нервно заерзал в кресле.

— Но, как я уже сказал, есть вещи не менее опасные. И опасность заключается, прежде всего, в том, что вещами этими занимаются люди, хоть и пробужденные, но действующие как

¹ «Границы и происхожд. человеческого знания» (нем.).

бы спросонья. Поэтому далеко не всегда могут предвидеть последствия своих изысканий. Опыты с расщеплением атомного ядра — тому пример.

Магор раскурлил свою старую, выдавшую виды, вересковую трубку и продолжал:

— Как-то раз, на одной загородной вилле в Альпах у нас с Генрихом зашел разговор о том, что сегодня принято называть «зомбированием людей». Но вскоре мы уже увлеклись обсуждением иной проблемы: существует ли в наше время возможность создавать существа, подобные альбертову андроиду? И тогда Чольбе справедливо предположил, что ежели такую возможность признать существующей хотя бы теоретически и подойти к ней с точки зрения панпсихизма, то, овладев технологией, можно получить самые ошеломляющие практические результаты. Ибо панпсихизм утверждает: основой всего сущего, то есть первоначалом мира являются одушевленные атомы, что нисколько не противоречит современной науке. Но вот тут-то и кроется самое большое искушение и величайшая опасность. Тот из смертных, кто осмелился бы взять на себя роль Бога и, пусть даже в силу своей гениальности и целеустремленности, достиг бы небывалого успеха, должен был бы рано или поздно с неизбежностью признать, что успех его в сравнении с неизъяснимым Замыслом Божиим оказался всего лишь карикатурой, нелепой пародией на этот Замысел. Ибо душой такого «гения», несомненно, владеет амбиция, то есть плод мира материального, в то время как Божественным Замыслом движет Любовь, которая, в свою очередь, как то мудро прозрел еще Эмпедокл, воздействует на четыре стихии, отстаивая их и сохраняя в блаженном единстве перед лицом роковой Вражды. Ну а что до этих горе-гениев, то на поверку их *Magisterium*¹ оказывается не чем иным, как настоящим «человечком из-под виселицы», которого в старину немецкие колдуны называли *Galgenmännlein*... Да вы никак опять уснули, друг мой!

— Нет-нет! — спохватился Адуляр. — Просто я пытаюсь понять, какое отношение все это имеет к пропавшему изумруду.

— Самое прямое!.. Кстати, Адуляр, я просил вас собрать и изучить все, что касается изумрудов.

¹ Магистерийум — одно из названий Философского камня (*лат.*).

Адуляр тяжело вздохнул. За несколько последних месяцев он перечитал десятки сочинений, начиная с «Махабхараты» и манускрипта «Агастии», где говорится о восьми разновидностях изумруда, и заканчивая более поздними, среди которых самыми значительными были и знаменитые труды Плиния, и того же Альберта Великого, а также менее известные, но довольно занятные — такие как трактат «Зеркало природы» Винцетия из Бове или «Книга природы» Конрада фон Мегенберга. И что же? Как ему показалось, в одних трактатах авторы без конца цитировали друг друга, в иных — вообще кардинально расходились во мнениях. Так, например, утверждалось, что изумруд рассеивает меланхолию и дает долголетие, а также укрепляет память и обостряет зрение. Некоторые доказывали, что главное достоинство этого камня заключено в том, что он незаменим при бессоннице. Другие сообщали, что он единственное спасение от демонов, любовных чар, ложных друзей, и вообще — от всяческой заразы. Бируни из Хорезма описывал и вовсе анекдотическую историю о том, как в течение девяти месяцев он опоясывал изумрудным ожерельем змею, рассыпал перед ней это ожерелье и размахивал нитками изумрудов, но слезы в глазах ползучего гада так и не появлялись, невзирая на то, что на этих «слезах» настаивали многие восточные трактаты. И далее Бируни с удивлением сообщает, что, вместо того чтобы ослепнуть, змея стала видеть еще лучше! А в «Лапидарии Короля Альфонса X Мудрого» Адуляр вычитал о том, что саморат, как называют этот камень арабы, или эсмеральда, как называют его латиняне, или смарагд, как называют его греки, камень шестнадцатого градуса знака Тельца, способен предохранять от всех смертельных ядов, а также от ран и укусов ядовитых животных. Для этого его необходимо истолочь, просеять и, смешав с вином или водою, дать выпить пострадавшему от яда — и «не умрет он, и не лишится волос, и не потрескается у него кожа». Там же говорилось, кажется, что-то и о падучей.

Но, пожалуй, наиболее важным было то обстоятельство, что изумруд испытывает на себе влияние Венеры и покровительствует людям, родившимся под знаком Льва. Впрочем, в одной книге сообщалось, что звезда изумруда — Эль Нат, бета Тельца, которая в настоящее время проецируется на $22^{\circ} 37'$ Близнецов. Адуляр не поленился и выписал кое-какие сведения об этой звезде. Птолемей, например, утверждает, что Эль Нат приносит

счастье и удачу, но не только — для тех, на кого влияет эта звезда, существует также опасность падения с высоты. Упоминались и другие, менее серьезные, неприятности.

Конечно же, не обошел он стороной и Гермеса с его правилами «смарагдовой доски», согласно которым камень сей, то есть смарагд, играл такую же роль в превращении минералов, как ртуть в превращении металлов.

Однако Адуляр обратил внимание на одну особенность: почти все авторы, включая и анонимов, единодушно сходились во мнении о том, что изумруд так или иначе воздействует на зрение.

— Еще бы! — воскликнул Магор. — Тут-то мы и подошли к самой сути. Встречалось ли вам в связи с этим камнем имя императора Нерона?

Адуляр вспомнил, что Нерон обладал каким-то необыкновенным изумрудом, которым пользовался как моноклем, и с его помощью мог проникать в мир мыслей и чувств других людей.

— Более того, дорогой друг! Более того! — воскликнул Магор.

— Что вы хотите этим сказать?

— Есть миры куда более значительные, чем мир человеческих чувств и мыслей. И тут опять все дело в трансмутации: можно и сны превращать в явь. Однако прошу прощения, я вас перебил. Что еще удалось вам разыскать?

Адуляр начал было излагать дальнейшую историю императорского кристалла, но Адепт снова остановил его:

— О нет! То, о чем вы хотите мне рассказать, не соответствует правде. Курьезность ситуации в том, что на самом деле в Ватикане хранится вовсе не монокль Нерона, как думают все. Вижу, вижу ваше удивление, дорогой друг. Но это — правда.

— А что же в таком случае хранится в Ватикане?

— Всего-навсего крупный и хорошо отшлифованный хризолит. Или, как его еще называют, оливин с острова Затерат, что в Красном море. Настоящая же линза... Как вы думаете, в чьих она теперь руках?

— Неужели Альгакобилла? — воскликнул Адуляр. — Человек в черном!

— Увы!

— Но как же так?

— Обыкновенное... я бы даже сказал, заурядное воровство, — печально молвил Магор.

— Так он что, выкрал его из Ватикана?

— Нет, он выкрал его из Глобуса Киева. Точнее, выковырял. А в Ватикане — всего лишь подделка. Не первая и, надо думать, не последняя. Но дело не в этом. Теперь вы понимаете, какой силой наделен наш враг: он, словно сырость, способен проникать, просачиваться в самые Чертоги.

— Какие Чертоги? — спросил Адуляр, ему показалось, что Адепт произнес последние слова с какой-то особенной осторожностью и даже с благоговением.

Но тот оставил его вопрос без ответа.

— Во времена императора Нерона в Александрии жил один астролог по имени Бальбилл. И был он настолько удачлив в своем ремесле, что слава о нем распространилась на всю Римскую империю, так что даже Нерон прислушивался к его советам. Надо сказать, что во все времена венценосные особы обращались к помощи астрологов в особо затруднительных случаях — взять того же императора Фридриха II, который, по словам Буркгарта, шагу ступить не мог без звездочета. У Рудольфа II Габсбурга, между прочим, служили такие выдающиеся астрологи, как Тихо Браге и Кеплер. Последний, как известно, славился непревзойденным мастерством в составлении гороскопов, в чем в полной мере смог убедиться имперский генералиссимус и адмирал флота герцог Альбрехт фон Валленштайн, которому расположение планет в виде креста сулило насильственную смерть в одна тысяча шестьсот тридцать четвертом году, что, в конечном итоге, с ним и случилось: 25 февраля вышеуказанного года некий капитан Деверу в сопровождении отряда драгун вломился в спальню к герцогу и алебардой нанес тому роковой удар в грудь, пригвоздив генералиссимуса к стене. Помимо Валленштайна к Кеплеру обращались и королева Елизавета I Английская, и польский канцлер Ян Замойский, и многие другие сильные мира сего.

Не брезговали услугами астрологов и некоторые Папы, — например, Иннокентий III, вечно обеспокоенный состоянием своего здоровья, или Юлий II, интересовавшийся, помимо прочего, днем своей коронации — благоприятен он или нет. Можно привести еще много других подобных фактов. Плохо то, что к Великому Искусству, освященному авторитетом таких истинных ученых, как Фирман, Фирмик Матерн, Руджери, Кеплер и другие, примазались легионы разношерстных бездарей и просто откровенных вредителей. Знали бы вы, сколько бед причинили

они людям — даже не счесть! Известно, как Эццелино да Романо окружил себя такими вот, с позволения сказать, звездочетами, и до того был ими ослеплен, что без их совета уже не в силах был начать ни одного серьезного дела. В результате во владениях его творились уму не постижимые жестокости. Справедливости ради, заметим, что все это нисколько не снимает ответственности за свои дела с самого Эццелино... Как я уже говорил, все эти шарлатаны изрядно компрометировали Великое Искусство Астрологии. Из-за этого многие богословы, даже такие как Тертуллиан, утверждали, что на Землю оно пришло от падших ангелов, тогда как еще в свое время Климент Римский, друг апостола Петра, напротив, считал планеты и звезды объектами, закрепленными Богом в определенном порядке, дабы «они могли служить для указания прошлого, настоящего и будущего». Другое дело, что божественные знаки способны понять исключительно люди сведущие, в число которых, между прочим, входил и Авраам. Так что, друг мой, отношение к астрологии на протяжении веков неоднократно менялось: ее то запрещали под страхом смерти, то вновь восстанавливали в правах, то поклонялись ей как языческому идолу, то гнали прочь — так сказать, на периферию общественной жизни...

— Но одним из самых зловещих антигероев в истории астрологии стал именно Бальбилл, — продолжал Магор. — Это благодаря его так называемым «предсказаниям» Рим познал величайшие бедствия. Однажды, около шестьдесят пятого года после Рождества Христова, римляне увидели в ночном небе яркую «хвостатую звезду». В те времена появление кометы считалось знаком, предвещающим смерть правителя. Нерон не находил себе места и не знал, что предпринять. Тогда-то он и обратился за помощью к Бальбиллу. Звездочет посоветовал ему откупиться от богов какой-нибудь пышной казнью с увеселениями для народа за счет казны, ибо к подобным жертвоприношениям, как известно, в таких случаях и должны прибегать самодержцы. И — пошло-поехало!.. Читайте Светония, друг мой, читайте, там об этом немало сказано. А теперь — о главном. Узнав о необыкновенном изумруде Нерона, Бальбилл вознамерился во что бы то ни стало им завладеть. Случай долго не представлялся. Более того, после позорной смерти императора кристалл был возвращен на свое исконное место на Глобусе Киева, дабы способствовать совершенствованию астрального тела великого города. Ковар-

ный звездочет неоднократно предпринимал путешествия по миру в поисках камня, но безуспешно. Затем следы его затерялись в веках... Видите ли, я не случайно вспомнил о Бальбилле, ибо наш друг попугай Густав, например, совершенно уверен, что это и есть тот самый Альгакобилла, который похитил нашу ценнейшую реликвию.

— Как? Вы хотите сказать, что этот человек бессмертен? Тогда чего же ему еще надо?

— Ну, это вопрос непростой.

Тут попугай Густав, который все это время подремывал в своей клетке-спальне, открыл глазки, хрипло откашлялся и скрипучим голосом произнес:

— Кхе-кхе, детка!.. Бессмертие... кхе-кхе! Бессмертие в наше время ведет к кашейству... кхе-кхе!

— Недурно сказано, — похвалил попугая Магор и рассмеялся.

Густав слетел к нему на плечо и чуть ли не в самое ухо прокричал:

— А когда было такое, чтобы я говорил дурно, детка?

— Что правда, то правда, — согласился Магор.

— И это я! Это я раскусил Альгакобиллу!

— Конечно, ты. Кто же спорит?

— И глаз ему выбил...

— Ну, этого никто не видел. Но я тебе верю на слово. Однако, друзья мои, кто бы он ни был — Бальбилл или Альгакобилла, александрийский звездочет или альбертов андроид, — факт остается фактом: изумруд — у него, и используется им отнюдь не в добрых целях. А камень этот, как вы понимаете, особого рода, и на обычные юстирные весы его не положишь, ибо он обладает не весом, а весомостью. Есть и еще одно обстоятельство. Вы, наверное, слышали о книгах Тиндалина?

— Да, что-то слышал.

— Речь идет об одной из них, которую, судя по всему, Альгакобилла похитил у Тиндалина много лет назад. Я уверен, что это его рук дело.

— Вор должен сидеть в тюрьме! — жестко постановил попугай Густав.

— А что это за книга? — полюбозыствовал Адуляр, краснея.

— Она называется «Шае Fira Eпоегі», или, в переводе с эльфийского языка, «Лунная книга снов», и именно на ее поиски собрался ваш друг Флоригард.

— Так вы все знаете!

— А вы думали, Магор — старый валенок, которого можно обвести вокруг пальца? Так вот, в этой очень древней эльфийской книге записаны все наши сны от сотворения мира и до окончания времен. С ее помощью Альгакобилла может воздействовать на людей через их сны и таким образом править миром.

Рассказ этот произвел на Адуляра большое впечатление. Ночью ему приснилась Элирис, эльфийская царевна. С веточкой цветущей азалии в руке она стояла на высоком холме, вся в золотистых лучах заходящего солнца, еще более прекрасная, чем ее описывал брат Флоригард, и пела песню, дивная мелодия и древний язык которой так тронули его сердце, что он невольно подпевал ей. И его охватило изумительное чувство, будто он вернулся на родину, которой не видел много-много лет и по которой истосковался до смерти:

Thorun kharo nih tei ilan
Nih tei gloi Oahan
Fioriri mehim oliri
Tei daoh Tindalin

Ist'te breve at hour khargon
At anoeri Gaaron
Tei daoh Fioriri
Ilil oliri Eliris¹.

И пока звучала эта дивная песня, и Адуляр вторил ей, смысл ее открывался ему сам собой, словно то была его родная речь, впитанная с молоком матери:

Гора великая не превратит тебя в лед
Не поглотит тебя Океан
Звездный свет моих глаз
Спасет тебя, Тиндалин

¹ Здесь и далее все тексты на эльфийском языке воспроизведены латинскими буквами — так же, как и в рукописных оригиналах, полученных мною от г-на М*** и его помощников. Текст этой песни (вместе с переводом на русский язык) был выгравирован на французском армейском бинокле («Jumelle Militaire Perfectionnée») времен Первой мировой войны. — *Примечание Издателя.*

Если ты бьешься с черным драконом
Или со злобными Подземными духами
Спасет тебя Звездный свет
Что излучают глаза Элирис.

Но тут в его сон шагнул своей длинной искусственной ногой Альгакобилла. В глазу его зеленым пламенем полыхал изумруд, а в руках он держал раскрытую книгу. Холм мгновенно покрылся льдом. Песня смолкла, и прекрасная Элирис исчезла. «Вон отсюда!» — процедил сквозь зубы Альгакобилла и захлопнул книгу. Адуляр тут же проснулся, весь в холодном ознобе, и долго потом не мог согреться.

Магору он не стал ничего рассказывать, а с братом Флоригардом поделился только впечатлениями от красоты Элирис и даже напел ее песню, которая, как он утверждал, называлась «Eliris oliri», или «Глаза Элирис», и буквально дословно пересказал ее содержание.

— Ну ты даешь! — Брат Флоригард, почесал в затылке и посмотрел на Адуляра с завистью и восхищением. — Говорят, услышать эльфийскую речь — к счастью. Как это тебе удалось?

Адуляр пожал плечами:

— Я и сам не знаю... Но было еще кое-что.

И, не выдержав, он рассказал другу об Альгакобилле и его заиндеветшей книге.

— Так это же книга, которую я должен найти! — чуть ли не в отчаянии орал брат Флоригард. — Эльфийская книга Тиндалина! Значит, она не на Севере...

— Ну вот, Флори, теперь ты знаешь, где ее искать.

— Ах, что с того! Поди поймай этого треклятого Альгакобиллу... И, к стыду своему, я до сих пор даже не знаю названия книги, которую собираюсь найти. Где такое видано?

— Она называется «Iliae Fira Enoei», то есть «Лунная книга снов».

На брата Флоригарда больно было смотреть.

— Но Боже мой! — простонал он. — Откуда ты это знаешь?

— Магор рассказал. Кстати, ему все известно о твоём будущем квесте. Но я почему-то думаю, он не станет тебе препятствовать.

Еще несколько ночей Адуляр провел в тревожном ожидании, опасаясь, что Альгакобилла будет снова вторгаться в его сны. Но тот больше не появлялся. Адуляр еще раз перечитал

труды Плиния Старшего, в которых подробно описывались сверхъестественные качества минералов. Затем — Авиценну, де Боота и одно из самых замечательных произведений в этой области знаний — «Поэму о геммах и драгоценных камнях», написанную латинскими виршами теологом Марбодом Реннским и переизданную знаменитым Эльзевиром. У Парацельса Адуляр наткнулся на весьма любопытные сведения о так называемом «магическом кристалле». Он был уверен, что, наконец, напал на след. Уже само заглавие книги завораживало: «Как заклинать кристалл, дабы в нем видеть все». Но и здесь Адуляра подстерегало разочарование, ибо у Парацельса, во-первых, речь шла о «смотре в кристалл», а не сквозь него, и, во-вторых, дабы заставить дух войти в этот кристалл, нужны особые заклинания и специальные магические формулы.

Почти то же самое сообщалось в одной из книг о Джоне Ди, который якобы манипулировал шарами из желтого и дымчатого кварца или полированной пластиной из черного мексиканского обсидиана. Араб Али-abu-Гефар писал и вовсе о шаре, отлитом из золота и инкрустированном сапфирами, которыми традиционно пользовались зороастрийские маги.

Короче говоря, все эти сведения нисколько не проливали свет на тайну дивного изумруда, о котором рассказывал Магор, и Адуляр уже готов был смириться с тем, что ему никогда не удастся ее раскрыть. Во всяком случае, с помощью мудрых книг. Магор не мешал ему в его поисках, не досаждал советами, не журил, лишь издали наблюдал. Однажды он сказал: «Бывает, что герой — не тот, кто тайну открыл, а тот, кому судьба помогла ее сохранить. Бросьте сушить себе мозги, это может лишить вас сил, которые очень скоро потребуются вам для совсем иных дел». Адуляр уже успел привыкнуть к темным изречениям своего учителя и, как всегда, не стал задавать уточняющих вопросов, зная, что в свое время все откроется само собой. Кстати, последние несколько дней следопыты, нюхачи и слухари все чаще шептались за своими ширмами о каких-то замечательных знаменьях, о волнениях на Луне и о том, что сюда скачет во весь опор грозный и прекрасный витязь Эль Нат, и что теперь-то уж справедливость восторжествует. В связи с этим в Доме царило всеобщее оживление, что, однако, ни на йоту не отвлекало фамулусов от их повседневных обязанностей. Занятия шли своим чередом. А брат Кападастриа на радостях даже замыслил книгу под названием «Астромюзика, или генитурa в звуках». Он столь

резво взялся за ее написание, что уже к исходу первой недели довольно основательно продвинулся в работе, искренне полагая, что сумел далеко обойти Марсиллио Фичино и, особенно, Кеплера, кои до него безуспешно пытались озвучить «живую Машину Мира», в чрево которой они еще при рождении сами были вложены в качестве маленьких программ. А поскольку в XV и даже в XVII веке эти программы по сравнению с модернизированной программой (каковой являлся и сам брат Кападастриа) были еще крайне далеки от совершенства (примерно с той разницей, какая существует между восковой свечой и неоновой лампой), то задача озвучить астрологию оказалась для них непосильной. Иное дело Кападастриа! Приближаясь к завершению своего труда, он уже предвкушал небывалый успех и обещал продемонстрировать всем фамулусам (которые смотрели на него с восхищением), как он восстановит вокруг себя гармонию душ и тел, как будет повелевать нежным цветам распускаться в зимнюю стужу прямо из-под снега, а злакам — колоситься по пять раз в году. К сожалению, композитором и исполнителем брат Кападастриа был довольно посредственным, о чем, кстати говоря, свидетельствовало скучное выражение лица не только эльфа Тиндалина, но и брата Атаназия Кловиса и брата Флоригарда, когда Кападастриа брался что-нибудь исполнить на кото. Недаром и в оркестре его ставили в лучшем случае на литавры, и то благодаря лишь хорошему врожденному чувству ритма. Однако и на этом месте он едва ли внушал доверие, ибо частенько злоупотреблял рулеманом¹. В общем, до завершения астромузикального труда было еще ох как далеко, но брат Кападастриа уже подыскивал достойные кандидатуры для практического воплощения своих многообразных и глобальных задач. Особые надежды он возлагал на сестру Комаху — единственную в Братстве представительницу прекрасного пола, — щедро одаренную музыкальным талантом и душевной чуткостью. Остальные фамулусы в большинстве своем не оставались равнодушными к этим задачам, однако от участия отказывались, объясняя свой отказ «непомерным грузом ответственности, которую они едва ли имеют право на себя брать, будучи сами еще желторотыми школярами», — конец цитаты. Нет, здесь нужны личности зрелые и самостоятельные во всех отношениях. А брат Атаназий Кловис посоветовал ему обратиться за помощью к знаменитому

¹ Рулеман — (*франц. roulement*) — трель, исполняемая на литаврах.

маэстро Скарлатини, поскольку он-де единственный, кто сделает все столь деликатно, что этого даже никто не услышит и не заметит.

Пока же братья-фамулусы втайне от всевидящего ока Магора понемногу приударяли за сестрой Комахой, а Кападастриа продолжал писать свою книгу и одновременно производить вокруг нее много отнюдь не астрального шума, музыка, привычно струившаяся из потайных глубин Дома, где скрывался Адорнас Сквелекейла, перестала звучать. Все решили, что, скорее всего, затворник обиделся на астромузыку и ее апологета. Некоторые полагали, что он запил — подобное якобы и раньше с ним случилось. И только один Адуляр знал, что Адорнас Сквелекейла навсегда покинул Дом Магора. На прощанье он сыграл ему на флейте прекрасную мелодию, которая называлась «Зов дороги», а потом сказал: «Трудись, тебя ждет великое будущее». — «Мы еще встретимся?» — спросил Адуляр, остро чувствуя какую-то недосказанность. «Обязательно! Впереди целая жизнь». Брат Сквелекейла оставил ему на память свою старенькую блокфлейту и ушел. На следующую ночь он приснился Адуляру: они сидели вдвоем на том самом зеленом эльфийском холме, на котором Адуляр видел дивную Элирис. Солнце вставало на востоке, пели птицы, радостно встречая рассвет, и Адуляр подумал, что это утро было всегда, оно никогда не прекращалось и никогда не прекратится. «Прошлое, настоящее и отчасти грядущее, — говорил Адорнас Сквелекейла, — всю нашу историю в земном и небесном воплощении можно уподобить грандиозной симфонии, в которой нет ни начала, ни конца, и бесконечное множество голосов, включая и наши с тобой, рождаясь и умирая на каком-то отрезке этого непрерывного и бесконечного движения звучащей музыки, гармонически переплетаются между собой и как бы обвивают вечно растущий ствол времени». Потом они играли — Сквелекейла на лютне, Адуляр на блокфлейте, — и птицы подпевали им. С этой музыкой и наступило пробуждение, и она еще долго звучала в нем, и блеск утреннего солнца освещал его глаза изнутри...

XI

ВЕЛИКИЕ ДУРАЦКИЕ ДНИ

...Наступило время так называемых Великих Дурацких Дней. Они праздновались раз в четыре года всеми обитателя-

ми Дома и открывались по обыкновению Сессией в канун Дня Всех Святых¹, а завершались традиционным Рыцарским Турниром.

В один из таких дней *in oriente domo*² Адуляру совершенно неожиданно выпала честь прочитать лекцию перед своими собратьями по учебе — таков был давний и добрый обычай, установленный Мастером Магором для всех без исключения. Очередность выступающих определялась слепым жребием.

Первым открыл Сессию один из лучших фамулусов — брат Павсикакий. Надо признать, он блестяще справился с возложенным на него испытанием. Его лекция, длившаяся три с половиной часа, называлась так: «О механизме действия Фортуна-това кошелька: критический анализ всякого рода волшебных мешков и скатертей-самобранок». В своем исследовании брат Павсикакий доказывал, что в основе «механизма действия Фортуна-това кошелька» лежит один порочный принцип, который можно было бы упрощенно выразить следующим образом: «если где-нибудь что-нибудь прибывает, то, значит, в это же самое время где-нибудь что-нибудь убывает в равной пропорции». Онтологически этот принцип вытекал из концепции постоянства массы материи. В заключительном разделе своей лекции брат Павсикакий распространил действие «механизма Фортуна-това кошелька» на социальную жизнь людей, и в особенности на сферу экономики. Доклад и в самом деле был хорош, и по его окончании все братья-фамулусы вскочили со стульев и стоя приветствовали своего коллегу бурными аплодисментами и восторженными возгласами. Такая их радость была вызвана тем, что при успешном прохождении сего ригорозума³, брат Павсикакий получал долгожданную степень магистра, а затем, по истечении десяти дней после Рыцарского Турнира, под новым именем должен был покинуть Дом Магора: теперь его ждала самостоятельная жизнь, полная трудностей и приключений, в огненном горниле которых ему предстояло на деле испытать свои знания и умения на благо человечеству. Экзамен, как обычно, принимал авторитетный Триумвират в составе Магора, Тинда-

¹ Т. е. 30 октября. — Примечание Издателя.

² Буквально «в доме восходящего солнца» (*лат.*), т. е. при счастливых благоприятных обстоятельствах. — Астрологический термин.

³ *Rigorousum* (*лат.*) — строгое испытание для желающих получить ученую степень доктора.

лина и пана Рышарда Кобольд-Юревича. Секретарем был провизор Бруно. Правда, по каким критериям судил об уровне ученой компетенции брата Павсикакия глухонемой эльф Тиндалин, никто определенно сказать не мог. Об этом можно было только гадать, наблюдая, как Тиндалин сверлил немигающим взором докладчика все три с половиной часа, пока тот говорил, и, казалось, от его цепких глаз не ускользал ни один жест, ни одно мускульное движение лица и губ брата Павсикакия. Кто это видел, того просто-таки бросало в дрожь. О, это было серьезное испытание! Тем более что смысл его не сводился к простому *pro gradu*¹. Истинная цель никогда не выражалась в словах, она лишь подразумевалась в мыслях и чувствах каждого из участников Сессий, подобно незримому центру мандалы. Но вот по окончании лекции эльф улыбнулся, и, похоже, для остальных двух экзаменаторов эта улыбка имела если и не решающее, то весомое значение, ибо через пять минут брат Павсикакий стал магистром и чувствовал себя на седьмом небе.

Продолжить Сессию на следующий день выпало брату Перископию. Сей достойный фамулус, надо сказать, пользовался особой привилегией: ему одному было позволено самостоятельно уходить из Дома Магора в город, где он иной раз проводил целые недели — исключительно в научных целях. Уже несколько лет он работал над трактатом «О хворях людей и животных», с уточняющим подзаголовком: «О хворях, свойственных работникам торговли, почтовым служащим, представителям средств массовой информации, милиционерам, врачам, кинематографистам, поэтам-авангардистам, постмодернистам и представителям партийной номенклатуры». Этот более чем объемный трактат был посвящен Адриану Жилю Камперу и во многом развивал и дополнял идеи этого выдающегося ученого в условиях современного евразийства. Обычно свои выступления, из Сессии в Сессию, брат Перископий строил в форме развернутых тезисов. Вот и в этот раз на протяжении нескольких часов он терзал аудиторию «Тезисами о профессиональных хворях представителей постмодернизма», и, наверное, продолжал бы в том же духе до позднего вечера, если бы не был вовремя остановлен старшими экзаменаторами, которые в какой-то момент почувствовали, что уже и сами заболевают. Правда, это не помешало им удостоить «болезнетворные» тезисы высокой оценкой.

¹ Для получения ученой степени (*лат.*).

На третий день случился небольшой казус, который, впрочем, не слишком повлиял на праздничное волнение аудитории. Дело в том, что этот день по плану отводился брату Ностальгину, над которым частенько подшучивали из-за его странного имени, напоминавшего, скорее, название лекарства. В Братстве он слыл изрядным вокалистом-импровизатором, так что ему чаще всего отдавались все сольные вокальные партии, будь то опера или кантата. Поэтому правильно было предположить, что тема его доклада так или иначе будет сопряжена с музыкальным искусством или, что еще вероятнее, с производством музыкальных инструментов, в каком-то брат Ностальгин успел себя зарекомендовать с наилучшей стороны. Однако накануне своего выступления он неожиданно оповестил Триумвират, что выступит с лекцией на тему «Добро и Зло как формы существования материи»... Обеспокоенный не на шутку Магор попросил у брата Ностальгина разрешения предварительно ознакомиться с исследованиями, а ознакомившись, был вынужден — правда, в мягкой форме — отказать докладчику в выступлении, ибо весь материал показался ему сырым, а суждения — не всегда убедительными. «О, я, конечно, отдаю должное вашей храбрости, коллега! — сказал он брату Ностальгину, деликатно отводя его в сторону. — Она достойна самой высокой похвалы. Да-с... Но! Вы должны понять: то, за что вы так храбро взялись — дело целой жизни, не говоря уж о том, что это дело жизни и смерти... Извините, вы когда-нибудь целовали женщину?» — «Кто, я?!» — ужаснулся брат Ностальгин. «Не целовали. Я так и думал. И детей у вас тоже нет... Ну, ничего, ничего, коллега, все у вас еще впереди. Думайте, страдайте, действуйте, но не торопитесь с выводами. Тут очень важно не впасть в несправедливость, ибо далеко не всегда нам, грешным, дано понять, что есть Добро, а что — Зло».

Вот почему вместо брата Ностальгина сегодня на подиум должен был впервые взойти Адуляр.

В назначенный час все собрались в библиотеке и заняли свои места. После того, как был дружно исполнен «*Gaudeamus igitur...*»¹ и все взоры устремились на Адуляра, он в большом волнении начал свою лекцию. Первые несколько минут его голос звучал тихо, так что едва выделялся на фоне потрескивания дров в камине, но постепенно он набрал силу и полноту.

¹ «Так будем же веселиться...» (лат.) — средневековый студенческий гимн.

Начал Адуляр так:

— Друзья! — в тот же миг в его голове зазвучала прощальная мелодия Адорнаса Сквелекейлы «Зов дороги» и уже не прерывалась до конца речи. — Я хочу поделиться с вами некоторыми своими наблюдениями последних лет. Собственно, наблюдения эти составили как бы итог того состояния души, в котором я пребывал столько, сколько себя помню. Я говорю «итог», потому что, благодаря всему пережитому, могу сказать совершенно определенно: я стою на пороге новой жизни. Эта уверенность возникла во мне недавно, и я счастлив. Что отжило, то умерло. Новая жизнь вытесняет старую, возвышаясь над ней и, возможно, даже произрастая из нее, как цветок из навоза. Я прошел три этапа: сначала я был сумасшедшим, затем — безумцем, и, наконец, — дураком. И по мере этого моего погружения в бездну свободы, все с большей необходимостью передо мной вставал вопрос о нравственности. Не стану утомлять вас исследованиями в области клинической психиатрии. Эти исследования говорят об отсутствии нравственности у сумасшедшего. Я же хочу сосредоточить ваше внимание на философии безумия, или на безумии философии, что, в любом случае, если как-то и относится к медицине, то весьма опосредованно...

Адуляр заметил, что Магор слегка приоткрыл глаза, словно до этой минуты все время спал.

— Я также не буду вдаваться в бесконечные перипетии проделанного мной пути и рассказывать о тех тонких различиях, которые существуют между Тюрлюпеном, Трибуле и Чимаросто, или между базошьенами и Ребятами без печали, или между карликами-гигантами и титаническими пигмеями, или спорить о том, кем был Шико больше — солдатом, юристом или шутком? — все они, по меткому замечанию Шелли об Арчи Армстронге, вложенному им в уста Карла Первого, «мир смеха вокруг себя строят из обломков Вселенной нашей...» Тому, кто интересуется «феноменологией глупости», если мне будет позволено столь вольно употребить сей термин, достаточно почитать «Завещание осла», или более раннее произведение того же жанра — «Корабль дураков» Бранта, или «Похвалу глупости» Эразма, или «Письма темных людей». А в особенности, пьесу Адама Горбуна «Игра в беседке»... Кстати, кто сказал, что эта пьеса не дошла до наших дней?

При этих словах Магор недоуменно пожал плечами и вопросительным взглядом обвел притихшую аудиторию, но никто и не думал спорить. Один лишь брат Скорпио, по своему обыкновению, корчил дурацкие рожи.

— А еще лучше — возьмите «Гиппократов роман», в котором, например, рассказывается о том, как Гиппократ в городе Абдеры навестил философа Демокрита, он застал его сидящим около своего дома с раскрытой книгой в окровавленных руках. Вокруг, на траве, валялось множество мертвых птиц со вспоротыми животами и вывороченными наружу внутренностями. Оказалось, что Демокрит в процессе работы над трактатом о безумии у птиц хладнокровно анатомировал их, дабы обнаружить местонахождение желчи, избыток которой, по его глубокому убеждению, и являлся истинной причиной безумия пернатых. История умалчивает, увенчались ли его поиски успехом.

Но, слава Богу, не всегда предмет нашего исследования, — я имею в виду безумие, — предстает в столь мрачном свете. В одной старинной немецкой книге времен «анально-эротического телоцентризма», изданной Зимроком, рассказывается о некоем Поликарпе фон Кирларисе, по прозвищу Рыцарь Зяблик, который путешествует по разным странам. На множестве иллюстраций он изображен в виде зяблика на лошади, или верхом на раке, и тому подобное. Например, в Аравии ему довелось увидеть деревья, на которых растут кучерявые овцы. Чтобы прокормить себя, рыцарю Зяблику иногда приходится торговать разумной водой, и вообще, он совершает множество замечательных деяний: стреляет в селедки и колбасы, посещает дома из телятины, моет свои внутренности и переставляет свою голову с места на место. А чего стоит пример герцога Йоркского Кларенса, того, которого английский парламент приговорил к смерти? Герцог пожелал быть утопленным в бочке с мальвазией.

Список этот можно продолжать бесконечно. Я лишь сошлюсь на еще один авторитет: Гриммельсгаузен, например, устами своего героя Симплициссимуса утверждал следующее: «Сдается мне, что нет на свете человека, у которого не было бы своего дурачества, ибо мы все ведь скроены на один лад, так что я по своей груше хорошо примечаю, когда созрели груши другие... Я только полагаю, что один лучше скрывает свое дурачество, нежели другой. И посему нельзя всякого почесть дурнем, хотя бы у него были дурацкие выдумки, ибо в юности мы все

обыкновенно на одну колодку; но кто сие дурачество выпускает наружу, тот и слывет дурнем, ибо другие либо вовсе его скрывают, либо обнаруживают лишь наполовину. Те, кто его совсем задавили, сущие угрюмые быки; тех же, кто по временам и при случае дозволяют ему высунуть уши и перевести дух, чтобы совсем не задохнуться, почитаю я самыми лучшими и разумными людьми»¹. Так говорит Симплициссимус. Кстати о быках, коих он упоминает. Чтобы похитить Европу, Зевсу, как известно, пришлось на время прикинуться быком, иными словами, «высунуть уши и перевести дух», что в корне противоречит словам старины Симплициссимуса о «задавленном дурачестве», ибо наш Бык-Зевс отнюдь не тот «угрюмый бык» из вышеприведенного пассажа. Напротив того, он-то и является образцовым дурнем всех времен и народов. — Адуляр на мгновение умолк. Переведя дух, он продолжил: — Коль скоро мы заговорили о быках, мне пришла в голову еще одна поучительная история. Жил-был в Агригенте, что на Сицилии, тиран по имени Фаларис, или Фаларид. Уж не знаю точно, вспоминал ли он когда-нибудь о похищенной Зевсом Европе, только была у него любимая забава: сжигать живьем людей внутри статуи быка, отлитой из чистой меди местным скульптором Периллом. Крики заживо сжигаемых людей имитировали рев живого быка, наводя ужас на окружающих. Всё это доставляло тирану огромное наслаждение. Разумеется, первым Фаларис сжег самого скульптора, чтобы испытать его «выдающееся изобретение». Так вот, иногда мне кажется, что уже с самого детства все мы жертвы быка Фалариса. Только бык этот не медный; он бестелесен и огромен настолько, что сразу его и не разглядишь, ибо он объемлет собою и государства с их границами, и целые народы, и общественное мнение, и культуру, и идеологию. Но еще хуже, если он живет в нас. Тогда он становится нашим разумом. — Адуляр посмотрел поверх голов братьев-фамулюсов. «Зов дороги» по-прежнему звучал в его голове. — Однажды в мою дурацкую башку закралась крамольная мысль: не о духовных ли качествах человека, прежде всего, писал в своей «Географии» Плиний Старший, повествуя о некоем племени астомеев. Судите сами, астомеи ничего не пьют и не едят, так как не имеют рта; а вкушают они через нос запахи и

¹ Г. Я. К. Гриммельсгаузен, «Похождения Симплициссимуса». — Перевод с немецкого А. Морозова.

тем питают себя. Если запереть астоменя в комнате без окон и дверей, думал я, а главное — без запахов, — он погибнет от голодной смерти. Я уж не говорю о хроническом насморке — в таком случае смерть была бы мучительной. А не на наши ли внутренние качества намекает другое, понтийское, племя фибеев, подробно описанное еще Плутархом? У фибеев в одном глазу два человеческих глазных яблока, а в другом — лошадиное... Однако вернемся к Плинию, который сообщает нам о неких двух речных источниках; первый из них — Соленио, воды которого исцеляют любовные раны, а второй, Алеос, — наоборот, разжигает любовный жар. Причем, оба источника Плиний упоминает почему-то без указания местности, где они бьют. Так ведь в этом нет ничего удивительного, друзья мои, ибо источники эти бьют не из земли, а из нашего сердца. Выходит, смешны и нелепы наши ученые мужи, иронично взирающие с высоты нашего холодного рационального века на древнего мудреца и в гордыне своей почитающие его наивным чудаком, который распространяет небылицы. Не нас ли, безумных, подразумевал он, рассказывая о Цимлинском лесе, который когда-то покрывал горный хребет в Этрурии? — Все, что попадает в землю в этом лесу, тут же пускает корни, так что обратно уже не выдернуть, и разрастается в большое ветвистое дерево. Не то же ли самое происходит и с нами, особенно в пору нашего детства? Каждый волен выбирать, что ему ближе или больше нравится: безумие или детство. Для меня два эти состояния в чем-то сродни.

Еще Плиний упоминает о лесах, где стволы деревьев то треугольны, то четырехугольны, а то подобны трапециям... И мне подумалось, что только о дураках говорят, что они «круглые». И никому даже в голову не приходит, что это совсем не так уж и плохо, если учесть, что и «Бог есть сфера, центр которой везде, а периферия нигде». Следовательно, чем круглее, тем ближе к Богу... И подобно тому, как Бог всегда Один, так дурак — это состояние абсолютного одиночества. Ибо, как свидетельствует древняя поговорка: «Stultus non succuritur!»¹

На основании всего вышесказанного и своего личного опыта рискну утверждать, что существуют дураки левой руки, которыми управляют темные, разрушительные силы, ведущие к энтропии, и которые считают, что они самые умные, и дураки пра-

¹ «Дуракам не спешат идти на помощь» (лат.).

вой руки, вдохновляемые силами света и созидания. Первые подобны тому совестливому палачу, который, перед тем как пустить в дело топор, мучается вопросом: является ли голова пятой конечностью или нет? Вторые — это те, кому эти головы принадлежат.

Увы, левых дураков на самом деле значительно больше, что прямо или косвенно подтверждается состоянием дел в современном мире. Мы снова и снова живем в нероновы времена, и уже в который раз приходится убеждаться в том, что нашим духовным здоровьем пытаются распорядиться коварные бальбиллы, а физическим — все те же бездарные фессалы, на нашем легковерии и с молчаливого согласия тиранов делающие себе карьеру.

Случайно ли многие из нас, — люди талантливые и энергичные, способные на великие подвиги и духовное подвижничество, — по незрелости своей, либо от слабости, уходят, бегут, скрываются от мира, который давным-давно принадлежит даже не ангелам или демонам, которых, похоже, трезвомыслящее большинство уже и в грош не ставит, а политикам, экономистам и производственникам, другими словами — сознательным или стихийным некрофилам, для которых вся суть эволюции человечества ограничена рамками войны и мира, нищеты и богатства, а цель — степень комфортабельной устойчивости и постоянства? Это — мир левых дураков, и главный его герой — Пульчинелла, в какие бы одеяния он ни рядился. В руках у него палка, и он готов разить ею кого угодно. Он говорит, что даже самого черта отделает, скрывая от всех ту очевидную истину, что он и есть тот самый черт — это потом уже, спустя века, он выродился в плаксивого, всеми гонимого Пьеро. И вот некоторые из нас, как я уже сказал, бегут от этих петрушек в свои дивные сны, ибо больше некуда бежать, и там остаются. Бывает, что и навсегда. В глазах левых дураков они — обыкновенные дворники, сторожа, гардеробщики... На самом же деле они — дураки правой руки, погруженные в свои сновидения. Они стоят спиной к этому миру, и глаза их всегда закрыты, и лишь подрагивающие ресницы выдают в них признаки сокрытой жизни.

В связи с этим мне вспоминаются «*Nachtwachen*»¹ Бонавентуры. Мудрый ночной сторож, обращаясь к читателю, рассужда-

¹ «Ночные бдения» (нем.).

ет так: «Нас, ночных сторожей и поэтов, и вправду мало занимает людская суета, творящаяся днем, потому что ныне одна из установленных истин гласит: действия людей в высшей степени будничны, и разве что их сновидения подчас представляют некоторый интерес»¹. Так вот, друзья мои...

Но Адуляр не успел закончить свою мысль. Дверь в библиотеку распахнулась, и на пороге появился кот Мусик, весь всклокоченный и со слезами на глазах.

— В чем дело? — строго поинтересовался Адуляр.

Мусик всхлипнул и дрожащим голосом сообщил:

— Хомяк умер.

— Как умер?! — фамулусы вскочили с мест, потрясенные трагическим известием; покойный был всеобщим любимцем; ночевал он в большой клетке, в столовой, где ему всегда перепало что-нибудь вкусненькое и где его выпускали гулять по широкому круглому столу.

Таким вот самым неожиданным, нелепым и драматическим образом первая в жизни Адуляра лекция была прервана. Все побежали в столовую.

Спустя час хомяка провожали в последний путь. Клетку с его тельцем, которую предстояло вынести пану Рышарду Кобольд-Юревичу из Дома и предать земле, стояла на том же круглом столе, и в этом круге, где сошлись жизнь и смерть, прочитывалось нечто глубоко символическое.

Прощальную речь произнес брат Мусик.

— Ты не имел какого-то особого имени, — говорил он, обращаясь к клетке с усопшим. Все тебя звали просто Хомяк. Хомяк с большой буквы. В сущности, это тот же Хома, а это имя, как известно, носили лучшие философы. Ты был простым парнем, честным и искренним, и, уплетая за обе щеки с утра до вечера все, что перепало тебе от щедрот нашего Дома, и всюду гадя, делал это так чистосердечно и откровенно, что в прямодушии своем, наверняка, заслужил райское блаженство. Я уверен в этом!..

Тут Мусик всплакнул, но, быстро взяв себя в лапы, продолжал:

— Полагаю, дружище Хомяк, ты попал в свой хомячий рай еще и потому, что глазки у тебя были цвета любви — красные, и шерстка — цвета непорочности и чистоты, то есть белая, как и у

¹ Перевод с немецкого В. Микушевича.

меня. И сам ты был легким и безобидным, как снежинка. Ты жил в своей клетке как святой отшельник и отличался, быть может, излишней раскованностью и доверчивостью, но зла ни на кого не держал. А те несколько слабых игольчатых укусов, кои претерпели мы, твои друзья, — так это на долгую и нежную память о безвременно ушедшем собрате. Я верю, мы все верим: ты как никто другой заслужил свой рай, ибо то, что для человека является одним из смертных грехов (я имею в виду обжорство), для хомяка — высшая добродетель и проявление святости... И вот теперь, пока мы здесь все плачем да стенаем, ты радостно наслаждаешься в райском огороде вместе с другими хомяками сочной райской свеклой, райскими яблочками и грушками, и райским сыром тоже. Ты вольно бегаешь и копошишься в мягчайших райских опилках, — земные опилки лишь их грубая тень, — и не знаешь ни голода, ни холода — всего того, что называется юдолью земных страданий, — и, надеюсь, не поминаешь нас лихом, ибо в этом мире — все мы грызуны в той или иной мере. Аминь...

Так брат Мусик завершил свое, так сказать, *laudatio funebris*¹. Затем в Доме Магора был объявлен трехдневный траур. В череде Великих Дурацких Дней наступил вынужденный перерыв, и братья-фамулусы слонялись по комнатам и коридорам, не зная, куда себя девать от безделья. По вечерам они вели душевные беседы и вспоминали почившего Хомяка. Попугай Густав, между прочим, не без упоения рассказывал о том, как некий мистер Дэвид Бейтс из Ноус Грин, что в Англии, устроил необыкновенно пышные похороны своему любимому какаду по имени Лорд Гримсби: гроб был усыпан тысячами гвоздик, звучали стихи Шелли и Вордсворта. На всю церемонию скорбящий хозяин затратил более трех тысяч фунтов стерлингов! «Но разве в таких случаях можно мелочиться?» — говорил Густав, явно обращаясь к Магору, который сосредоточенно помешивал чай в своей чашке, делая вид, что погружен в глубокие размышления.

Чтобы не впасть в тоску, Адуляр погрузился в чтение книг. По утрам он старательно постигал идею множественности времен и миров, изложенную в «Серийном мироздании» Джона Уильяма Данна, а по вечерам пытался применить к этим «временам и мирам» учение Лейбница о монадах и предустановлен-

¹ Траурное похвальное слово (лат.). — Древний литературный жанр.

ной гармонии, которое в свое время так приземлил и опошил наставник Панглосса, заявив, что «все к лучшему в этом лучших из миров». Пресытившись философией, Адуляр занялся сравнительным анализом двенадцати операций Великого Делания Бернара Тревизана и Джона Рида и много времени проводил в лаборатории. Но ничто не приносило ему облегчения. Он страдал от бездействия и одиночества, которое, по правде говоря, сам же себе и навязал.

— Вы вот всё страдаете, — строго сказал ему Магор на четвертое утро за завтраком. — А надо было бы научиться ценить не то, чего у вас нет, а то, что вы имеете. Мне понравилось начало вашей лекции. Но, друг мой, нельзя останавливаться на половине пути. Вы боитесь страданий, а от этого страдаете еще сильнее, не так ли? Проснитесь же окончательно, перестаньте постоянно себя оценивать. Посмотрите жизни в глаза: она не плоха и не хороша, она, простите за банальность, такая, какой мы ее делаем. А у Лейбница, раз уж вы им заинтересовались, советую почитать четвертую часть «Новых опытов о человеческом разумеении». Там он говорит о том, что и у Дьявола есть свои мученики, и если полагаться только на силу своих убеждений, то невозможно будет отличить наваждение Сатаны от вдохновения Святого Духа. Подумайте об этом.

Итак, трехдневный траур по Хомяку окончился, и все снова окунулись в полнокровное проживание Великих Дурацких Дней. Все, за исключением попугая Густава. Потрясенный случившимся, он совсем замкнулся в себе, отказывался от пищи и разговоров, часами просиживая на какой-нибудь из пожелтевших страниц своей любимой книги. Это был «Совет птиц» Фарид-ад-дина Атгара. Как-то раз, войдя в лабораторию, Адуляр не обнаружил Густава на его привычном месте. Книга Атгара, как обычно, лежала на столе, раскрытая на середине и вся усеянная птичьим пометом... Вернулся Густав только через десять дней — тощий, с опущенным хвостом и печальными глазами. Он заявил, что якобы отсутствовал всего один день, что очень позабавило фамулулов. Вскоре выяснилось, что, оказывается, начитавшись вышеупомянутого персидского поэта, попугай улетел на поиски знаменитой воды бессмертия. За это время он якобы побывал в Багдаде и Дамаске, Бухаре и Нишапуре, но на самом деле, одному Аллаху известно, где его носило. В результате, поиски воды бессмертия привели сильно поистрепанного Густава в какой-то

занесенный песками мертвый город вдали от караванных путей. Здесь, у развалин величественной мечети, он обнаружил источник, показавшийся ему священным. Он тут же погрузил свой страждущий клюв в его прохладные воды и почувствовал себя заново родившимся... Все закончилось чудовищной диареей. За эти подвиги на торжественном открытии Рыцарского Турнира попугай Густав был удостоен должности домашнего птицеводителя...

Адуляр трудился не покладая рук. Он принимал участие во всех сумасбродствах и безрассудствах, наполнявших и определявших содержание и смысл Великих Дурацких Дней, а в перерывах писал письма Адорнасу Сквелекейле и начал сочинять для Янки большую сказку про Спяка и Спуна — двух братьев, которые, проспав чуть ли не полжизни, однажды проснулись и оказались в круговерти удивительных приключений. Он был уверен, что когда-нибудь Янка обязательно прочитает эту его сказку. И она ей обязательно понравится, а Магору ничего не останется, как признать, что он настоящий Сказочник! К тому же он уже научился самостоятельно возвращаться из странствий, в которые отправлялся, пользуясь «Запретными» Дверями.

В связи с вышеупомянутым трауром по Хомяку, второй тур Великих Дурацких Дней начался на три дня позже, чем планировалось. Зато и всякого, ранее не предвиденного, дуракаваляния накопилось в три раза больше предполагаемого количества. Какое счастье быть дураком и не нести за это ни малейшей ответственности! О Глупость, ты ничего не боишься, ты бесстрашна! Ты прямодушна и гуманна, ибо свойственна одному лишь роду человеческому. Братья-фамулусы — или «братья-шалопай», как они теперь себя называли, — соревновались в самых разнообразных и, мягко говоря, нетривиальных искусствах, проявляя при этом редкостную сноровку. Одни переходили из варяг в греки, другие умудрялись перелетать из уст в уста, третьи прыгали из грязи в князи и обратно, четвертые смешивали приятное с полезным, соревнуясь со знаменитым *miscere utile dulci*¹ Горация, пятые снимали с этих видений красочные галлюцинограммы. А еще — катали на бильярде треугольные шары и подолгу смотрели на магнит, дабы намагнитить свой взгляд. А еще — писали толстые книги, в которых нельзя было разобрать ни единого слова.

¹ «Совмещать приятное с полезным» (лат.). — Гораций.

Вскоре даже Полковник Ферапонтов не выдержал и, подавшись своему природному азарту, давно ставшему притчей во языцех, присоединился к этим потехам. Он играл в кости со всеми желающими. То были бедные старые кости его денщика Вакулы, которые хрустели: «трик-трак, трик-трак!» Великий Магор, которого в эти дни свободы и абсолютного равенства в Глупости разрешалось называть «старым маразматиком», также оказался на редкость заядлым игроком. Он совершенно преобразился: не без некоторых усилий надев туфли носками назад, он дал настоящий бой Полковнику Ферапонтову, так что кости Вакулы трещали и скрежетали немилосердно. При этом между батманами и контр-рипостами, кувертюрами и круазе, не говоря уже о пикюрах, бойцы успевали обмениваться изысканными колкостями: «Лучше быть первым среди дурней, чем последним среди умников!» — как бы бросая вызов, кричал Полковник Ферапонтов. «Первый среди дурней равен последнему дураку!» — отвечал Магор. Наблюдая эту пикировку, Адуляр хохотал до слез. «Правда, смешно?» — спрашивал его Магор, панибратски похлопывая по плечу. «Ужасно смешно. И глупо!» — отвечал тот сквозь смех и слезы. «Вот-вот! И всякий профан смеялся бы на вашем месте, — говорил Магор с такой лучезарной улыбкой, что обидеться на его слова было просто невозможно. — И тем не менее обратите внимание на этот потрясающий переход из грязи в князи... Видите? В нем выражена вся суть нашего Искусства. Издавна великие тайны отданы на хранение дуракам, падким на все сверкающее и картинное. Жаль, конечно, — иногда не обходится без издержек. Вместо того чтобы хижину превратить во дворец, профан — он же дурак — объявляет хижине худой мир, а дворцу хорошую войну. В результате рушится и то и другое!»

Тут уж, видя, как раздухарился их учитель, «шалопай», что называется, совсем отпустили себя на волю. Каждый изгалялся, как только мог. Одни вели громогласные диспуты о том, является ли имя Хуан китайским или все же испанским. Другие пытались вычислить, какой из полюсов Земли образовался первым — Северный или Южный? Третьи составляли гороскопы мира — кто по евреям и халдеям, кто по арабам и египтянам, противопоставляя весеннее миротворение осеннему. Гороскопы снабжались ссылками на Тиберию Россильяно, Джеймса Ашера, Джона Гедбери, Алеуса и прочие авторитеты. Попутно созвездиям на небесных картах пририсовывали недостающие, по мнению наиболее ради-

кально настроенных «шалопаяв», части, а точнее, звезды: Центавру — отсутствующий правый глаз, а Раку — оба, Тельцу — вторую, заднюю, половину, Скорпиону — клешни. Вдохновленный этими экспериментами, брат Перископий принялся конструировать универсальный компас для корабля дураков.

Брат Скриберий специально к празднику написал и издал в единственном экземпляре «Книгу Жлоба». Но узнать, что в ней, — совершенно не представлялось возможным, ибо все страницы были намертво склеены. Книга мгновенно стала бестселлером, и ей тут же придумали новые названия: «Жадная Книга», «Скупая Книга», «Книга-Жмот»... «А сколько в твоей книге страниц?» — спрашивал брат Перископий брата Скриберия, обтесывая топором деревянный корпус своего компаса. — «Столько же, сколько глупцов», — отвечал тот. «А сколько глупцов?» — «Глупцы, как звезды, не поддаются исчислению. И так же, как звезды, они сияют, но не рассеивают мрак нашей жизни. Глупцы ищут звезды в небе, а мудрецы — в себе». — «Что-то уж больно разумно для автора «Книги-Жмота», — съязвил брат Перископий, прилаживая к своему компасу велосипедные колеса. «Бог дурней жалуется», — любезно согласился брат Скриберий.

Брат Ностальгин тоже разошелся не на шутку. Расстроившись из-за своей несостоявшейся лекции о Добре и Зле, он принялся сочинять трактат под названием «Анти-Бэкон», а сентенции из него, написанные на маленьких листках бумаги, подбрасывал всем в карманы. Так, Однажды Адуляр извлек из своего кармана листок с сентенцией следующего содержания: «Незнание глядится в Знание, как в зеркало, и осознает себя». А у брата Атаназиуса Кловиса в скрипичном футляре лежал листок с такой надписью: «Знание глядится в Незнание и узнает себя». Брату Фарбе была подsunута самая короткая, но и самая классическая сентенция: «В Незнании — сила». Досталось и самому Магору: «Знание — это такая особая форма Незнания». Просто не верилось, что брату Ностальгину удалось подбросить эту никчемную писульку в карман Учителю, и тот ничего не заметил! Но факт оставался фактом. Однако Магор тоже не остался в долгу. Не прошло и получаса, как брат Ностальгин обнаружил в своем кармане такой же листок с ответом: «Знание, Незнание, теории, предположения, иллюзии — все они хотят жить и для этого избирают нас».

Во всей этой изумительной деятельности не было ни толики корысти. Труд «шалопаяв», совершенно бесполезный, лишен-

ный хоть какого-нибудь практицизма, приносил им, однако, удовольствие. Они рассуждали так: худшие из дураков, — а их, кстати сказать, большинство, — это те, которые трудятся бесконечно много для того, чтобы трудиться как можно меньше; они отдыхают от отдыха, объявляют войну войне и т.д. и т.п. «А почему бы и нет?! — кричал брат Флоригард по прозвищу Улитка Сольми, размахивая белым флагом с изображением огромного красного сердца. — Не для того ли все мы в конце концов умираем, чтобы жить?!»

С особой любовью в эти дни «шалопай» относились к музицированию. Те, кто в нем участвовал, надевали маски и изменяли свои имена. Слушатели также все были в масках. Такова была давняя традиция, и откуда она пошла, никто уже и не помнил. Действо происходило в Зале, где музыканты выращивали Древо Музыки. Они рассаживались вокруг этого Древа, каждый с каким-нибудь музыкальным инструментом, и свои импровизации начинали не спеша, — с недонот, с недозвуков, — постепенно пресушествывая известный принцип «фальшиво, зато не вместе» в прекрасную музыку, рожденную коллективным духом. Вся музыка основывалась на золотых правилах Гвидонової недели, названной так в честь достославного Гвидо из Ареццо и представлявшей собой своеобразную аллюзию на его знаменитую *manus Guidonis* — Гвидонову руку. Неделю открывал красный день «do», а завершал — лиловый «si». День «do» имел своего покровителя и потому еще назывался Днем Хитроумного Дони (в честь итальянского гуманиста Джованни Баттисты Дони, который в XVI веке, собственно, и ввел ноту «do» в практический обиход вместо неблагозвучного «ut» и заодно таким оригинальным способом увековечил первый слог своего имени); а дню «si» покровительствовал сам Ансель из Фландрии. Считалось, что самыми устойчивыми днями были желтый «mi» и все тот же лиловый «si», а определяющими — все нечетные. Неделя в домажоре переходила в свою противоположность, то есть в неделю до-минор, и так далее по кругу. Вся эта система полагала, что время движется вперед и назад хроматически, и в нем случаются некоторые паузы, скачки и отступления, определяющие возникновение дизезов и бемолей. Внутри самой хроматики дизезы и бемоли являлись знаками дня и ночи, но в жизни было все гораздо сложнее и неоднозначней. То же самое можно было сказать и о мажоре с минором. Слово «дурачить», происходившее от латин-

ского *durum*, означало «делать тверже», а «умолять» или «молить» — от латинского *molle*, — и означало: «смягчать». Таковы вкратце были правила.

Вот и сегодня день был особенный, определяющий — лазерный день *sol quadratum*¹, в то время как общая тональность всей недели была *la-dur*². Как всегда, музыканты начали с недозвуков. Для этого они использовали калимбы, цанцы, серпент, связки старых дверных ключей, трещотки, ложки, жилы, натянутые на луки, камешки и т.п. Затем, добавляя различные инструменты, они семь раз подряд сыграли гамму ля-мажор в миксолидийском ладу, воздействуя, тем самым, на его седьмую ступень, то есть понижая ее на полтона. Поскольку день *sol quadratum*, или соль-диез, по природе своей был не просто лазерным, а со всей очевидностью тяготел к синему, музыкантам приходилось усиленно «умолять» его, то есть «смягчать», добавляя к его диезу бемоль, или *rotundum*, делая его уже днем соль-диез-бемольным, в результате чего возникал соль-бекар, оттенки ультрамарина постепенно исчезали, растворяясь, и начинал звучать чистый *sol*, а день обретал прозрачный голубой цвет. Только после этого музыканты приступали, собственно, к музицированию. Они исполняли такие темы, в которых *sol* всегда чистый, дабы не исказить сакральную сущность дня, а заодно смягчить общий его мажор минорными элементами, другими словами — слегка затемнить его, замуалировать. Вот почему все темы звучали в тональностях *la-moll*, *re-moll*, *mi-moll*³. А если бы они заиграли всё в ярко выраженном мажоре, то удвоили бы мажорную, светлую и твердую силу дня, и в целом — его жизненную энергию, — что могло бы привести к ее переизбытку и различным завихрениям.

Итак, день *sol* был пятым днем Гвидоновой недели, но сегодня он располагался на седьмой ступени миксолидийского лада. И поэтому все импровизации пришлось начинать очень осторожно, как обычно в таких случаях, пользуясь ионийским ладом, или, другими словами, — натуральным мажором с септимой в основе, то есть с пониженной седьмой ступенью. Когда же дело приобрело серьезный оборот, то оказалось, что для одной

¹ Соль-диез (*лат.*).

² Ля-мажор (*лат.*).

³ Ля-минор, ре-минор, ми-минор (*лат.*).

недели три диеза — слишком много. Исходя из этого, и все импровизации со всевозможными модуляциями с разрешением в sol пришлось играть в миксолидийском ладу, и чтобы день sol не «дурачился», то есть не становился тверже, превращаясь тем самым в sol-dur¹, необходимо было постоянно следить за тем, чтобы он как следует «умолялся», а это значило его смягчение и превращение в sol-moll². Вот так в конечном итоге в ключе la-dur день sol получал свое исконное звучание.

Необходимо отметить еще одну важную деталь. Известно, что sol-dur — день квадратный. В городе, основным качеством которого являлась шарообразность и, следовательно, все стремилось к округлению, sol quadratum звучало бы вопиющим диссонансом по отношению к основному вектору городской жизни. Поэтому главный смысл сегодняшнего музицирования заключался в том, чтобы к имеющемуся quadratum прирастить rotundum и таким образом достичь золотой середины: sol quadratum-rotundum³ или sol dur-moll⁴. Возможно, недоразвитому или неподготовленному слуху эта музыка (как и сам день) и показалась бы оранжево-желтой, но истинный цвет ее был голубой. Цвет Вишну. Цвет солнца, лучи которого не смешаны с субстанциями иллюзорного мира. Цвет человеческого духа, сознания, небесных сфер и состояния богоподобности. На звуки этой музыки приплывал шум моря, прилетали крики чаек, приползли шорохи трав и листья древесной. Даже Полковник Феропонтов, который не признавал никакой другой музыки, кроме военных маршей и боевых сигналов горниста, и тот в неожиданном душевном порыве принялся подыгрывать на мегафоне. Когда же музыканты достигали необходимой точности и чистоты звучания, благодаря чему музыка входила в резонанс с Древом Музыка, и оно тоже начинало звучать как некий Божественный оркестр и даже петь, словно целый хор неземных голосов, брат Аркадио Золотые Уши прикладывался к его стволу двумя слуховыми трубками и собирал эту музыку, будто пыльцу с цветов, и в его ушах она становилась еще чище, прозрачнее и солнечнее. А иногда и луннее... И в этом не было ничего экстраординарного, ибо Аркадио

¹ Соль-мажор (лат.).

² Соль-минор (лат.).

³ Соль-диез-бемоль (лат.).

⁴ Соль-мажор-минор (лат.).

слыл истинным собирателем, растворителем и сеятелем звуков. Он переносил их на стекло, на камень, на дерево, на целлулоид и другие материалы, и при прикосновении к их поверхности иглой, пером или даже ногтем, начинала звучать дивная музыка — да такая, что лучше своего прообраза. Специально для этих музицирований он изобрел широко и глубоко направленный макрофон, десяток различных макропроцессоров, катализатор тональности, сверхмощный кульминатор и, что самое важное, маленький, почти незаметный портативный улучшайзер. Не обошлось, как всегда, без каверзных козней Котомыша Лаврентия Печерского. Он явился, нарядный, с трехрядной гармонью в лапах, папироской в зубах и мухомором в петлице. Пока брат Аркадио, углубившись в состояние медитации, выращивал в себе внутренний цветок музыки и распутывал тончайшие хитросплетения саундмантики, Котомыш нарочито громко горланил блатные песни. Видя, что это не действует должным образом, он с досады вылакал ящик пива, который притарабанил с собой, и обозвал брата Аркадио «лакмусовой бумажкой звука», за что чуть не был подвешен за задние лапы на макрофонной стойке.

Паузы, которые в музыкальном потоке возникали сами собой, словно островки на половодье, каждый заполнял, как мог. Эти привалы под немолчно поющим Древом Музыка поначалу доставляли «братьям-шалопаям» особое удовольствие. Брат Чугуй, которому уже в ближайшем будущем предстояло покинуть Дом Магора, откладывал в сторону свой видавший виды баян и по-отечески заботливо заваривал в старом армейском термосе чай для всей братии, настраивал музыкальные инструменты, заодно выкидывая из их механизмов все то, что ему представлялось лишним. Самое удивительное, что обычно после таких препарирований инструменты ничуть не обижались: может быть, потому, что звучать им становилось легче. Брат Адажио — тот даже специально просил брата Чугуя сделать с его лютней что-нибудь такое, чтобы она стала попроще: ну, чтобы, например, струн было не так много, а то в них немудрено запутаться, да и подстраивать все время нужно; или, еще лучше, убрать этот чертов гриф, который для правой руки только проблемы создает. Брат Чугуй, человек большого сердца и широкого жеста, делал все возможное и невозможное, чтобы облегчить музыкальную жизнь брату Адажио и его инструменту, но все, что ему удалось, — это отъять от лютни деку. Звук, конечно, стал намного

тише, но брат Адажио этого даже не заметил — человеком он был мечтательным, духовным, и техническим вопросам большого значения не придавал: главное — перебирать струны, а музыка как-нибудь сама приложится. Тем временем брат Атанасиус Кловис сочинял додекафонические любовные романсы для своих «жаб» в надежде, что когда-нибудь его музыка придаст оним девам большей глубины и осмысленности, а брат Мельхиор просто искал справедливости, с которой у него были свои давние «гамбургские» счеты. В результате у обоих оставался чертовски неприятный осадок. «Жабам» больше нравилось, когда их любимый Атанасиус, в шикарном концертном фраке цвета электрик, то раскачиваясь из стороны в сторону, то извиваясь и притоптывая ножкой в черной лакированной туфле, играл на своей скрипке — и не важно, что: молодого Моцарта или престарелого Веберна, — главное, смотрелся он очень романтично, так что хотелось задушить его в объятиях и зацеловать до смерти. Да и столь горячо желанной справедливости, которой всею душой домогался брат Мельхиор, что-то нигде и ни в чем не было видно — даже в Доме Магора, как полагал он. «И вообще, — думал брат Мельхиор, забыв, что Великие Дурацкие Дни еще не закончились, — зачем они это делают? Зачем играют этот бесконечно нудный день sol, да еще с таким глубокомысленным видом? Неужели непонятно, что их музыка состарилась, еще не родившись! Кому все это нужно? Шарлатанство!» Адуляр — ничего не умеющий шарлатан, Ключик — пофигист, который ни за одну ноту не отвечает, Фарба — просто сумасшедший, Флоригард — эльфоман, брат Канонир — и того хуже, потому что играет на виброфоне — инструменте, который Мельхиор вообще на дух не переносил. «Если бы я их всех так сильно не любил, — горестно размышлял он, стараясь не слышать заунывно поющего Древа Музыка, — если бы не наше Братство, я прямо сейчас ушел бы навсегда... Стал бы монахом. Или где-нибудь жил бы затворником, как Адорнас Сквелекейла, которого все знают, но никто никогда не видел...» И этот последний парадокс тоже отдавался болью в сердце брата Мельхиора. А пока он вот так страдал, брат О'Берэг с братом Кобиусом, обычно играющие на всех ударных инструментах, взвешивались на весах. Вместе они весили двести килограммов. Показалось — мало. Тогда они призвали брата Фантазия и брата Ойкумена. Все вместе потянули на триста пятьдесят. «Какая скука!» — подумал было брат Мельхиор, но

брат О'Берег, который обычно во время пауз либо на всех обижался, либо рассказывал анекдоты про альтистов, при этом каждый раз почему-то намекая на Атаназиуса Кловиса, ни с того ни с сего обиделся на брата Кобиуса за то, что у того на барабанах толщина пластика на целых полдюйма толще положенного, да к тому же еще и тарелки вывернуты наизнанку! Для брата Кобиуса эти претензии стали полной неожиданностью, потому что в прошлый раз его обвинили в том, что он «косит» под молодого фавна с полотен Рубенса. Но тогда ему было не так обидно, поскольку в подобных обвинениях, по крайней мере, прослеживалась хоть какая-то эстетика. А тут! Такая мелочность! «Между прочим, — продолжал брат О'Берег с видом человека, только что на своих руках вынесшего с поля боя раненый джаз, — я был приглашен сюда потому, что не побоялся стрелять из водяного пистолета в самого Богатикова! А ты позволяешь себе такие пластики и тарелки!» На эти несправедливые претензии брат Кобиус, который, помимо всего прочего, славился парикмахерским искусством и умением вправлять позвонки, за что был прозван «Доктором Кобчиком», обиделся в ответ и заявил, что брата О'Берега никогда больше стричь не будет, хоть бы тот и зарос по самые щиколотки. Потом они долго препирались, выясняя, кто у кого взял бубен и оркестровый треугольник. Увы, все эти мучительные выяснения «кто кому Моцарт и Сальери» не имели ни малейших перспектив, ибо, во-первых, факт отравления одного композитора другим до сих пор не доказан, а во-вторых, как оказалось в действительности, бубен с треугольником взял брат Ойкумен, на которого брат О'Берег обижался еще с прошлогодних Дурацких Дней за то, что тот во время музыкальной паузы громко разговаривал и мешал спать, хотя на самом деле, как выяснилось позднее, громко разговаривал не брат Ойкумен, а брат Кападастриа, который в музицировании возле Древа Музыки участия не принимал — по всем известной причине полного отсутствия музыкальных способностей. Брат Ойкумен оскорбился в свою очередь, он долго кричал и размахивал руками, а успокоившись, заявил, что назовет всем скоро сочинит гениальную музыку, прославится в веках, заработает миллион, а вся братия от зависти пусть захлебнется собственной слюной! Гвалт поднялся такой, что почти заглушил Древесное Пение. Братья суетились, спорили, обижались друг на друга за все подряд, вспоминая мельчайшие прегрешения каждого. Один лишь брат Фантазий с невозмутимым видом строгал

кленовые палочки для полковника Ферапонтова, которому вдруг приспичило по утрам играть на барабанах. Ну, еще заядливые рыбаки брат Валеран Мощьман с братом Рыбариусом держались в стороне от споров, их больше занимал вопрос о том, на какую струну лучше ловить старую говорящую щуку — на первую или шестую, медную или стальную, жильную или нейлоновую? Ну, еще брат Скорпио, который получил сегодня утром длинное нежное письмо от Майлза Дэвиса, и теперь, покуривая трубку, писал ему в таком же духе ответ, и брат Кабанас, со златострунным ситаром наперевес пытавшийся войти в телепатическую связь с Рави Шанкаром. Ну, еще сестра Комаха, которая углубилась в чтение третьего тома анонимной «Книги Мечтаний и Свершений», громко шелестя страницами и то и дело прикладываясь к абрикосовому йогурту, чтобы не слышать и не видеть, как братья пререкаются, — ибо любые пререкания ее сильно огорчали и, как следствие, надолго выводили из равновесия между устбем и неустбем... Когда затянувшаяся в склоках музыкальная пауза перестала быть музыкальной, таким образом, войдя в противоречие со своим предназначением, и каждый в тайне возмечтал о том, чтобы она поскорее закончилась, пока все решительно не перессорились, на место событий, как обычно, явились светозарные наставники — Князь Альфомег, Дарио и Папаваль, — и, как всегда, спасли ситуацию. «Так! — сходу бросил Князь Альфомег, обводя «братьев-шалопаяв» взглядом опытного психиатра. — Хватит засорять эгрегор! Все сюда, ко мне, я сейчас — точка сборки!» — «А как же свобода выбора?» — попробовал возразить брат Арнаут, который только что проснулся и даже начал играть на контрабасе. «Нет у вас выбора! А когда нет выбора, только тогда и появляется свобода!» «Шалопай» лениво потянулись за инструментами. Понеслись первые робкие звуки. «Держать компрессию! — подстегивал их Князь Альфомег. — Ловить волну!» — «И никакой тактовой черты, — подхватывал Дарио. — Никакой сильной доли!» — «Доля у всех одна, — соглашался Папаваль, подкручивая усы, — трудная, но счастливая...»

Музицирование под Древом Музыки продолжалось, и день sol снова обретал свое полнозвучие...

Так, незаметно, на волне музыки подошло время Рыцарского Турнира. Кто-то из «братьев-шалопаяв» по этому случаю шутил, утверждая, что так называемых «рыцарских времен» на са-

мом деле никогда не существовало, но рыцари были всегда. Подтверждением тому и должен был стать Рыцарский Турнир в Доме Магора. Состоялся он в Зале Славы и представлял собой поистине яркое зрелище. Участники, облаченные в доспехи — и каждый в свои цвета, сражались один на один и группами — «a justes and a tournament», — как писал Мэлори в своем некогда культовом романе. Единственным их оружием были длинные гибкие шесты с крепко привязанными на концах цветами. Удары наносились только в голову — лучезарными астрами, молочно-белыми пионами, бордовыми розами, желтыми, карминными и лиловыми фрезиями, алыми гвоздиками... Воздух наполнился ревом труб, рогов и грохотом барабанов, воинственными криками и цветочными ароматами. Лепестки разлетались над головами и, кружа, опали на поле брани, устилая его пестрым ковром. По нему топтались босые ноги веселых рыцарей.

С пурпурным тюльпаном на двухметровом шесте, препоясанный кожаным поясом с двенадцатью металлическими дисками, Адуляр выглядел великолепно и сражался как лев, демонстрируя все тонкости боевого искусства, которым успел обучить его Полковник Ферапонтов.

Попытался было стяжать воинскую славу и Котомыш Лаврентий Печерский, но тщетно. Хоть он и владел в совершенстве «школой пьяного милиционера», «школой упоротого нахала» и даже древнейшей «школой благородного интригана», основанных исключительно на запрещенных и опасных для жизни противника приемах, это ему нисколько не помогло. Так что Котомышу пришлось ретироваться с позором и здоровенной шишкой на лбу.

Адуляр же держался превосходно и спуску никому не давал. Но стоило ему на мгновение отвлечься и подумать о том, как жаль, что на почетном месте, украшенном лентами и вымпелами, сейчас не восседает его возлюбленная и, значит, не может лицезреть во всей красе столь доблестного воина, как тут же он получил удар желтым нарциссом прямо в межбровье. В тот же миг, будто при свете молнии, Адуляр узрел высокий холм и над ним — плывущий в предутренних небесах, словно в речных водах, цветок сияюще-голубой, пронзительно прекрасный — цветок цветков!.. Затем явился сам Тиндалин в серой одежде странника, отороченной серебряной нитью. Он был совсем близко, и Адуляр приложил ухо свое к его груди. И услышал он древнюю эльфийскую песню, звучавшую в груди Тиндалина, и была эта песня — о далеком и недостижимом Осмахиле:

Eah dan ereion
Hiz ert sehi gil

Neh a gil nethra
Vist aen Osmæhil

Sta n'issu ahath
N'eora elil
N'ita hiveil

Oh onte olo irim
Osmæhil!
Leah Osmæhil!

И далее:

Ahae ahae
Tenei viriah

Lih dana lih laen
Irim Osmæhil

Eori eliel
Luwit pireah

Lih dana lih laen
Irim Osmæhil...

Смысл этой песни был приблизительно таким:

В этой стране золотой
Истоки всех дорог

Но лишь одна незримая
Ведет назад в Осмахил

Здесь никогда не иссякает дыхание
Не прерывается песня эльфийская
Не кончается легенда

О чаша полная света
Осмахил!
Далекий Осмахил!

И далее:

Небеса небеса
Текут как река

Благословенны они
Осиянные светом Осмахила

Песни эльфийские
Летят подобно птицам

Благословенны они
Осиянные светом Осмахила¹...

О, как же Адуляру не хотелось покидать этот чудесный холм! Так бы и слушал он дивные эльфийские песни до скончания времен. Ему казалось, что теперь-то он может легко и безошибочно разобраться в природе каждого слова. Ему были ведомы и слова-растения, которые нуждались в постоянном уходе, чтобы не увянуть; и слова-звери, которые надо ласкать и подкармливать или опасаться и уважать; слова-ангелы, светящиеся в ночи любовью, и слова-демоны, всегда искушающие, слова-убийцы, кривые и острые, как кинжалы, и слова-жертвы, настоянные на слезах горючих, слова-воины и слова-негоцианты, слова-аристократы и слова-плебеи. Он познал слова, подобные драгоценным камням, способные украсить всякое косноязычие, и слова, подобные кометам и звездам, которые и после своей смерти еще целую вечность продолжают сиять в космосе языка. И даже самые ничтожнейшие из этих слов являли собой божественный сплав гласных звуков, данных Небом, и звуков согласных, берущих начало свое от Земли. И в каждом слове круговращался свой маленький космос со своими солнцем и луной, своими звездами, своим миром живых и мертвых, своими богами и демонами. Но так ли уж мал этот космос?.. Он чувствовал, что еще миг, и он сам запоем на древнем и вечно юном эльфий-

¹ Текст этой эльфийской песни был написан на плите из черного лабрадорита, доставленной помощниками г-на М*** с Флоровского кладбища. Хочу обратить внимание читателя на то обстоятельство, что несмотря на наличие в слове *Osmæhīl* дифтонга [æ], в русском написании этого эльфийского топонима он отсутствует, и Осмахил пишется и произносится через [a]. — *Примечание Издателя.*

ском языке... Но глаза его помимо воли открылись, и он увидел родные и взволнованные лица братьев-фамулусов, склоненные над ним. «Поражение, равное победе! — услышал он голос Магора. — Вот оно, триумфальное *reductio ad impossibile*¹».

ХИ

ПУТЕШЕСТВИЕ К ОТЦУ ВДОХА И ВЫДОХА

Уже через несколько дней настроение Адуляра резко изменилось. Напряженное изучение трактатов Голланда, Фламея, Василия Валентина, Тревизана, Арнольда из Виллановы, Георга фон Веллинга и Фулканелли настолько измотало его физически и морально, что на исходе месяца в голове беспорядочно перемешались Великий Вулкан, звездный огонь Ануннаки, цветок цветков, хлебы предложения, манна небесная, пурпурный Феникс, который легче света и тяжелее самого себя, и Райский камень, огненный и устремленный ввысь.

Однажды, понуро следуя длинным извилистым коридором, Адуляр внезапно остановился перед дверью в гостиную. Дверь была полуоткрыта, и он вошел. В этот час здесь было пусто, лишь механические птички продолжали с жужжанием порхать с ветки на ветку. Наблюдая за их однообразными полетами, Адуляр с грустью вспомнил, как когда-то, очень давно, он в сопровождении бабы Мани ходил на Птичий рынок и там покупал клетки с канарейками и щеглами. И они зимовали в одной из комнат в доме тетюшки Клер, а Янка ухаживала за ними. Птиц выпускали из клеток, и они летали по всему дому, садились на специально установленные ветки, и кот Мурмилот за ними не охотился, что Адуляра всегда удивляло. С приходом весны птиц отпускали на волю. Сердце Адуляра защемило. Он смахнул воспоминания и огляделся. На большом круглом столе, как всегда, в аккуратном порядке был расставлен чайный сервиз. Рядом со столом, почему-то прямо на старинном громоздком комод, зажмурившись в молчаливой задумчивости, одиноко сидел тот самый китаец, которого Адуляр видел здесь в первый день своего пребывания в Доме Магора. То был первый и последний раз. Перед китайцем лежала все та же шах-

¹ Приведение к невозможному (*лат.*).

матная доска и, вполне возможно, все с той же до сих пор незаконченной, а может быть и вечно длящейся шахматной партией. В одной руке он держал фигурку, видимо, намереваясь сделать ход. Адуляр затаился в ожидании этого хода, но китаец сидел неподвижно. Так прошло несколько минут. Может, он уснул? Ведь совсем старый... Адуляр деликатно кашлянул, но старик даже не шелохнулся. Что-то тут не так. Адуляр тихо подкрался к китайцу и тронул его за плечо.

— Да, дорогой друг, это всего лишь автомат, — раздался у него за спиной голос Магора.

Адуляр в ошеломлении обернулся, а Магор рассмеялся совсем по-мальчишески.

— Автомат?

— Ну да! Можете сами удостовериться. Это один из «шахматных болванов» некоего господина фон Кемпелена.

— И это он тогда играл в шахматы?

— Нет. Тогда играл настоящий совершенномудрый По. А это — машина, и она уже давно не работает, поскольку никто не желает сидеть в комодке. Согласитесь, развлечение не из приятных.

Адуляру вполне хватило количества насмешливых ноток в словах Магора, чтобы понять: самостоятельно машина не работает, если в комодке не сидит оператор. То еще чудо техники!

— Ну, вот! — воскликнул Адепт. — Чем не один из красно-речивейших символов современного мира — мира подмен?

— Смешно сказать, — вздохнул Адуляр, — я ведь совершенно серьезно принял эту куклу за настоящего По! А где же, в таком случае, сам мудрец?

— Кто знает? Вот вы бы и пустились на его поиски.

— Я?

— Вы! Я все наблюдаю за вами, Адуляр... Конечно, вы научились играть на музыкальных инструментах, владеть оружием, строить лабиринты. Вы постигли искусство изопсефии и гематрии, а также делаете немалые успехи в философии, алхимии и в других искусствах и науках. Но у меня такое впечатление, что вы несколько заучились. Знаете, такое случается: многие наши исследования заканчиваются уничтожением и того, что исследовалось, и самого исследователя. И вообще, для того, чтобы стать

птицей или зверем, вовсе не обязательно выучить и во всю глотку выкрикивать слово «mutabog»¹... Думаю, вам неплохо было бы сменить обстановку. Что скажете?

Адуляр в растерянности развел руками:

— Каждый раз вы ставите меня в тупик!

— Вот и отправляйтесь на поиски старого По. Это и будет выходом из тупика. Я сам покажу вам Дверь, в которую нужно войти, а дальше — вы уж сами. Ну, так как?

— Я готов!

— Вот и отлично. Завтра же и отправляйтесь.

Накануне перед дорогой Адуляр от волнения долго не мог уснуть. Уже под утро ему приснился сон: он был в саду и, сидя на иве, сочинял стихи:

Дни догорают, дымки костров.
Все гуще тени, длиннее ночи.

Звезды падают со звезд,
И светляки — в небо.

Падают листья с деревьев.
Скоро их место займут снегопады...

Двигется-двигется все вокруг.
Собираюсь и я поутру в дорогу...

...Много ли, мало ли прошагал Адуляр, покоря тысячеверстные дали, прежде чем его слуха коснулись нежные хрустальные переливы — так на ветру позванивает множество подвесок из тонкого металла, — он и сам не знал. И вот перед Адуляром предстал старый Отец Вдоха и Выдоха, совершенномудрый По во всей своей красе: верхом на двурогом ши-лине. Голова мудреца напоминала печеное яблоко; глаза, ноздри и рот — словно червоточинки на нем. Его борода была расчесана ветром. Звуки, которые Адуляр принял за перезвон колокольцев или подвесок, на самом деле оказались возгласами этого невиданного зверя. Но переливчат был не только его голос, но и шкура, лучащаяся множеством красок. Все это радовало и ухо, и глаз.

¹ Волшебное слово в сказке Вильгельма Гауфа «История о Калифе-аисте», способное превращать людей в животных и наоборот.

Старый По всегда был один, и у него не было сероголовых слуг в синем платье. Но когда он являлся, сопровождаемый пением цикад, духи предметов пробуждались и оживали, и все вокруг начинало цвести и благоухать. И у чая, который он заваривал, всегда был вкус дальних странствий.

Встречи их происходили в небольшом павильоне, в саду, окруженном стеной с четырьмя воротами, на берегу Слабых Вод, в которых тонет даже перышко. Павильон имел квадратную форму и по одному выходу с каждой из четырех сторон света. Обычно старый По сюда приходил, прилетал, прибежал или появлялся следом за Адуляром. Но в какие-то особые для него дни он мог въехать в восточную дверь верхом на красном ши-лине, или на голубом драконе, а удалиться через западную дверь на белом тигре или просто уйти пешком. Они часами беседовали о вещах прекрасных и изысканных: о каллиграфии, об искусстве заваривать чай и слагать песни. А в конце беседы мудрый По озадачивал Адуляра каким-либо причудливым вопросом, например: «Касался ли когда-нибудь твоего лица мотылек?» — «Нет». — «Так что же тебе известно о нежности?..»

Отец Вдоха и Выдоха очень любил шахматы, но играл в них лишь в случае крайней необходимости, ибо любой ход его мог иметь далеко идущие последствия. Однажды Адуляру захотелось узнать, что творится в городе. По указал на шахматную доску и сказал: «Пешки рвутся в цари». — «Всё, как всегда», — сокрушенно вздохнул Адуляр. «Всё? — переспросил мудрый По. — Всё — это Ничто. Всё — лучшее доказательство существования Ничто. Скажи “Всё!” — и ты сразу почувствуешь, как за ним или даже в нем самом кроется его полное отсутствие. Это как две стороны Просторно-студеного Чертога: — видимая и невидимая. Если существует видимая, то обязательно существует и невидимая. Видимое свидетельствует о невидимом уже самой своей видимостью. Так же и Всё свидетельствует о Ничто». — «И это всё?» — удивился Адуляр. «А что еще?» — в свой черед удивился По. «А любовь?» — не сдавался Адуляр. Совершенномудрый вскочил на журавля и улетел. Вернулся он ранней весной, пешком, и, указав бамбуковой палкой под ноги, спросил: «Что ты видишь?» — «Жука... Ползет куда-то». — «Ползет», — согласился По и, подыгрывая себе на эрху, пропел:

Жук запыленный
едва ото сна пробудился —
на невидимой нити
тащит весну за собой.

Как-то раз малярийным ветром в беседку занесло Котомыша в тростниковом плаще и шляпе. Адуляру, который в это время усердно учился играть на кунхоу, дабы ни в чем не уступать музыкантам Грушевого сада, пришлось прервать занятия, чтобы оказать незваному гостю традиционные знаки внимания и напоить его чаем «Стая фениксов». Котомыш мнил себя великим китайским поэтом и всю ночь до утра надоедал своими стихами, горланя их на всю Поднебесную. Есть такой жанр — цзюе-цзюй, что означает «оборванные стихи». У Котомыша стихи тоже были «оборванными», но совсем по другим причинам. Напившись чаю и наевшись фруктов до отвала, он на прощанье промурчал — в духе Бо Цзюй-и:

Когда-нибудь ночью в этот генделик¹ трухлявый
непреренно приду с вяленой воблой и пивом...

О тех далеких временах ученичества Адуляра было сложено немало легенд, но только три из них, будто тени, дотянулись до наших дней. Вот они:

ТРАВИНКА ИЗ СТРАНЫ БЕССМЕРТНЫХ История, написанная на обломке весла

Рассказывали, что старьй По в совершенстве познал пути живых и мертвых и будто бы даже вдоль и поперек исходил всю Страну Белых Облаков.

И вот однажды прослышавший обо всех этих чудесах Адуляр, настоящее имя которого в те времена означало Нешлифованный Нефрит, сложив руки в приветствии и низко поклонившись, спросил совершенномудрого:

— Учитель, скажи, какой смысл в смерти?

— Очень большой, — отвечал По. — Ты поймешь это, если хоть один день в череде десяти тысяч сумеешь прожить в бессмертном блаженстве.

¹ Генделик (*укр.* разговорно-жаргонное, от нем. Handel) — маленькое кафе, где продают спиртные напитки и закуску.

Тогда Адуляр спросил:

— А какой смысл в бессмертии?

— Ты и это поймешь. Но не раньше, чем познаешь смысл смерти.

— Но когда? Когда же я познаю его? Получается какой-то замкнутый круг!

— Так и есть, — согласился старый По и на прощанье подарил Адуляру тоненький стебелек линчжи — неувядаемую травинку с вечно зеленых берегов Пэнлая. Еще вчера она была его лодкой.

ТРИ ПАЛКИ СОВЕРШЕННОМУДРОГО

История, написанная на старом бамбуковом удилице

— Учитель, что такое Дао? — спросил однажды Адуляр, которого в ту пору, как известно, звали Ветхой Кровлей.

Ни слова не говоря, мудрый По взял палку и принялся что было сил колотить ею своего ученика по этой самой «ветхой кровле», не обходя стороной также мест мягких и неразумных. И колотил до тех пор, пока палка не сломалась.

Потирая ушибы, Адуляр снова приступил к мудрецу с вопросом:

— Учитель, а что такое Дзен?

Ни слова не говоря, старый По схватил вторую палку. И она тоже разлетелась в щепки.

— Так в чем же разница? — спросил Адуляр, потирая ушибленные места.

И тогда совершенномудрый потянулся за третьей палкой... Но Адуляр убежал.

ВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯ

История, написанная на панцире живой черепахи¹

Известно, что мудрый По в совершенстве владел искусством желтого и белого.

Как-то раз Адуляр, второе имя которого в ту пору означало Замутненное Зеркало, прослышал о том, что будто бы у старого По есть волшебная пилюля, выплавленная еще в те времена, ко-

¹ Черепаха прожила в моем доме несколько месяцев, после чего я отпустил ее в одно из киевских озер. — *Примечание Издателя.*

гда император Хуан-ди писал свой «Канон сокрытых знаков» и захаживал в яшмовую пещеру отшельника Гуан Чэн-цзы за добрым советом. Рассказывали, что пилюля эта вся усеяна тончайшими тресчинками, имеет цвет лака жожоба и по ночам ярко светится, будто пламя внутреннее источая.

Дни и ночи Адуляр ходил вокруг да около мудреца, не отваживаясь задать сокровенный вопрос. Но однажды, — а было это в девятый день луны, в час у¹, — поддавшись давно изводившему его искушению, он не выдержал и обратился к Учителю с нижайшей просьбой показать ему диковинную пилюлю или хотя бы краешек ее.

— Нет ничего проще, — сказал совершенномудрый По и протянул Адуляру лакированный ларец высотой в пять цуней, а шириной в три цуня, предварительно обмахнув его серебряной половиной своей бороды, поскольку была ночь.

— Так вот где обитает Великий Красный! — обрадовался Адуляр.

Он открыл ларец, но внутри оказался еще один — такой же, только чуть поменьше. А в том ларце — еще ларец, а в нем — следующий... Дни и ночи напролет неутомимый Адуляр открывал ларцы с ларцами внутри, пока совсем не сбился со счета, и даже не заметил, как уснул среди тысяч пустых ларцов и проснулся уже в следующий сон.

...Вернувшись от мудрого По в Дом Магора, Адуляр долго не мог привыкнуть к прежней обстановке и распорядку. Братья-фамулусы говорили, что у него глаза сузились: якобы то же самое произошло со знаменитым китаеведом академиком Алексеевым незадолго до его смерти. Нельзя сказать, что эта информация прибавила Адуляру оптимизма. «Ты что, там много пил?» — спросил брат Атаназиус Кловис. «Ты же знаешь, Ключик, я почти не пью», — обиделся Адуляр. «А почему опухший такой?» — «Типичный монголоид!» — подтвердил брат Павси-какий. «Да ну вас!» — «Ну ладно, верю, верю, — с трудом сдерживая смех, сказал Ключик. — Скажи лучше, ты плавал в лодке по винному озеру злого царя Чжоу Синя?» — «Плавал», — соврал Адуляр. Ключик вздохнул: «Везет же людям!»

Однако немало усилий пришлось приложить Адуляру, чтобы снова стать европеоидом.

¹ Пять часов утра.

ХШ

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

Спустя три дня Магор взял Адуляра под руку, отвел в сторону и сказал:

— Ну что, друг мой Адуляр, если память мне не изменяет, вы как-то заявили, что будто бы готовы стать Дедом Морозом?

Адуляр в каком-то тревожном предчувствии утвердительно кивнул головой.

— Вы читали мои письма? — спросил он.

— А разве вы их написали?

Оба рассмеялись.

— Вот и славно! Только постарайтесь не уснуть, как это с вами частенько случается.

— Ни за что! — выпалил Адуляр.

— Похоже, вы в хорошей форме. Это меня радует.

Некоторое время Магор молчал, видимо, обдумывая свое предложение, а потом, понизив голос, заговорил:

— Слушайте внимательно. До Рождества, мы с вами уже не увидимся, поскольку я уеду по важным делам. Должно быть, вы помните, я как-то говорил, что вам предстоит нанести некий визит...

— Да, конечно, помню!

— И результат этого визита, может статься, будет иметь далеко идущие последствия...

Сердце Адуляра учащенно забилося.

— Мне доподлинно известно, что вы находитесь под особым покровительством. Думаю, вы и сами это знаете не хуже меня. И хоть вы еще не достигли совершенства, вам все же придется выступить, ибо так велит Пророчество.

— Эль Нат? — догадался Адуляр.

— Эль Нат — доблестный витязь. Но у вас есть и более могущественный покровитель. На него-то я в основном и уповаю. Я же сделал для вас все, что было в моих силах.

— Я вам так благодарен!

— Не спешите с благодарностями. Я всего лишь исполнял свой долг перед силой Пророчества. Поблагодарите, когда все закончится.

В порыве чувств Адуляр схватил руку Магора и поцеловал ее.

— И еще хочу сказать, — продолжал Магор, тронутый этим душевным порывом своего ученика, — что не только я верю в вас, дорогой друг. И не один я надеюсь на успех.

— А кто же еще? Кто?

— В должный час вы сами это узнаете.

— Хорошо. Что я должен делать?

— Вижу, вижу, что вы готовы и полны решимости. А это, пожалуй, главное. Пойдемте в библиотеку.

В этот час в библиотеке было тихо и безлюдно, никто не шелестел пергаментами, не скрипели перья, не шептались братья-фамулусы. Лишь попугай Густав подремывал в своей клетке. Грустные чувства охватили Адуляра, — как будто он пришел сюда прощаться — ни с кем и ни с чем конкретно, но со всем и всеми сразу. Только сейчас он по-настоящему ощутил, насколько этот Дом стал ему родным. Магор налил в два бокала свое любимое вино, в которое обычно добавлял толику мирры и столько же ладана, и еще насыпал смесь агатовой крошки. Один бокал он протянул Адуляру. Молча пригубили они вино за успех.

— Так вот, друг мой, — начал Магор, садясь в кресло и жестом предлагая Адуляру сесть напротив. — В Сочельник, в девять часов пополудни — ни минутой раньше, но и не позже, — вы должны будете выпить некий эликсир, который найдете здесь, в библиотеке, вот в этом ящике стола. Эликсир будет в маленьком флакончике из синего стекла. Там же будет и наперсток...

— Наперсток? — удивился Адуляр.

— Да, серебряный. Вы возьмете то и другое, пойдете в свою келью, наполните наперсток эликсиром, выпьете все без остатка и ляжете на постель. Затем о вас побеспокоятся... Ну а дальше все пойдет само собою. Будьте терпеливым и мужественным и действуйте по обстоятельствам, как сердце подскажет.

На этом их разговор и закончился. Магор встал и вышел, прихватив с собой попугая Густава.

— И смотрите, не хлебните лишнего! — уже в дверях крикнул он. — Один наперсток. Этого должно хватить...

Все последующие дни Адуляр занимался изучением «Готических соборов» и «Философских обитателей» Фулканелли, но был так поглощен ожиданием грядущих событий, что не мог сосредоточиться на содержании знаменитых книг, несмотря на всю их увлекательность и блестящий стиль. Взгляд его то и дело

соскальзывал со страниц и устремлялся далеко-далеко — туда, откуда высокие шпили готических храмов и полные герметического смысла скульптуры были почти не различимы.

Так же, без особого вдохновения, он пролистал астрологическое руководство «*De judiciis astrorum*»¹ Ибн-Рагеля, тем более что это был не оригинал, а латинский перевод с арабского, а книгу Жана-Батиста Морена «*Astrologia gallica*»² и вовсе не открывал.

Безразличие к наукам росло в Адуляре по мере приближения заветного дня. И ему уже было совсем не важно, где у человека находится *Duumvirat*³, о котором писал ван Гельмонт, — в желудке, в печени или где-нибудь еще. Впрочем, вряд ли бы обиделся на столь непутевого ученика тот, кого все величали *Medicus per ignem*⁴, и кто был счастлив уже тем, что, во-первых, в значительной мере прояснил и «научно облагородил» учение самого Парацельса, а во-вторых, в своей книге «*De magnetica vulnerum curatione*»⁵, написанной в 1621 году, лет на двести опередил Месмера с его магнетическими опытами. Пожалуй, гораздо более тяжкий проступок Адуляра заключался в полном равнодушии к рекомендациям Альберта Великого, обязательным для каждого фамулуса: «Алхимик должен быть сдержанным и молчаливым, — зачитывал вслух провизор Бруно в отсутствие отбывшего в неизвестном направлении Магора, и вся братия хором повторяла за ним. — Он никому не должен сообщать результаты своего Делания...» Вместе со всеми повторял и Адуляр, при этом мало заботясь о смысле произносимого: «Алхимик должен в точности следовать правилам Искусства при измельчении, сублимации, фиксации, растворении, дистилляции и коагуляции...» И тут Адуляру не помогала даже вербена, или «голубиная трава», которую, по совету Альберта Великого, он носил в холщевых мешочках на себе для более плодотворной учебы.

Так же незаметно для сознания Адуляра пролетело изучение целебных свойств камчужной травы, о которых очень вдохновенно рассказывал все тот же провизор Бруно. Сам подагрик с

¹ «Астрологические суждения» (лат.).

² «Астрология галлов» (лат.).

³ Начало разумное, или собственно душа (лат.).

⁴ Огненный Доктор (лат.). — Прозвище ван Гельмонта.

⁵ «О лечении ран магнитом» (лат.).

многолетним стажем, он вдохновенно перечислял имена знаменитостей, страдавших этим аристократическим недугом и с успехом пользовавшихся камчужную траву. В эти дни рассеянность Адуляра достигла такой степени, что во время выполнения письменных работ он произвольно превращался в своего рода «монограмматика», пропуская в словах отдельные буквы, как то когда-то делал, правда совершенно намеренно, итальянский поэт Винченцо Кардоне, о чем свидетельствует его курьезная «*la R Sbannita ovvero sopra la Potenza d'Amore*». Но Адуляр пошел дальше самого Кардоне: под конец он пропускал уже целые слова и даже предложения. А на вечерних музыкальных штудиях, там, где надо было, например, играть на сякухати, он хватал за чем-то роммельпот и вместо *canterellando*¹ срывался на *caldamente*², к всеобщему удивлению; или хуже того — на *capricciosamente*³. Он и не замечал, как все переставали играть и, опустив инструменты, некоторое время, шушукаясь и перемигиваясь, слушали его одного, а потом разражались дружным смехом. Один лишь глухонемой эльф Тиндалин не смеялся. По своему обыкновению, он стоял со сложенными на груди руками, прислонившись к стене, и смотрел куда-то вверх голов веселившейся братии. Спohватившись, Адуляр краснел от смущения, поспешно заглядывал в партитуру, порывисто хватался за флейту, тут же ронял ее на пол, заодно неловким движением опрокидывая и пюпитр. Так однажды, ползая на четвереньках по полу и в очередной раз собирая разлетевшиеся листы с нотами, он наткнулся на сестру Комаху, которая протягивала ему стакан с персиковым йогуртом. «Не обращай на них внимания, — сказала она. — Им лишь бы позубоскалить. Ведут себя как дети». — «Ничего, — Адуляр встал с четверенок. — Видишь брата Скорпио?» — «Ах, он всегда над всеми смеется! Ты же знаешь, какой у него характер». — «Так вот, — Адуляр перешел на шепот, — я тоже в долгу не остаюсь. Письмо от Майлза Дэвиса, которое он получил пару дней назад из Нью-Йорка, написал я. Собственной рукой. В этом письме Дэвис превозносит нашего брата Скорпио до небес, как первого трубача в мире, называет его своим лучшим другом, чуть ли не братом по крови, и просит разреше-

¹ Тихо, вполголоса, как бы напевая (*итал.*).

² Горячее, сильное, бойкое исполнение (*итал.*).

³ Своенравное, причудливое исполнение (*итал.*).

ния посвятить ему одну из своих скромных джазовых безделушек. Известное дело, весь этот бред обильно пересыпан убойственными характеристиками и проклятиями в адрес музыкантов, не имевших честь сосать грудь черной матери, но почему-то возомнивших себя джазменами, и так далее, и тому подобное... Ну, ты понимаешь: всё — в духе Дэвиса». — «Но послушай, — засомневалась сестра Комаха. — Брат Скорпио тоже не сосал грудь черной матери». — «Ничего, завтра он получит письмо от Колтрейна. Что-то вроде исповеди... Да, чуть не забыл: спасибо за йогурт, но лучше бы это был коньяк».

Бывало, ассистируя брату Атаназису Кловису, виртуозно игравшему на пятимануальном органе, он путал переключатели регистров, и в результате вместо значившегося в партитуре *vox virginea*¹ вдруг начинал звучать *vox angelica*², а вместо *vox celestis*³ — *vox humana*⁴. Ключик не обижался, но после такого музицирования ему хотелось крепко напиться. Чувствуя свою вину, Адуляр даже собирался написать ему какое-нибудь ободряющее письмо от Шнитке или от Пендерецкого, но в последний момент подумал, что это будет уже перебор, и его маленький невинный заговор легко раскроют.

Еще хуже дело обстояло с утренними и вечерними песнопениями. Вопреки стройному хору, вдохновенно исполнявшему монотонно-однообразные григорианские напевы, Адуляр аккуратно выводил амброзианский канон — «*Te lucis ante terminum*», например: «Да отступят сны и призраки ночи!..» — или какую-нибудь церковную мелодию мозарабов... А почему бы и нет? Во всяком случае, это было не совсем обычно, а главное — не все ли равно, какие песни поются, лишь бы пелись они *ad maiorem gloriam Dei*!⁵ Так считали древние философы. Но иного мнения придерживался кот Мусик. «Какие к черту философы!» — срываясь на фальцет, голосил он. После чего долго и нудно отчитывал Адуляра, в первую голову за то, что тот своими бестолковыми штудиями бросает тень на его безупречную репутацию: «Пойми же, эгоист несчастный! С подмоченной репутацией мне никогда — понимаешь? — никогда не трансмутировать из небла-

¹ Девичий голос (*лат.*).

² Ангельский голос (*лат.*).

³ Небесный голос (*лат.*).

⁴ Человеческий голос (*лат.*).

⁵ Для вящего прославления Бога (*лат.*).

городного Мусика в благородного Мусея. Хоть раз в жизни подумал бы и обо мне!» Адуляр виновато вздыхал и клятвенно обещал исправиться, но изо дня в день все повторялось снова. К столь явным провалам в учебе примешивалось еще и неприятное чувство, будто это не он сам прокладывает себе путь, а кто-то невидимый принуждал его безвольно плестись по собственным следам...

Но вот наступил долгожданный Сочельник. День прошел в напряженной алхимической работе, традиционно завершившейся торжественным хоровым исполнением на английском языке XV века знаменитой «Кантилены» Джорджа Рипли, или, как ее еще принято было называть «Песню о новорожденном Химическом Короле», музыку для которой каждый год писал кто-нибудь из фамулусов. На этот раз композитором выступил брат Атаназиус Кловис, несколько перестаравшийся с диссонансами:

Behold! And in this Cantilena see
The hiddden secrets of Philosophy:
What Joy ariseth from the Merry veins
Of Minds Elated by such dulcid Straines!..¹

Увы, не все тридцать восемь стрóf «Кантилены» прозвучали идеально, и это еще мягко сказано (кто-то из фамулусов даже пустил петуха!), так что на Магора к концу пения было больно смотреть, а Тиндалин и вовсе ушел, не дожидаясь конца. Как только отзвучало завершающее «Amen!», братья-фамулусы шумной толпой потянулись к выходу из лаборатории, на ходу отпуская колкости в адрес Атаназиуса Кловиса: «Брат, ты случайно не знаешь, в какой тональности написана сия музыка сфер?.. Да, брат, музыка воистину нечеловеческая!.. Наконец-то, я почувствовал себя электропилой!.. Модальный джаз!..» — «Научитесь сначала петь, олухи!» — мужественно отбивался Ключик.

¹ Созерцайте! В этой Кантилене вы познаете
Скрытые тайны Философии:
Что за радость приходит от
Счастливого расположения
Умов Ликующих в столь
приятном Напряжении!.. —
Перевод с англ. И. Гончаровой.

Едва дождавшись назначенного Магором часа, Адуляр влетел в библиотеку, выдвинул ящик стола, схватил синий флакончик с эликсиром и серебряный наперсток и устремился с ними по коридору в свою келью. Плотнo закрыв за собой дверь, он зажег лампу и устался на часы, висевшие на стене. Сердце от волнения выскакивало из груди. Секунды тянулись мучительно долго. Адуляр неистово подгонял время, но оно упрямо сопротивлялось, грозя совсем остановиться. Наконец пробило девять. Адуляр откупорил флакончик, в дрожащей от возбуждения руке поднял к свету наперсток и уже собирался налить в него чудодейственный напиток, но вдруг так и замер от неожиданности. Это был тот самый серебряный наперсток, который он подарил когда-то на Рождество тетушке Клер! Он узнал его! Но почему? Откуда он здесь?.. Времени на рассуждения не оставалось, Адуляр налил полный, с верхом, наперсток и одним духом выпил его содержимое. Затем, как было предписано Магором, лег на кровать, закрыл глаза и погрузился в ожидание. Сначала мысли его путались, лихорадочно метались от одного образа к другому, ни на одном из них не задерживаясь. Постепенно он успокаивался. Явились девы с лунными именами, они молча ухаживали за ним — Фебея, Цинтия, Селена. Они поили его тутовым вином, словно Парцифалья в замке Граалья, умащивали его тело бальзамами, затем облачали в стальные доспехи, пели песни, и под их ангельское пение он плавно погружался в сон, будто новый Эндимион. И вот, «оставив на ночь девам и мед, и душистые вина», он ушел...

...В тот поздний, поздний час, в час молчаливых колоколен, бессонных стариков, фонарной тишины и черных силуэтов, отлитых ночью из печали городской, из одиночества, когда за тысячами толстых стен тела живых в личинки превращались, а гении поэтов праздных и беспечных под окнами горящие ловили звезды шляпами из фетра, чеканили из них поэмы золотые и щедрою рукой бросали, как монеты, в глубокие колодцы памяти и подворотен — наудачу... В тот чудный час вошла Она, пресветлая царица. Мелькают в темноте белесые холмы, и крыши машут крыльями вниз, и звон в ушах, и холодит глаза прохлада, а рядом — дивная Она. И мысли нежные плывут в прохладе...

Прохладу сумрачную рассекая, перед глазами всадники летят, строги их лица и сверкают очи, и оружие, и шпоры... И где-то брезжит музыка — и насыщает воздух, и он струится, как вода

живая бесконечно. В дно неба хочешь упереться, но разве есть у неба дно? А есть Она, — царица серебра, властительница ночи. И все, что отнял день, она с лихвою воздает и любит всех, кто любит. Плыви в ее лучах и помни: хоть ты всего лишь камень, ты не утонешь, не утонешь, ибо имя твое — Адуляр!..

...Как долго длилось это странствие, Адуляру было неизвестно. Теперь он уже будто бы продвигался сквозь густую хвою, не чувствуя ни верха, ни низа, а вокруг него, в этой мохнатой зелени, блуждали разноцветные огни, мерцали стеклянные шары и бусы, и кукольные личики картонных снежинок, висящих на незримых нитях, улыбались ему.

В комнату вошла Янка, тетушка Клер, и баба Маня, а вслед за ними — кот Мурмилот с предупредительно поднятым хвостом. «А где же Дед Мороз? — подумал Адуляр. — Нет, не тот, что обычно в такие дни пьяный шастает по квартирам со списком жильцов в кармане, — от того пахнет перегаром и чесночной колбасой, и он слишком из мяса, крови, и водки. Где же настоящий Дед Мороз — из ваты и бумаги, с румяными щеками из папье-маше, с мешком за плечами и посохом в руке? Ничего, что неподвижный, зато ночью, когда все спят, он выходит из-под елки и бродит по дому из комнаты в комнату, переставляет всякие предметы с места на место, — и зачем ему все это? — одним словом, шалит... А под подушку или в сапожок обязательно положит какой-нибудь подарок из мешка...» Вдруг — о, ужас! — Адуляр увидел, что он сам и есть Дед Мороз — маленький, весь из ваты и бумаги, и совершенно неподвижный! Он так испугался, что от его испуга замигали разноцветные лампочки на елке, под которой он стоял, опираясь на посох. И тут он вспомнил последний разговор с Магором. «Так вот оно, значит как! Дед Мороз! Но ведь это была метафора... Метафора!.. Или не метафора?.. Неужели это навсегда?» От страха и бессилия он готов был расплакаться и закричать, завопить во все горло. Но теперь в его столь необыкновенном, бумажно-ватном состоянии это сделать было невозможно! «Ничего, — успокаивал сам себя Адуляр. — Многие герои легенд и сказаний оказывались в дурацком положении. Геракл сиживал за прялкой, а сэр Ланселот ездил на телеге... Но я, кажется, превзошел всех!»

Все, что Адуляр видел и слышал вокруг, представлялось ему расплывчатым и приглушенным. Окружающий мир скрывался

от него, словно за матовым стеклом. Да и как могло быть иначе? Глаза у Деда Мороза являли собой две стеклянные бусинки, а уши — маленькие ватные подушечки, обтянутые белой морщинистой бумагой. О том, чем была набита голова внутри, даже думать не хотелось. В доказательство — ни единой здоровой мысли не приходило в эту голову. Так, в полном бездействии, прошло довольно много времени, пока несчастный Дед Мороз, почти слепой и глухой, мучительно пытался размышлять об истинной сути своей роли. Он не мог ни сесть, ни лечь, ни даже пальцем пошевелить. И хотя он был в полном отчаянье, ни один мускул на его бумажном лице не дрогнул, и холодный озноб не пробегал по ватному телу: «Да что же это такое, в самом деле?! Что за издевательство?!»

По смутному движению в комнате стало ясно, что праздничный вечер подошел к концу: все расходились спать по своим комнатам. И действительно, свет погас, только елочные лампочки продолжали таинственно перемигиваться. «И что же теперь? Долго мне здесь торчать истуканом?» — думал Адуляр. Страх немного улегся, и он уже готов был рассердиться — и на себя, и на Магора, который, похоже, сыграл с ним не лучшую из своих шуток. Но уже в следующую минуту он постарался прогнать эту крамольную мысль, ибо за годы учения все же усвоил одно непреложное правило: ученик должен безраздельно доверять Учителю, ибо один лишь Учитель по-настоящему знает не только то, чего хочет ученик, но и нужно ли ему то, чего он хочет, — по крайней мере, в настоящий момент. *Audite verbe magister!*¹

Пока Адуляр рассуждал сам с собой, укрытый мохнатыми ветвями рождественской елки, в комнате забрезжил зеленоватый свет. Он струился из глубины комнаты, и было в нем что-то тревожное. Ветви на елке начали быстро покрываться густым инеем, но ватный Адуляр холода не чувствовал.

Промелькнула чья-то тень... Еще раз... Адуляр что было силы тарачил свои стеклянные глазки в отчаянной надежде хоть что-нибудь увидеть. Удивительно, но зрение стало постепенно проясняться! Он уже различал окружающие его предметы и даже узнал маячившую на этажерке фигурку Фарфорового Льва, которого когда-то подарил Янке на Рождество, и тут же, в нескольких шагах от себя, — неподвижную тень, показавшуюся ему странной. Ка-

¹ Повинуйся словам учителя! (лат.).

кая-то угроза исходила от нее — Адуляр это сразу ощутил. Тень пошевелилась, сделала бесшумный шаг и снова замерла. От сковавшего комнату мороза громко затрещали обои на стенах. Видимо, на этот неприятный звук тень обернулась, обнажая мглистую туманность своего лица, и в следующую минуту из туманности этой заструился тонкий луч изумрудного света. Все так же бесшумно, ощупывая углы и стены комнаты изумрудным лучом, черная тень двинулась к этажерке с Фарфоровым Львом, но Адуляр уже не сомневался в том, что знает ее имя. Альгакобилла — вот кто это! И похищенный изумруд при нем!

Альгакобилла заметно припадал на правую ногу, да и правая рука противно закрипела, когда он вытянул ее вперед. «Пришел час возмездия!» — прошептал он, и в комнате пошел снег. Эти слова сильно обеспокоили Адуляра: «Что же делать? Что же делать?» Мысли его лихорадочно метались, тогда как тело по-прежнему оставалось совершенно неподвижным: «Проклятая вата!..» За дверью слышались чьи-то торопливые шаги. Альгакобилла вздрогнул, рука его, тихонько скрипнув, застыла над Фарфоровым Львом. В ту же минуту дверь с треском распахнулась, и в комнату ворвался сноп яркого света, а вместе с ним — какая-то страховидная тетка с не очень-то свежим лицом бледно-поганкового цвета, и с совершенно неуместными в этом месте и в этот час огрызком метлы и газовым фонарем в изъеденных плесенью руках. Отчаянно размахивая вышеупомянутыми предметами и с трудом удерживая равновесие, она пятилась вглубь комнаты, теснимая кряжистым богатырем, а тот, не переставая воинственно лязгать бронзовыми зубами, ревел, как разъяренный медведь-шатун, не набравший на зиму жира и не залегший в берлогу. Лицо богатыря показалось Адуляру знакомым. Если бы не стальной шлем и не доспехи, он готов был поклясться на мешке с рождественскими подарками, что перед ним баба Маня: тот же нос картофелиной, те же, поросшие густой щетиной, бугристые щеки, та же массивная серга в ухе, та же статья... Да, но как быть с зубами? У дворничихи бабы Мани, помнилось ему, во рту победно сверкали два ряда отнюдь не бронзовых, а самых настоящих золотых (не ниже 999-й пробы!) зубов, всякий раз поражавших Адуляра ослепительной роскошью, трудно сочетаемой с древней, но совершенно не прибыльной профессией бабы Мани. Что касается тетки с метлой и газовым фонарем, которую он видел впервые, то ее бо-

лезненный вид вызвал в Адуляре исключительно книжные ассоциации: ему вспомнился знаменитый «Гиппократов сборник», который он штудировал на занятиях у Магора; там в «Прогностиках» описывалась печально известная *facies hippocratica*: «...нос острый, глаза впалые, виски вдавленные, уши холодные и стянутые, мочки ушей отвороченные, кожа на лбу твердая, натянутая и сухая, и цвет всего лица зеленый, черный или бледный, или свинцовый». Конечно, только при помощи зрения Адуляр не мог определить, холодные ли уши у этой кошмарной тетки, но во всем остальном она вполне соответствовала старинному описанию.

Тут тетка зашипела — точь-в-точь как змея! От злости ее веки сморщились, а цвет лица стал еще мертвеннее, хотя, казалось бы, мертвеннее уже и быть не может! «Если же сморщится веко, или посинеет, или побледнеет, а также губа или нос, — вспоминал дальше Адуляр, мысленно загибая пальцы, — то должно знать, что это смертельный знак. Смертельный также признак — губы распухшие, висающие, холодные и побелевшие». И в самом деле, нижняя губа тетки в бессильной злобе отвисла, и по ней потекла обильная слюна.

— А ну не подходи, клятый дядька! — заверещала она. — Ты знаешь, кто я такая?!

В ответ бронзовозубый богатырь рассмеялся, да так, что задрожали стены.

— Гляди в оба! — не сдавалась тетка. — Фонарь мой — Голубой Нетопырь! — и она угрожающе потрясла своим газовым фонарем, который в ответ как-то не слишком убедительно задрезжал. — А метла — Цунами и Разлука!.. И нож мой зовется Голлод, а миска — Жажда!..

И действительно: большой кривой нож и помятая жестяная миска болтались, позвякивая, на ее поясе.

— А сама я — Пучина Ненасытная! Известь Негашенная! — возопила тетка и, похоже, от собственных запугиваний сама пришла в ужас. — К чему прикоснусь, то мусором станет!

— Гм, не мусором, а прахом, — наставительным тоном поправил ее Альгакобила. — В чем дело, Матрена? Неужели за столько времени нельзя это выучить?

— А что тут неясного?

¹ «Гиппократов лик» (*лат.*).

— И все же прошу вас, Матрена, выражайтесь еще яснее. Тем более, что после негашеной извести вообще ничего не остается.

— Один черт! — рявкнула тетка, во рту ее клубился мрак. — Не до тонкостей теперь!

— Ты на кого это пасть отверзла, карга синюшная, известка старая?! — загремел богатырь голосом бабы Мани, так что Адуляра даже покачнуло от изумления. — Кого стращать вздумала? Того, кто слышит, как растет шерсть на собаках? Того, кто спит меньше, чем птицы, и видит на сто миль вокруг?.. Сдавайся, Мотька! Твой час пробил! Или видишь этот меч? Он зовется — Голова-с-Плеч! Как взмахну мечом — от тебя не то что мусора, воспоминания не останется!

— Ага, как бы не так! — огрызнулась Мотька, закрываясь газовым фонарем и огрызком метлы.

— А рог этот видишь?

— Тьфу на твой рог!..

— Сейчас как дуну в него, тебя тут же и сметет на край земли вместе со всем твоим барахлом.

— Врешь, Магнус! Все ты врешь! Никакой ты не богатырь, сколько не пыжься тут передо мной... Брюзга ты обыкновенная!..

— Ах, вот как! Ну держись, карга! — и, обнажив меч, Магнус устремился на Мотьку. Он так быстро вращался вокруг своей оси с вздетым над головой стальным клинком, что стал подобен сверкающему смерчу.

Противники сошлись, что называется, лоб в лоб. И тут случилось нечто непредвиденное. Страховидная тетка Мотька с визгом бросилась вон из комнаты, а кряжистый Магнус каким-то непонятным образом зацепился своей золотой серьгой за одну из ржавых пуговиц на Мотькиных лохмотьях. Увлекаемый стремительно отступающим противником, богатырь взревел от боли и схватился за оттянутое ухо. Противники теперь яростно катались по полу, пытаясь расцепиться и слепо тыча куда попадо мечом, метлой и газовым фонарем. Злорадно осклабясь, Альгакобилла воспользовался этой продолжительной заминкой и снова повернулся к Фарфоровому Льву.

— Вот он, твой смертный час, жалкий кусок глины! — торжественно воскликнул он. — Сейчас я швырну тебя на пол, и никогда, никогда больше не будет Короля! Останутся от него мелкие осколки. Прощай! Прощай! Вот я сейчас...

Тут терпение Адуляра лопнуло. Ему даже показалось, что он услышал громкий хлопок, когда оно лопалось, и это придало ему сил и уверенности. «Как! — промелькнуло в его ватных мозгах. — Как! Разбить Фарфорового Льва?! Разбить вдребезги! Фарфорового Льва, которого я купил на последние деньги в антикварном магазине и подарил Янке на Рождество?! Какая подлость!» Его тело и все члены налились просто-таки нечеловеческой силой, и больше ничем не скованные ноги сами понесли его навстречу Альгакобилле.

Со стороны все происходящее, должно быть, выглядело нелепо, но впечатляюще. Особенно, когда из-под переливающейся разноцветными огнями елки неуклюже выскочил самый настоящий Дед Мороз с развевающейся белой бородой и с душевраздирающим криком: «Так получай же, негодяй!», с размаха огрел Альгакобиллу по голове огромным мешком с подарками. Что за подарки диковинные были сокрыты в этом дивном мешке — неизвестно, но только на какое-то мгновение Альгакобилла совершенно исчез под ним. Одни лишь тоненькие ручки в черных перчатках и ножки в черных лакированных туфлях торчали из-под мешка. От столь сильного удара стекла в окнах со звоном разлетелись, и в комнату ворвался зимний ночной ветер. По инистому полу, рассыпая искры, покатился огромный изумруд.

— Смотрите! Смотрите! — раздался чей-то до боли знакомый скрипучий голос.

В окно влетел попугай Густав собственной персоной! Вид у него был радостно-возбужденный, а из клюва вместе со словами вылетали облачка пара.

— Смотрите все! — кричал он, кружась над поверженным Альгакобиллой. — Кукла! Это обыкновенная кукла!

В это время в комнату с утробным воем и истошными воплями хлынула целая толпа таких страхолюдин, в сравнении с которыми тетка Мотья выглядела размалеванной певичкой из затрапезного кафешантана. На их огромных кривых шляпах извивались какие-то лоснящиеся зубастые гады, откровенно жаждущие крови. Магнус Брюзга, который, к счастью, уже успел отцепиться от Мотькиной пуговицы, тут же ринулся в бой, неистово размахивая мечом и разя им направо и налево. Плохо сообщая, что делает, Адуляр склонился над лежащим на полу изумрудом. Дыхание у него перехватило, и все закружилось перед глазами.

— Хватай его! Хватай! — кричал ему попугай Густав.

— Хватай его! Хватай! — орала толпа, подступая к Адуляру.

Адуляр схватил изумруд и заметался из стороны в сторону, не зная, куда скрыться.

— Сюда! — вопил попугай Густав, порхая в проеме окна, в котором зияла зимняя бездна. — Сюда!

В отчаянном порыве Адуляр вскочил на подоконник, наступив себе на бороду, так что она наполовину отклеилась от лица, и в последний раз оглянулся на беснующуюся толпу страхолюдин. Сверкающий меч Магнуса со свистом мелькал над их головами. В следующее мгновение чья-то сильная рука подхватила Адуляра... Он летел куда-то в небо, а свежий морозный воздух звучал сотнями незримых труб и валторн, скрипок и виолончелей...

— Эль Нат! Витязь Эль Нат! — надрывался от восторга попугай Густав. — Ур-р-ра! Мы победили!

Тот, кто не спал в эту Рождественскую ночь и случайно оказался на Андреевском спуске, мог видеть картину, которая запомнилась бы ему на всю жизнь: на самом верхнем этаже Дома-Замка, в проеме разбитого окна появился вдруг витязь верхом на полупрозрачном коне «бутылочно-зеленой» масти, с ног до головы закованный в броню, с игрушечным Дедом Морозом под мышкой, и затем прямо по воздуху во весь опор поскакал куда-то в ночь, рассыпая вокруг себя брызги изумрудов. Следом в проеме того же окна появилась черная тень, которая яростно жестикулируя, выкрикивала проклятия и угрозы. Тень бросилась догонять всадника, но, не сделав и трех шагов, сорвалась вниз, как будто морозный воздух проломился под ее ногами, и падение ее сопровождалось пронзительным воем. С тупым отрывистым стуком тень рухнула у самого подножья Дома-Замка. С высоты хорошо была видна, освещенная бледным мерцанием уличного фонаря, черная паучья фигурка, распластанная на обледенелом кирпичном тротуаре. Свет в окне сразу погас, и наступила тишина. Всадник стремительно удалялся, растворяясь в ночной мгле. И только белый попугай, обитатель южных широт, несмотря на лютый мороз, бесшумно описывал замысловатые круги над неподвижным флюгером башни, изредка оглушая тишину торжествующим хохотом. А по Андреевскому спуску, пугаясь в полах длинного пальто и задыхаясь от волнения и уста-

лости, бежал какой-то пожилой человек. Шляпу он потерял, седые волосы его и борода развевались на ветру. «Густав! Густав! — кричал он. — Пророчество сбылось! Ты слышишь, Густав? Сбылось! Мы победили!..»

Вот что мог увидеть случайный ночной прохожий, окажись он в эту Рождественскую ночь здесь, на Андреевском спуске. Но если даже таковой свидетель и существует на самом деле, то, скорее всего, он будет молчать, справедливо полагая, что ему все равно никто не поверит, а если и поверят, так неприятностей потом не оберешься, это уж точно. Да и как может быть иначе в этом мире?..

**КНИГА ГРЁЗ
И СНОВИДЕНИЙ**

ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ

*Уцелевшие обрывки писем Сказочника Адуляра
Адорнасу Сквелекейле, другу и великому композитору*

ЗОЛОТЫЕ ЛЕПЕСТКИ

Тексты, написанные на пустых цветочных горшках

[...] После твоего ухода в Доме Магора почти ничего не изменилось. Впрочем... Помнишь, в келье моей вместо окна — рисунок с изображением зимнего ландшафта? Оказывается, при слабом нагревании он покрывается зеленой листвой, превращаясь, таким образом, в летний. Совершенно случайно я обнаружил это сокровенное свойство рисунка, когда поднес к нему ярко горящую свечу, чтобы лучше рассмотреть пейзаж. Говорят, рисунок был сделан самим Парацельсом.

Под этим подобием окна — письменный стол, как и прежде. На нем — две книги: «Духовные исповеди» Мейстера Экхарта и «Зубдат ал-хакаик, или Сливки истин», Азиз ад-дина Насафи. Люблю открывать их наугад — соответственно, по четным и нечетным дням. Сегодня очередь Экхарта. Вот, послушай и ты, что мне открылось:

«Если бы самый последний ангел отразился или родился в душе, то в сравнении с этим весь мир показался бы ничем; ибо от единственной искорки ангела зеленеет, и цветет, и светится все, что есть на земле».

И далее:

«Никому не принадлежит мир в той мере, как тому, кто отказался от всего мира».

А еще на моем столе — песочные часы. Я смотрю на них и вижу, как время течет с небес на землю [...]

[...] на самом дне этой лодки. Неподвижно лежу на спине — без сил, без чувств, без мыслей. Вокруг пустота. Слышны только редкие всплески весла... Эхо разносится в гулких сводах... Плыву... Не живой, но и не мертвый... На корме неясный силуэт. Чуть светится, будто изнутри... Осанка царственная. Весло в руках — словно жезл божества, погруженный в темную воду моей жизни, моей судьбы. Глаза полны серебра. Тиндалин, последний эльф на земле. Позади мрак, впереди — тоже. И сам я до краев им наполнен, он из глаз моих льется... Холодно...

Вот то небольшое, что я запомнил. А кажется, было все это вчера!.. Я так думаю, друг мой Адорнас: раз уж существует Днепр Подземный — значит, должен существовать и Днепр Небесный. Крылатый Город над его крутыми берегами — в том месте тайном, где сливаются воедино три реки [...]

[...] Ты спрашиваешь, не знакомо ли мне в связи с моим печальным заточением на чернолетучем корабле Альгакобиллы имя бабы Кварты. Нет, кажется, это имя при мне не упоминалось... Но многого я попросту не помню, поскольку был в ту пору, как мне теперь кажется, кем-то вроде безумца, который заключал в себе все странствия, путешествия и паломничества, совершаемые во все стороны света и с любой мыслимой целью — лишь бы только цель эта имела на себе хоть малейший отблеск красоты, благородства или святости. Разумеется, не исключалась и ирония, точнее самоирония, которая всегда сопровождает путника, если, конечно, он не ханжа, не сноб и не фанатик. К несчастью, цели так часто сменяли друг друга, что, в конце концов, жизнь моя превратилась в странствие ради странствия — и за лесом целей совсем потерялся смысл. Вот тогда-то я и очутился на летающем черном корабле. Хозяин его, Альгакобилла, всячески старался убедить меня, что больше нет никого в нашем мире, кто был бы подобен Орфею и чье божественное музицирование могло бы умиротворять стихии и облагораживать тварей земных, — так, чтобы тигры лобызались с газелями; нет никого, кто хоть бы отдаленно напоминал Франциска, этого *povegello d'Assisi*¹, и так же серьезно и торжественно нес Благоую Весть не только человеку, но и рыбам, птицам, зверям, улиткам, ящеркам и змейкам, что живут в горных скалах, и даже — самим скалам, и все они внимали бы ему... Речи Альгакобиллы были похожи на правду, но сердце подсказывало мне, что — лишь похожи. И чем больше говорил он, тем больше голос его напоминал треск раскальваемого камня. Но все это тебе хорошо известно.

Из существ женского пола помню только Альдрованду Дрозерацею с глазами демона красоты и с аквариумом вместо живота. На корабле все ее очень боялись. Думаю, и сам Альгакобилла опасался ее. К тому же, поговаривали, будто бы Альдрованда высосала у него один глаз, и теперь он прикрывает пустую глазницу крупным изумрудом. А второй глаз у него то ли деревянный, то ли оловянный, то ли чугунный. Чушь, конечно, полная, но

¹ Бедняка из Ассизи (*итал.*).

так говорят. Капитан Козлюль — тот и вовсе был без головы: на моих глазах он собственноручно выбросил ее за борт. Помню еще боцмана Хробака — человека жестокого и brutального, — который все время пил и нещадно избивал всех, кто подворачивался ему под руку. Вот, пожалуй, и все. Гораздо больше мог бы рассказать тебе пес матрос Петров, с которым я крепко сдружился в плену, — он провел на корабле несколько горестных лет. Но, к моему глубокому сожалению, во время побега мы потеряли друг друга, и с тех пор я его больше не видел.

А вообще, друг мой, я до сих пор с содроганием вспоминаю этот мерзкий корабль. От киля до кончиков мачт он весь пропитан трупным запахом, так что меня и сейчас мутит, когда я пишу тебе о нем. И еще я помню этот постоянный холод, от которого никуда не спрячешься. Кладбище живых. А может, обиталище мертвых... Не знаю. У этого корабля нет родины, нет порта приписки, нет названия. Его море — ночь. Безлунная, беззвездная... И он никогда не причалит к вершине Монсальвата. Это не корабль-остров из древних сказаний, на котором можно укрыться от враждебного мира, не корабль-призрак, являющийся из трансцендентального, и не Корабль Смерти, уходящий в трансцендентальное. Он — летающая Яма. Паруса его подобны трепещущим на ветру крыльям нетопырей, но не ветер наполняет их, а зловонное дыхание. И существа, живущие в этой парящей Яме — вовсе не традиционные гарпии или ламии, и даже не простые рептилии, — это какие-то не вполне оформленные сгустки злобы и бешенства. Нет языка, чтобы назвать их или описать. Я сказал о них — «живущие», но вернее было бы сказать — «мертвящиеся». Но главное — они «несут службу»! И само понятие «несения службы», применительно к этим существам, повергает меня в ужас [...]

[...] Это потом уже, в Доме у Магора, я впервые услышал зов твоей трубы. Звуки ее доносились из маленького слухового оконца — под самым потолком гостиной залы. Никогда этого не забуду. Бедный брат Атаназий Кловис! Он так и замер на месте со скрипкой в одной руке и смычком — в другой. Ни одной ноты не смог сыграть. Видел бы ты его лицо...

Вспоминаю наши с тобой ночные бдения, твою игру на флейте, на которой теперь и я пытаюсь играть. Получается плохо... Закрываю глаза и вновь, как тогда, слышу чудные звуки, дивные мелодии... Да хранит тебя Бог! Хотя ты всегда был осторожен в отношениях с духами. Что до меня, то я стараюсь идти по твоим стопам. Магор, наш Мастер-Наставник, постепенно посвящает нас, непутевых фамулусов, в суть и тонкости композиторского искусства, и, памятуя о тебе, я тоже ищу такие созвучия, в которых пожелали бы свить свои гнезда прекрасные духи, добрые гении [...]

[...] О, как же все мы, его ученики, далеки еще от истинного понимания Двадцати двух принципов эзотеризма, а также Тридцати двух путей мудрости и Пятидесяти врат разума! И какую бездну глубочайшего терпения выказывает Магор к нашей умственной незрелости. Ни капли зависти к нашей молодости, ни дьявольского желания овладеть нашими душами — одна лишь чистая любовь руководит им. «Я есмь ты», — говорит его взгляд. О несравненный Мастер! Иногда мне кажется, что он старше самого себя лет на триста, а уже через минуту все меняется: он светел, задорен, полон сил — он будто опьянен великой божественной мыслью, он моложе всех нас вместе взятых. Мы стремимся быть похожими на него, но, подобно юным титанам, которые еще не научились толком направлять рвущуюся из них силу, творим тысячи глупостей. Ну что же... Единорог трижды меняет свой рог, прежде чем станет мудрым и неуязвимым. А человек трижды познает свое будущее как непроявленное прошлое, чтобы в свое настоящее впустить все небесности мира. В этом суть его трех смертей, каждая из которых имеет свою собственную жизнь [...]

[...] И снова Магор воздел руку, в который раз призывая нас к тишине. И когда мы наконец угомонились и даже неожиданно для себя самих насладились несколькими мгновениями полной тишины и покоя, он сказал — не радостно, не грустно, — что все мы здесь покамест творим лишь Малое Делание, точнее, только пытаемся его творить. А Великое Делание — еще далеко-далеко впереди. Но и Малое для нас — Великое. «А чем, собственно, одно отличается от другого?» — спросил брат Патрикей, который обычно, с молчаливого согласия остальных братьев-фамулусов, задает «неудобные вопросы». «Ничем, собственно», — бесстрастным тоном ответил Мастер-Наставник. И разъяснил: «Великое Делание уже само по себе целиком заключено в Малом, потому что Малое Делание несоизмеримо шире Великого, в то время как Великое, в свою очередь, несоизмеримо глубже и могущественнее Малого». Потом взял за руку брата Патрикея и вывел на середину лаборатории, в которой мы все толпились, тесня друг друга в молчаливом ожидании. «Перед тобой расходятся семь направлений, продолжал Магор, смотря брату Патрикею прямо в глаза. — Выбери одно — то, которое заключает в себе шесть остальных. Если ты видишь перед собой Вход и Выход, воспользуйся сначала первым, тем более что второе тебе может и не понадобиться. В пути оставайся неподвижным, а удерживая неподвижность, старайся ни на йоту не прерывать движение. И всегда иди только вперед, даже если идешь назад. Ориентируясь на сияние Луны, следуй по направлению к Солнцу».

По окончании занятия брат Патрикей, вытирая со лба испарину, заявил нам, что пускай теперь кто-нибудь другой задает «неудобные вопросы», а с него хватит [...]

[...] Похоже, мы совсем запутались. Настоящий замкнутый круг! Суди сам: чем больше знаешь — тем больше можешь; чем больше можешь — тем меньше хочешь; чем меньше хочешь — тем меньше знаешь; чем меньше знаешь — тем меньше можешь; чем меньше можешь — тем больше хочешь; чем больше хочешь — тем больше знаешь [...]

[...] Ах, дорогой друг, только ты один и можешь по-настоящему понять, что со мной происходит, ибо и сам ты прошел теми же путями. Разум мой сокрушен. На что опереться, куда ступить?.. Непостижимое поселилось во мне, стало мной или, по меньшей мере, частью меня. Страх перед его грандиозностью сковал мое сердце и все мое существо. Возможно, скажешь ты, из-за этого страха я преувеличиваю тяжесть своего нынешнего положения. Возможно... Но временами мне кажется, будто меня лишили разума, и тогда я сам себе напоминаю «дышащий труп» — «*spirans cadaver*», — как некогда выразился отец Иероним. Так что я совершенно потерялся в хитросплетениях Лабиринта, в который без всякой подготовки бросил меня Магор, и, как следствие, перестал различать границу между *Diesseits* и *Jenseits*¹. Миры беспрестанно множатся, отражаясь один в другом, — все эти *mundi archetypus, intelligibilis, phaenomenon, sensibilis*², — и я уже сам не знаю, кто я: та пылинка, что объемлет все эти миры, или та пылинка, что составляет их — в числе бесконечного множества других? Мне представляется, что человеком я уже перестал быть, но и богом не сделался. Ничто! — вот приговор, который я сам себе выношу каждый день. Однажды я поймал на себе взгляд Мастера-Наставника. О, что это был за взгляд!.. Мне даже показалось, будто Магор так и сказал: «*Nihil est!*...»³ Нет, Адорнас, конечно он этого не говорил, во всяком случае, вслух. Но я все равно услышал этот жестокий приговор: «*Nihil est!*» Я упал к его ногам и разрыдался. Возложив на голову мою руки, теплые и весомые, Магор тихо промолвил: «Знаю, как трудно тебе, сын мой», — голос его был ласков, как шорох муара; впервые назвал он меня сыном. «Человеку, который столько вытерпел, столько вынес, — продолжал он, — не стыдно ли уподобляться лаватере — растению, которое долгие годы терпеливо переживает жесточайшие морозы, а когда наконец расцветает, становится вдруг таким нежным и слабым, что сразу гибнет?»

А уже через несколько часов начался новый день [...]

¹ Мир действительный, реальный, и мир сверхъестественный, потусторонний (*нем.*).

² Миры идей, умопостигаемый, явлений, чувственный (*лат.*).

³ «Ничто!...» (*лат.*).

[...] Стыдно признаться, друг мой Адорнас, но, несмотря на всю мою веру от рождения, внутренний голос нашептывает мне, что никаких так называемых «рыцарских времен» на самом деле никогда не существовало. Лишь рыцари-одиночки были всегда. И все «рыцарские времена» помещались единственно в их сердце. Именно в нем совершались бессмертные подвиги, великие деяния и невиданные чудеса. Окружающая же жизнь была убога и порочна, как бы ни тщила она подать себя нарядной и гармонично-возвышенной. Она стремилась к «реальности», а под «реальностью» разумела лишь то, что смертно, ибо, как мне теперь кажется, только смертное можно завоевывать, терять и вновь отвоевывать, отдавать в заклад, продавать, и покупать, и передавать в наследство. Думаю, само понятие «рыцарские времена» есть отрицание рыцарских времен. И чем больше рыцарей, тем их меньше... Носители пустых имен и титулов. В походе их оруженосцы и слуги влачат за ними следом увесистые фляги с вином, бурдюки с пивом, многодневные запасы хлеба и сыра, пирогов с форелью, семгой и угрями — и все это завернуто любовно в белоснежные салфетки с фамильными гербами и вензелями, к которым они питают необоримую страсть. Доспехи их увешаны золотыми гульденами и ноблями, которые позвякивают при каждом шаге, внушая всем вокруг благоговение и зависть. Везде и повсюду они величают себя рыцарями. Но на самом деле они — мясные солдаты, ландскнехты своего чрева, посланцы смерти. И столь телесны они, что даже подвиги их и злодеяния — не столько осознанный выбор в сторону добра или зла, сколько мятеж духа, в отчаянии стремящегося пробиться сквозь ожиревшую телесность, сквозь толстую броню панцирей. И поступки их в них же самих рождают изумление великое...

Наверное, не достает мне настоящей веры. Очевидно, беда моя коренится в моих желаниях — они всегда остаются неутоленными. А желания и вера, как ты понимаешь, — вещи разные, если не сказать противоположные, и горе тому, у кого второе целиком зависит от первого. Может быть, во мне слишком много

иронии и мало святой наивности, чтобы почувствовать себя настоящим рыцарем, а не литературным, каковым я, положив руку на сердце, остаюсь до сегодняшнего дня.

Как-то раз, после очередного урока фехтования под руководством Полковника Ферাপонтова, «воина победоносного и непобедимого», я спросил Магора: зачем мне все эти военные экзерсисы с выпадами, обманными уловками, скачками, т.е. всем тем, что способствует утверждению *jus gladii*¹, — ведь если я есмь Сказочник (читай — Поэт!), то к чему мне меч или палица? Не правильнее ли было бы все мои силы, духовные и физические, сосредоточить на «утешении философией», на поисках *Magnum ignotum*², на любовных элегиях, на сентиментальных *joy of grief*³ и *la tristesse douce*⁴, на категорическом императиве и логике сердца, и вообще — на всех тех «дарах, что пленяют людей и богов»... Говорил я возбужденно, сбивчиво, смешав в одну кучу Бозция, Стерна, Канта и Овидия. В ответ Магор рассмеялся. «Все перечисленное тобой, — сказал он, — не более чем словесные мензурки, в которые ты хочешь вместить вещи необъятные, и тем самым умаляешь эти вещи. Тот, кому выпал путь, а не суeta и метания, не имеет права быть кабинетным философом, настольным поэтом или сказочником из шкатулки. Сам Господь Бог направляет его по дорогам мира, и все стихии помогают ему. И если пришло время любви, спой ее так, чтобы небесная родина отозвалась благодатью на твой чистый призыв. А коль скоро пришло время битв, отложи перо и возьми в руки оружие — и будь рыцарем без страха и упрека, чтобы победить, либо пасть с честью. А если страждущие душой и телом окружают тебя, будь врачомателем их ран и, руководствуясь знаниями о расположении светил, применяй травы, камни и слова». И еще Мастер-Наставник сказал: «Если ты хочешь построить дом, научись сначала производить все необходимые расчеты, и потом строй так, чтобы все пять стихий соединились в едином образе, стали храмом. И затем разбей сад по всем правилам искусства — так, чтобы сам дух места возрадовался и питал его своим вдохновением...» Словом, каждый мой шаг должен быть мастерским, т.е.

¹ Право меча (*лат.*).

² Великое неведомое (*лат.*).

³ Упоение слезами (*англ.*), т. е. наслаждение горем, печалью.

⁴ Сладостная печаль (*франц.*).

строен, как ритм, отточен, как драгоценная рифма, как звук — созвучен звуку. Любое, даже самое малое деяние мое должно подчиняться Великому Целому и отражать его. В таком подчинении и отражении заключается все служение правде. Они, собственно, и есть сама Правда — в человеческом обликии. Так говорил Наставник, и мир прояснялся и расцветал прямо у меня на глазах. Вся моя жизнь представала передо мной как на ладони, и новые надежды рождались в моем сердце...

...Кстати, я слышал, где-то там, в городе, ты сражаешься с крысами. От тебя давно нет вестей. Напиши хоть несколько слов. А я возвращаюсь к своим экзерсисам [...]

[...] А я все спал и спал...

И снился мне тот Город, древний и седой, поросший лесом вековым... Стук дятла... Шорохи грибов растущих. Или гномов... Имен давно забытых сполохи: и Ланселот, и Лоэнгрин, и Парсифаль, и Галахад — впервые будто бы вкусил я аромат, знакомый с детства. Великим, новым смыслом озарились эти имена. Я слушал музыку Грааля.

Я слушал, и я спал — но было больше правды в этом сне и в этой музыке, чем в суете, и грохоте, и скрежете всего полуденного мира.

О Галахад, о Парсифаль, о Лоэнгрин, о Ланселот!..

Их мало, мало, но величье славы их неизмеримо. Чем меньше рыцарей, тем больше рыцари они. Искатели небесной манны — золотой как мед, как слезы тамариска — сладкой. Огня и ветра люди. Из света сотканые одеянья в пути их защищают, и скромно зацветает живокость в их честь [...]

[...] Долго и внимательно смотрит на меня Магор. Повернется дневной стороной лица — глаз ясный, лучистый; повернется стороной ночной — глаз темный, непроглядный, завораживающий... И пока он так смотрит, мне кажется, будто я еще и не жил вовсе на этом свете. А потом он и говорит: «Чтобы слышать, научись сначала молчать».

Вот тогда-то, Адорнас, я и принял обет молчания. Сроку мне было отпущено год, месяц и еще день. Ох, и тяжело же было поначалу! Внешний рот мой еще как-то удавалось держать на замке, но зато внутренний — совсем не закрывался. И как ни старался, не мог я стать тишиной: пыльная буря мыслей и слов вздымалась в моей голове. Любой звук, любое слово, произнесенное кем-нибудь вслух, отзывалось во мне гулким эхом, приводя меня в отчаяние. Так я метался среди своих собратьев, словно очумелый, с табличкой «Обет молчания» на груди, нигде не находя покоя и считая дни, как заключенный. Теперь ты понимаешь, почему от меня так долго не было писем: я не мог нарушить обет.

Постепенно я стал привыкать к своему новому положению, а точнее, к новому образу жизни. Слова все реже ранили мой слух. Теперь долгими часами я мог странствовать по просторам моей внутренней тишины. И удивительнейшие вещи открывались мне там! Вот только во сне я иногда еще болтал — то ли с кем-то, то ли с самим собой. Но вскоре и это прошло. Мое прежнее представление о мире растаяло, развеялось. Я ощутил небывалую легкость, и словно камень с души упал. Мысли стали подобны благоухающим ароматам, и из них потом уже произрастали прекрасные цветы и соцветия слов... Ах, друг мой, все это было так чудесно, необыкновенно, что я просто не в силах описать!

Не знаю, овладел ли я «языком бессмертных», как обещал великий суфий Руми, но по завершении обета говорить мне уже и вовсе не хотелось. Повстречав Магора в библиотеке, я не мог вымолвить ни слова, поскольку ни одно из просящихся на язык не представлялось мне достойным нашей встречи и, тем более, тех прекрасных и мудрых книг, что нас окружали. Мастер-

Наставник весело рассмеялся — веселее, чем я ожидал, — и собирался уже уйти... И вдруг я слышу, что я говорю. Я произнес всего лишь одно слово, а мне показалось, что целую речь. «Здравствуйте», — только и сказал я. И он отвечал, смеясь: «С возвращением!» [...]

[...] В предчувствии близости рассвета ощупью спускался я по скалистой тропе, тускло мерцающей под ногами. В бездонных ущельях сгустились все ночи мира. Сад циклопов. Угрюмый цветник исполинов... Неужто... неужто исчезну бесследно, как исчезали здесь все до меня? Неужто мне суждено блуждать здесь вечно, несмотря на то, что секрет тропы открыл мне сам эльф Тиндалин, несмотря на благословение Магора и мои долгие и пылкие молитвы?.. Но дальше, дальше — дрожали ноги в страхе оступиться, — шаг за шагом продвигался я, глотая холод и воду ползущих вокруг меня облаков, изредка останавливаясь, чтобы обозреть мутное движение небосвода: не воссияет ли первая утренняя звезда? Но тщетно. Рассвет не наступал, хотя и был где-то совсем рядом...

Тропа вывела меня на загроможденный окаменелым лесом пологий склон. И я вошел в тот лес. Тропа влекла меня все ниже, глубже. Гулко по камню стучали мои башмаки, и лес, гроыхая и гудя, тяжело ступал вместе со мной, едва поспевая, — гранит стволов покрывался мириадами трещин, раскалывался и рушился у меня за спиной.

Со всех сторон раздавались стоны, причитания и вой горных духов. Их ледяные космы больно хлестали меня по лицу, их пальцы хватили меня за одежды, пытаясь остановить. От ужаса я подвывал им. И мы слились в едином вое. Мы были громом, мы были ужасом...

Очнулся я на самом краю тропы, когда юное солнце уже поожгло края дальних гор. Я не мог поверить своим глазам! Позади меня, сколько хватало глаз, громоздились останки рухнувшего леса. Пыльное марево медленно таяло над его печальными развалинами...

...А когда я проснулся, Магор, немало удивленный, пояснил мне, что я побывал в Каменном Лесу, который эльфы на своем языке называли Garon Fear. Могучие исполины Апоети стерегут его. Ни одна птица не пролетит мимо них, а если и пролетит, то тут же упадет замертво и окаменеет. Дикие звери, поджав хвосты, обходят этот заколдованный лес далеко стороной. Если Осмахил источник и начало жизни, то Гарон Феар — ее конец. Рожденные в Осмахиле сновидения, подобно звездам, гаснут и умирают в Гарон Феар. Но именно здесь Тиндалин победил свою смерть [...]

[...] Увы, то были обыкновенные земляные мыши и кроты, тени которых я принял сначала за могучих воинов, а потом и того хуже — за прекрасных эльфов! Потешаясь надо мной, они пропищали на прощанье свой незатейливый куплетец и вытолкали меня прочь за порог. Дверь со скрипом захлопнулась за моей спиной, и я тут же проснулся в следующий сон.

Роца свирелей обступила меня со всех сторон. Пронизанная косыми лучами заходящего солнца, она дышала как древесный орган. Не оглядываясь, побрел я куда глаза глядят. А где-то вдали, тропую тайной, катили бочонок с элем два эльфа хмельных, и веселая песня их разносилась над золотистой рощей, подсказывая мне путь.

Выйдя на открытую небесам поляну, я срезал одну из миллионов свирелей — самую легкую, самую тонкую, — и, возносясь мечтами к далекой возлюбленной моей, приложил ее к губам и уподобился ветру. Я играл на ней розу. Я выигрывал великолепный бутон ее, лепесток за лепестком; ее стройный стебель; ее аромат. И каждый звук моей свирели благоухал, будто рожденный в раю. И я все ждал, что где-то там, за гранью моего сна, возлюбленная моя и моя роза вот-вот соединятся...

Ночь настигла меня на полпути... И зима вместе с нею. Искристым инеем покрылась роца свирелей, и поэмка заметала мой след. Тропинка исчезла во мгле, и небывалая легкость окрылила меня — казалось, я шел повсюду. Я шел, как идет снег... Далеко-далеко впереди, меж бесконечных рядов завьюженных свирелей, перемигивались огни. И тогда я взял свою свирель и приставил к глазу, будто подзорную трубу. И увидел высокие башни Замка, увенчанные снежными шапками, и ярко освещенное окно. У окна сидела моя возлюбленная и серебряной нитью прошивала мою одежду — одежду странника. Белая рука ее двигалась плавно, игла посверкивала, будто алмазная, и улыбка трепетала на ее устах. Полыхало в каминах пламя, сотни горящих свечей озаряли залу, по стенам которой проплывали в торжественном танце стройные тени кавалеров и дам...

Уже на заре я выбрался на широкую дорогу, оставив позади и роцу свирелей, и снежную зиму. Пустой бочонок из-под эля

стоял у обочины, лесные колокольчики цвели вокруг него. Прижавшись ухом к дубовому боку, я услышал все ту же веселую песню двух эльфов хмельных. И я снова взял свою свирель и опустил в бочонок, зная, что в эту минуту возлюбленная моя любуется моей розой.

А лесные колокольчики говорили мне, что до Холма уже рукой подать [...]

[...] Уроки воинского мастерства продолжаютя. Фехтую, стреляю и днем и ночью; метаю копья, камни, жребии, громы и молнии... И здесь широкое поле для фантазии. «Осталось еще научиться метать икру», — как-то неудачно пошутил брат Павсикакий, за что был наказан многочасовыми строевыми занятиями. Полковник Ферапонтов, на братской могиле которого вместо дат рождения и смерти стоят вопросительные знаки, обучает меня основам баллистики. Смотрю я на этого бравого воина с пращой в руке и не перестаю диву даваться. Когда ему не с кем воевать, он воюет с самим собой. Даже к кончикам усов его привязаны металлические шары с острыми шипами. Говорят, в одиночку он способен противостоять пирровой фаланге! Все это выше моего понимания, так что вряд ли я когда-нибудь стану столь же искусным в военном деле, как Полковник Ферапонтов... Зато я уже научился спать стоя. Могу спать прямо в строю и даже на марше. И даже видеть сны! Кстати, в одном из них мне посчастливилось лицезреть несохранившееся произведение Плиния Старшего «О метании дротиков с коня». Безжалостное время поглотило эту замечательную книгу так же, как самого автора поглотила вулканическая лава. Но мой сон оказался могущественнее — и я прочитал ее [...]

[...] Если ты завоевал право на слово, то имеешь и право на меч:

word sword¹

Однако оба права необходимо подтверждать изо дня в день. Ты обязан охранять царство огня любви от мира страданий [...]

¹ Мир меч (*англ.*).

[...] формата in folio, вырванный из какой-то рукописной книги, и я поднял этот лист с пола: бумага пожелтевшая, буквы крупные, золотистые. «О мой король...» — прочитал я и даже невольно обернулся, словно за моей спиной находился тот, к кому были обращены эти слова. Однако кроме меня в коридоре никого не было. «О мой король, мой повелитель! — продолжал читать я. — Нет светлее облика, чем твой, и проще одеяния, чем твое. И нет ничего в целом мире более белого и более алого, разве только — само небо и сама кровь И любовь твоя как жажда, которая сама себя утоляет...» Странные слова, загадочные, они меня взволновали. Я снова перечитал их: тревога моя усилилась. Я взглянул на обратную сторону листа: какой-то бессмысленный набор букв, слепленных в тарабарские слова, к тому же — вверх ногами. Впрочем, долго ломать голову не пришлось: поднеся страницу к зеркалу, я без труда прочитал следующее: «О мой Шут, мой раб! Нет мрачнее облика, чем твой, и пестрее одежек, чем твои. И нет ничего в целом мире более тяжкого и более легковесного, разве что только — сама правда и сама ложь. И любовь твоя как та жажда, что никогда не бывает утолена...»

Да, тут было над чем задуматься! Вдобавок ни «королевская» страница, ни «шутовская», не были пронумерованы... И тогда я подумал, что, быть может, в руках у меня — центр некой, в данную минуту неизвестно где находящейся, книги, ее «краеугольный» лист, нулевая точка. Я бы даже сказал, ее пуп. Но где же сама книга?..

Как ты уже, наверное, догадался, я намерен отыскать ее, чего бы мне это ни стоило. А посему — благослови меня! [...]

[...] Ты снова пишешь об искусстве и совершенстве. И вот о чем я подумал, друг мой: может быть, искусство жития и искусство умирания (*ars vivendi et ars moriendi*) для всякого человека, живущего на Земле, — по-прежнему самые великие и насущные из искусств? Не от них ли происходят и все остальные?

Кто постиг искусство жития, постиг и искусство умирания, ибо на Земле, согласно философам, житие и умирание суть одно. Но в таком случае, тот, кто овладел этими искусствами в совершенстве, возвышается и над их несовершенством: ведь он прикасается к тому миру, где нет совсем никаких искусств, но из которого все они, чтобы осуществиться на земле, берут свои истоки, — к миру Благодати...

И если каждая вещь, как пишешь ты и как утверждает Магор, «чревата своим будущим совершенством», тогда не все ли равно, из чего именно Мастер добудет свой Камень: из земли, именуемой *Humus*, из росы, именуемой *Roh*, или из мочи, именуемой *Urina*. Сам Голланд говорит: «Прежде чем наш камень сотворится, то живет уже он».

Я думаю, мало знать, что все стремится к своему совершенству, и, скорбя о мире сегодняшнем, утешаться этим знанием. Приходится всегда быть настороже. Ибо сила нашего Искусства столь велика (несмотря на его частную, но не всеобщую завершенность в том же соотношении, какое существует между камнем философа и Вселенной Бога), что оно, Искусство это, могло бы уже из одного только тщеславия манифестировать себя, обращая совершеннейшее золото философов в заурядное золото вульгарной толпы. Ведь необоримое искушение многих адептов толкало на несправедный путь — путь ухудшения природы. Одни пытались из бездушной куклы сотворить человека, другие — из человека куклу. Но нет во всем этом ни любви, ни совершенства, а следовательно — и самого Искусства [...]

[...] И все, что ты совершаешь и делаешь, о Философ, должно быть медом, если ты Философ, о Философ! [...]

[...] Но тогда встает вопрос: Божественное уже изначально в веществе или Его необходимо призвать, влить, вдохнуть? Мы ведем об этом бесконечные споры и никак не можем прийти к единому мнению. Ох, как иногда хочется забросить все это куда-нибудь подальше и просто валяться в поле среди душистых трав и бездумно смотреть в небо! Но, похоже, я и сам себе уже не хозяин.

И вот я снова и снова окунаюсь в штормящее море ученых диспутов:

«Но если подобное притягивает подобное, то не означает ли это, что чаша притягивает к себе вино, лист бумаги — поэму, музыкальный инструмент — музыку? И тогда, как некая возможность, чаша уже является кораблем, лист бумаги — поэмой, музыкальный инструмент — музыкой. Корабль — это море, а птица — это небо...»

Или вот еще из наших диспутов:

«Вечно отрицая друг друга и так взаимодействуя, противоположности только и могут входить в это самое взаимодействие — при единственном условии, что каждая имеет в себе некоторую долю утверждения того, что она отрицает. Отсюда философу дарована возможность постичь огонь воды и землю воздуха...»

Или вот:

«То, что может гореть, изначально включает в себе огонь; то, что течет, имеет в себе воду; то, что испаряется, обладает воздухом, и т.д. и т.п. Понимая этот принцип, философ видит внутреннюю диалектику вещей, ему открываются все превращения потенциального в актуальное и та точка абсолюта, в которой мягкое становится твердым, медленное — быстрым, слабое — сильным, холодное — горячим...»

Мастер Магор редко вмешивается в наши споры. Он то уходит, то возвращается, слушает, подмигивает, позевывает, улыбается, хмурится... Иногда в глазах его можно увидеть изумление. Редкое слово слетает с его уст.

Однако если бы он спросил меня, что я думаю о веществе, о его природе, я, наверное, ответил бы так:

«Мир остановился бы и прекратился, если бы не произрастал из Божества. А потому вещество божественно исконно» [...]

[...] если быть до конца последовательным! Что ж, вот я и стараюсь быть последовательным до конца. Но тогда я со страхом замечаю, что нет здесь ни конца, ни начала. И почти ничего в этом мире мне не принадлежит — даже бóльшая часть того, из чего состоит мое я! Этот страх отторжения сладостен. И, наверное, потому я стремлюсь дальше, и какой-то неземной голос внутри меня говорит мне, что изначально мне принадлежит одна лишь вещь: способность к бессмертию. Я есть способность к бессмертию. Друг мой, в этой мысли так мало человеческого! Я не знаю, как жить с нею среди людей... Она подавляет меня своим величием.

Мне говорят: жизнь проистекает из смерти, и оттого-то путь человека полон сожалений, печалей и скорбей, равно как и радостей, восторгов и счастья — и все это сплавлено воедино, как Ртуть и Сера...

Мне говорят: будь стойким, и ты увидишь, как страх отторжения превратится в отторжение страха. Отдай миру все, что тебе не принадлежит; то, что останется — и есть ты... Но что, что еще я могу отдать? У меня и так уже ничего не осталось! И когда я так говорю, то и сам себе не верю... Отдай свою смерть, говорят мне... И тут я понимаю: да это же я сам себе говорю. И что самое ужасное: мои мысли не заботятся о моем понимании.

Прости за все эти излияния. Должно быть, я просто устал [...]

[...] Это правда: уж очень далеко отклонились мы от того мира, в котором любая форма некогда уже была собственным звуком и цветом, и ничто из них не было разделено, и все пребывало в целостности и подвижности...

Имеющий разум должен быть отважным и стойким — ведь ему придется принять и обживать печальную разделенность в себе и вокруг себя как данность и, возможно даже, как горькую необходимость. Так изгнанник учится достойно жить на чужбине; но все помыслы его все равно устремлены назад — к родине: ведь только там он и мог бы быть подлинно счастлив. И каждый новый день встречает он с надеждой и с надеждой его провожает. И неизменно солнце восходит на востоке и заходит на западе, и всегда это два разных звука [...]

[...] Так пусть же моя жизнь снова станет совершенной — ведь именно таковой и одарил меня Бог еще задолго до того, как земля одарила меня моей смертью. Я верю: дар Божий совершенен и безвозмезден, он пребудет со мной и во мне вовеки веков. Он целиком принадлежит мне. Ведь только земля отнимает то, что дает. Господь — никогда [...]

[...] Скажи же, друг мой, не потому ли столь остро соперживаем мы прекрасной музыке, не оттого ли так замирает, сжимается сердце, что из всех созданных вещей и явлений звук, говорят, был первым, а от него, или с его помощью, уже родилось и все остальное?

Но ведь эта прекрасная человеческая музыка — всего лишь бледный отпечаток или вечно ускользающий аромат Музыки Божественной, которая не убывает никогда... И все же! И все же, друг мой, даже этот тающий отпечаток, это легкое дуновение, эта зыбкая тень — не говорят ли они нам, что смерти нет?

Когда я покину свое тело, я стану музыкой [...]

[...] Да, Адорнас! Есть для меня нечто непостижимое во всей моей жизни — как тот «образ неведомый», призрачно мерцающий между словами. Все эти мои бесконечные странствия, скитания в поисках *les neiges d'antan*¹, все мои усилия вырастить Розу живую из опустевшего имени ее — *Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus*²... Господи, что может быть более тщетным, бессмысленным! Думаешь, я не способен это понять? Просто не могу жить иначе. Отказаться от новых попыток, даже если они мне самому кажутся бесполезными, выше моих сил. Друг мой, именно в них вся моя улада и вся горькая соль моей природы. И я ничего не хочу здесь менять.

Брат Павсикакий называет это одержимостью и шарахается от меня, как от прокаженного. Гордыней зовет это брат Флоригард по прозвищу Улитка Сольми и, пряча от меня глаза, горестно вздыхает. А брат Атаназиус советует напиться разок-другой до изумления, и даже сам готов поддержать меня в этом начинании. Магор же... Он молчит. И его молчание подобно зеркалу, в котором отражается мое безумие [...]

¹ Прошлогоднего снега (*старофранц.*).

² Только имя от розы, пустое имя осталось нам (*лат.*).

[...] Друг мой, как глубока и прозрачна эта ночь: божественный напиток! Я пью и пью его прохладу и становлюсь нежным, как перо ангелова крыла. И перо в моей руке, поскрипывая, скользит легко по лунному сиянию бумаги — так что чернила букв тают в нем. И утлая келья, в которой едва помещаюсь я вместе с моим письмом, в ливнях лунного света истончается до неосвязаемости, до прозрачности... Слышу в углу под лавкой стрекот сверчка. Бесконечен пунктир его песни, обещающей вечную жизнь, и этот тоненький гольфстрим бессмертных уносит меня далеко-далеко — к своему истоку. Говорят, там — остров, похожий на корону.

Знаю, многие пускаются на поиски того чудесного острова, берега которого усеяны драгоценными камнями, блистающими в лучах никогда не заходящего солнца. И когда темные и мглистые океаны моих снов накатывают на меня со всех сторон, разливаясь от края до края, я тоже мечтаю о земле обетованной, и вот я уже лечу к ней, и даже вижу полыхающее золотом зарево над линией горизонта, но никогда не достигаю ее, никогда... А там, за вечно недоступным горизонтом, всё, как и тысячу лет назад: дворцы хрустальные с поющими фонтанами в садах, где на ветвях благоуханных деревьев живут говорящие птицы; все так же текут реки жизни и смерти; и нет ни ночи, ни голода, ни печали. Остров Блаженных! Центр Мира!.. Да, я не первый и не последний, в ком поселилась и живет эта греза, кто всегда и всюду слышит ее мелодичный зов. Многие пытаются проложить туда зримые пути-дороги, чтобы не только удостовериться в реальности существованиярая на земле, но и запечатлеть его в памяти, в песнях и на географических картах, но либо, на беду себе, сами становятся пылью этих дорог и испарениями этих морей, либо, в итоге, по злой иронии судьбы, открывают нечто, если можно так выразиться, «обратно трансцендентное» мистическому интересу, но зато целиком и полностью соответствующее интересам геополитическим. Именно так и случилось, например, с неким испанским сеньором: вместо Острова Блаженных он открыл обыкновенную Флориду для обыкновенного короля и его обыкновенных подданных. Куда больше

посчастливилось святому Брендану, который, может быть, именно благодаря своему счастью и стал святым, а может, наоборот, счастьем своим обязан своей святости: уж он-то ни за что не стал бы утверждать, что будто бы в этом мире человек всегда находит не то, что искал.

Но в чем же тогда смысл этих исканий? Бесплотная душа человека низвергнута в поток времени для того, чтобы, страдая и любя, узнала она о своем существовании и полюбила себя; но и поток времени, в свою очередь, низвергается в человеческую душу, чтобы омыть с нее прах телесности. Тайна бытия времени — великая тайна. И хотя все буквально кричало мне о том, что разгадка этой тайны обретается на Острове Блаженных, где ничто не умалется, не увядает и не исчезает, однажды мне стало вдруг совершенно безразлично, постигну я ее когда-нибудь или нет. Я странник, а значит, дело мое и мой удел — странствие, т.е. я должен не столько рассуждать о времени, сколько быть им. Абсолютно оно или субстанциально, и состоит ли всякое явление из особого «хронального вещества», или оно — время — относительно, зависимо от скорости и величины события, и даже его величия, «материальной системы», гравитации, либо оно, как утверждают некоторые, просто функция скорости света — все это в конце концов ад и яд ученых споров, за которыми — скрывается неосознанное желание освободиться от страха смерти. Как бы там ни было, а всякая минута, которую человек осмеливается отмерить или измерить, таит в себе бесконечность и готова обернуться его смертью или вечностью; всякая пядь земли, на которую он ступает, может поглотить его, став ему могилой; и чтобы ни съел человек — сам себя поедает. К чему же обманывать себя? Ведь и во мне тоже живет страх, и потому, наверное, я так чутко, так жадно, с такой надеждой внимаю вибрациям, флюидам, которые неустанно эманурует *Umbilicus Terrae*¹. Со смешанным чувством грусти, удивления, отрады, даже нежности, вижу я, как день мой сегодняшний неудержимо плывет, ушльхает во вчера; он смешивается с бесконечностью Прошлого, сам становясь его бесконечностью. И тогда все это почти невообразимое и неисчерпаемое пространство времени со всеми его оставшимися там человеками и поколениями, народами и государствами, с их мгновениями и веками, солнцами и лунами, ро-

¹ Пуп Земли (*лат.*).

ждениями и смертями, со всеми их утехами, радостями и горестями, сплетениями судеб, надежд, фатумов и слепой игры случая, — все это каким-то непостижимым, но совершенно естественным образом вмещается без остатка в один-единственный день — в мой вчерашний день, который может быть живым — и живет! — исключительно в моем «сегодня». И все Прошлое Мира, включая и мое собственное прошлое, — лишь небольшая часть меня. Так неужели я не в силах овладеть этой частью?.. Для этого, говорит Мастер Магор, нужно всего лишь отказаться от обладания как такового. И еще он говорит: «Где семя взойдет, там и Центр Мира». Я понимаю, он имеет в виду, что в поисках чудесных островов следовало бы утруждать не столько ноги, сколько сердце... Но я готов и к тому и к другому [...]

[...] Отчего же тогда так тяжело у меня на душе? Еще вчера... о, еще вчера я был полон любви, и счастье мое было столь совершенным, что даже время, все дающее и все отнимающее, если и могло как-то повлиять на него, то не более чем перемена погоды. Еще вчера в моей маленькой келье пахло цветами, а сегодня в ней лишь запах мокрого снега... Брат Атаназий Кловис по прозвищу Ключик заверяет меня, что такое случается незадолго перед Великими Дурацкими Днями, а посему, дескать, мне следовало бы пропустить стаканчик-другой горячего глинтвейна с корицей, гвоздикой и мускатным орехом. Что ж, я последовал совету друга и пропустил даже все три стаканчика, для верности подкрепив вино некоторым количеством хорошей водки, но все это мне нисколько не помогло. Не знаю, Адорнас, что со мной. И вроде бы ни во мне самом, ни вокруг меня ничего не изменилось, не произошло каких-то особых событий; внешне — все как обычно, все идет по заведенному здесь порядку — гармоничному и всегда стремящемуся к прекраснейшей из целей — поиску смысла для всех вместе и для каждого в отдельности. Но почему-то мне кажется, что вещи, среди которых я живу, суть совсем не таковы, какими они мне представляются, точнее, какими они стараются казаться: внутри каждой — бесконечность, и, прикасаясь к ним, я словно зависаю над пропастью. Не без трепета открываю ту или иную книгу, ибо в любой из них — все та же пропасть, на любой странице, в любом слове. Даже сейчас, когда пишу тебе эти строки, я будто балансирую над бездной.

Сегодня утром случайно на глаза мне попался письменный отчет слухарей; они сообщали Магору, что ты больше не сочиняешь музыку, даже не притрагиваешься ни к валторне, ни к флейте, ни к виолончели, и якобы служишь теперь простым певчим в приходской церкви где-то на Подоле. Я читал этот отчет, коряво написанный на дешевой почтовой бумаге, и, полный грусти, пытался представить тебя на клиросе в числе других певчих, но почему-то видел лишь твою спину. Никогда не поверю, что ты бросил музыку... Потом мысленный взор мой устремился к моей возлюбленной, которую я не видел, кажется, столько же лет, сколько она успела прожить до нашей разлуки, и вдруг по-

нял, что теперь уж и не знаю, ее ли я люблю, или свое представление о ней, а точнее, свои письма о ней. Да, друг мой, как это ни прискорбно, но, похоже, все мы — и скромные фамулусы, и прославленные философы, — все мы не более чем герои и жертвы Текстов. Даже то обстоятельство, что тайна моего пребывания в этом Доме и неведомые мне цели, к достижению которых, насколько я разумею, готовит меня Мастер Магор, скорее всего так до сих пор и не изложены на бумаге, ничего не меняет: рано или поздно и эта тайна, и эти цели обретут свой письменный образ, станут Текстом — и мне не дано знать наперед, буду ли я его героем или жертвой... Как видишь, я в полном смятении. Я сам себе не нравлюсь, что и говорить! Брат Флоригард, желая утешить меня и обнадежить, утверждает, что у поэзии, войны и грома — одна природа, и никому из нас, поскольку мы не боги, не дано, подобно Вотану, удерживать в себе все эти качества одновременно и в полной мере, а потому они для нас — крайности, и бросает нас от одной к другой и к третьей. И вот видишь, я больше не радуюсь простым вещам, как радовался им когда-то, ибо теперь они для меня больше не являются простыми.

Но я спрашиваю себя, не кроется ли причина моих страданий в непостоянстве моего характера? Ведь еще вчера я мечтал об Острове Блаженных, а сегодня, будто понуждаемый каким-то духом противоречия, направляю свой взор в иную сторону, к совсем иному Острову — окруженный вечными туманами, одиноко стоит он где-то на сумеречном краю океана, там, где заканчивается мир... Остров Проклятья — одно из самых безобидных имен его. Способен ли я лицом к лицу сойтись и сразиться с его адскими призраками, вынести все его пытки и муки, избежать его коварные ловушки, развеять колдовские чары, что испаряет его отравленная почва? — вот вопрос, ныне не дающий мне покоя. Если уж я странник, то не должен ли я быть готов и к самому чудовищному из всех мыслимых путешествий, как были готовы к нему Святой Фурсей, монах ирландский, или юный Альберих, девятилетний отпрыск барона из Кампании, или Карл Толстый, король франкский? Болезнь, сон, обморок — вот те коври-самолеты, те крылья, могучие и бесплотные, что с легкостью могут перенести меня туда.

Помню, в одной скорбной обители, где судьба испытывала мой дух на прочность и наличие чувства юмора, я имел удовольствие знать одного милосердного священника — некоего отца

Станислава. Он любил рассказывать длиннющие, но довольно занимательные истории о подобных странствиях. Однажды, обычно спокойный и невозмутимый, он вдруг задрожал, как деревце на холодном ветру, и срывающимся голосом молвил: «Пусть всякий, кто отважится переступить Порог, знает: отныне он может уповать только на благоволение ангелов. Не будучи под сенью их крыльев, вряд ли возможно вернуться назад целым и невредимым. Чудовищные ожоги и увечья, потеря рук или ног, а то и головы — это еще полбеды: ему грозит оставить там свою душу! И тогда вернувшееся в мир тело его, слепое и глухое, до скончания времен будет бродить в потемках земных. Оно будет подобно засохшему дереву, на голых ветвях которого ни одна птица не совет себе гнезда...»

Не уверен, друг мой, настолько ли я храбр (не говоря уж об «избранности»), чтобы познать Преисподнюю своими плотью и кровью, как познали ее герои рыцарских романов Угоне Альвернийский, Гверин Злополучный и рыцарь Оуэн. Но, наверное, именно таким сверхэкстремальным способом только и можно постичь себя по-настоящему, ибо это и есть то единственное место, где самое глубокое и затемненное дно человека становится его обнаженной поверхностью; это то место, где нет больше ни заблуждений (даже если они во спасение), ни лжи (даже если она во благо себе и другим), ни малейшей возможности что-либо исправить или изменить. Справедливо ли это? Не знаю, друг мой, не берусь судить. Брат Павсикакий как-то раз подметил, что среди всех звезд Ад — это, пожалуй, единственная звезда, где зло оборачивается добром, поскольку соответствует, наконец, своему исконному месту. Там причина пожирает свое следствие. Там обитает зверь времени, и навечно остаться в его власти — что может быть страшнее и мучительнее! Не этого ли зверя лицезрел ирландский дворянин Тунгдал после своей смерти, и не потому ли ожил и стал иным человеком? Может быть, к истинному обновлению только так и можно прийти...

Впрочем, Мастер Магор не слишком одобряет мой «суровый энтузиазм». За избавлением от иллюзий, утверждает он, не обязательно отправляться так далеко: каждую минуту они умирают прямо у нас на глазах — достаточно просто навести фокус. К тому же, иные люди так нелепо устроены, что и среди цветов ухитряются жить, как в голой пустыне [...]

[...] О я! Муравей с душой до небес... Нет, не душа прикреп-лена к телу, но наоборот: маленькое, тщедушное, хрупкое тело на тонкой нити подвешено к необъятной душе и все время воло-чится, тащится за нею вослед, никогда не поспевая, капризни-чая и хныча как дитя малое, — и беспрестанно просится «на ручки» [...]

[...] думал, ничем меня уже не удивит этот Дом. Все-таки как противоречиво устроен человек: щедрая Судьба водворяет его в висячие сады Семирамиды, а он уже спустя недолгое время мечтает о маленьком огороде с грядками заурядного картофеля и репы.

Ну так вот, как-то раз, бесцельно блуждая извилистыми коридорами Дома Магора, я остановился перед одной из его многочисленных дверей. Ничем особенным эта дверь не отличалась от других ей подобных, просто мое внимание привлек тоненький лучик света, сквозивший из замочной скважины; пылинки золотились в нем. Скорее от нечего делать, нежели из любопытства, я прильнул к охлаждающему глаз отверстию, нисколько не предполагая увидеть за дверью что-нибудь из ряда вон выходящее: как обычно, там мог быть, например, Пифагор, играющий на колоколах и сосудах с водой, ударяя по ним деревянными молоточками; или доктор Фауст, напряженно застывший в самом центре магического круга и беззвучно шевелящий бледными губами, — в одной руке жезл, в другой — фолиант в черном переплете; или белый олень с золотыми рогами, говорящий с деревьями на их языке; или увенчанная драгоценной короной стеклянная колба, внутри которой борются три птицы — черная, алая и белая. Я мог бы увидеть там, как торопливо возвращается с кладбища Невинных младенцев домой Николя Фламель с рукописной Книгой Абрахама Леви за пазухой; или как под палящим палестинским солнцем, по пыльной дороге два храмовника скачут на одной лошади, и пустыня замечает их скудный след вместе с их негромкими именами:

Ma verace valor, ben meletto,
E di se stresso a se freggio assai chiaro¹...

С полным основанием я ожидал увидеть самого доктора Парацельса, при свете лучины пишущего об эфирном жидкостном флюиде — *Liquor Vitae*², в котором содержится природа, ка-

¹ Но истинная доблесть, пусть и непризнанная, находит достоинство в себе самой (*итал.*). — Т. Тассо, Освобожденный Иерусалим, II, 60.

² Эликсир жизни (*лат.*).

чество, характер и сущность всех живых существ, и о «магнетическом притяжении в астральных формах»; или г-на Кирхера — в ту самую минуту, когда он в присутствии Ее Величества королевы Кристины и с Ее Высочайшего соизволения восстанавливает розу из пепла; или графа фон Кюфшштайна в компании с аббатом Гелони, которые кормят розовыми шариками из серебряной коробочки десятерых уродцев-гомункулов, запечатанных в десяти бутылках из прочнейшего алхимического стекла... Повторяю, все это, или нечто подобное, я с полным основанием ожидал увидеть, и, надо заметить, приведенные выше образы, как бы опережая события, с молниеносной скоростью пронеслись в моем воображении, пока я приближался глазом к замочной скважине. Но совсем, совсем иное предстало взору моему, дорогой друг! То, что увидел я, показалось мне настоящим чудом — таким же, как грубый, обжигающе холодный, соленый огурец после изнурительных лукулловых пиршеств. Это был наш старый, милый сердцу Андреевский спуск с его покосившимися фонарными столбами и бугристой булыгой, весь поросший травой, подорожником и одуванчиками. Он ослепительно сверкал на солнце. Вверх и вниз, праздные и беспечные, прогуливались горожане с мороженым и пивом в руках; парни нежно обнимали своих девушек, стараясь поймать на лету их кокетливо ускользающие улыбки, — так, зачарованный пестрым узором крылышек редкостного мотылька, энтомолог подкрадывается к нему со своим сачком; циничные барышники с обветренными лицами и руками, бесстрастные ремесленники и экзальтированные художники торговали плодами чужих и своих трудов; уличные музыканты, изрядно опортвейненные, выстукивали на ксилофонах «Сонную лунату»; и всюду копошились голуби, из поколения в поколение склевывавшие старый Андреевский спуск. И так мне захотелось туда — к этим людям и голубям! Ах, друг мой, хотя бы один день прожить в таких вот незатейливых заботах и развлечениях, смешаться с толпой и не думать о некоем своем высоком предназначении... Когда-то, давным-давно, когда здесь в последний раз по этим грубым булыжникам простучали мои башмаки, это была самая безлюдная, самая забытая улица в мире... Ностальгические воспоминания обволакивали меня, и солнце слепило мой глаз. Вдруг что-то темное и мохнатое заслонило мне вид; я услышал учащенное дыхание за дверью и, едва успев что-либо сообразить, увидел черный, влажный

собачий нос, который с той стороны двери, сквозь замочную скважину шумно втягивал в себя мой запах. Пес Петров! — мелькнуло у меня в мозгу. Радостно взвизгнув, собака попыталась лизнуть меня в глаз. От неожиданности я отпрянул от двери, а потом распахнул ее настежь... Каково же было мое разочарование, когда за распахнутой дверью я увидел обыкновенную комнату, довольно просторную, с книжными стеллажами, большими напольными часами в углу и круглым столом посередине. И — ни единой живой души!.. Я быстро захлопнул дверь и снова прильнул к замочной скважине: Андреевский спуск... солнце... люди и их топот по бульвару, шарканье по желтизне узких кирпичных тротуаров... бижутерия, картины, трава, голуби — всё на месте! Кроме пса Петрова, если, конечно, это был он. Еще много раз я открывал и закрывал дверь — и все с тем же успехом. Да, да, друг мой Адорнас, мне только и оставалось, что развести руками.

Весь следующий день я искал ту каверзную дверь. Но так и не нашел [...]

[...] Ох, и любит же брат Павсикакий выражаться выпендрено! Дом, в котором мы все живем, учимся и сновидствуем, иногда прозреваем, а иногда и сумасбродствуем, или даже просто валяем дурака, — короче говоря, «рождаемся в муках», — Дом, который стал для каждого из нас второй родиной, брат Павсикакий называет Замком, Мандорлой, Агартхой, Лузом, а то и просто «костью, к которой прикреплена душа Города, подобно воздушному змею». Однако, и тебе это также хорошо известно, Дом Магора и на самом деле необыкновенен. Лабиринт коридоров и комнат, где всякого из нас вечно поджидает какая-нибудь неожиданность, какая-нибудь головокружительная история, в участника или даже героя которой можно превратиться в любую минуту. Временами, когда все это я ощущаю с особой остротой, Мастер Магор представляется мне этаким старым королем-добряком из седых преданий Золотого Века — наподобие короля Рене или царя Гороха, — а Дом, жизнью которого он мудро управляет, — Волшебным Дворцом, где среди многого множества секретных комнат есть одна — заветная: в ней-то и спрятано некое величайшее Сокровище. И все неутомимо ищут его. Я тоже ищу. Бодро, с высоко поднятой головой, отправляюсь на поиски, но уже через некоторое время возвращаюсь понурый, с тоской в сердце; снова и снова вхожу в одну дверь, а выхожу через другую — и никогда, никогда мне не удается войти в одну и ту же дважды, — совсем как в «реку Демокрита», — то и дело меня «заводит» в такие места, из которых, кажется, уже никогда не суждено вернуться, и все же каким-то чудом всякий раз я вновь оказываюсь в нашем Доме, в моей маленькой келье... Я не властен над всем этим, и потому не слишком тревожусь, вернусь ли сюда в следующий раз.

Как я уже сказал, не я один здесь столь пылкий искатель Сокровища. Брата Перископия, например, носило неведомо где целый месяц, и мы уже снаряжали экспедицию на его поиски, пока однажды он сам не выпал из какой-то двери прямо нам на руки — в полубморочном состоянии, худой и состарившийся лет на тридцать. Первым делом мы сняли с него лохмотья, в которые превратилась его одежда, и сожгли их в камине, а самого

Перископия несколько раз с головой окунули в теплую травяную ванну, что в сочетании с его именем нас даже позабавило. Бедняга так исхудал отощал и высох, что его можно было использовать в качестве закладки между страниц в любом из фолиантов в библиотеке Магора. Весь день мы отпаивали его целебными отварами и эликсирами, натирали бальзамами, не забывая и о молитвах, в надежде не только вернуть его к жизни, но и услышать его историю. Однако, исцелившись, брат Перископий встал и ушел, так о ней ни словом и не обмолвившись...

Не знаю, как брату Перископию, а мне Сокровище по-прежнему никак не дается. Покуда я теряюсь в догадках и предположениях, что же оно такое, брат Павсикакий неутомимо изыскивает для него достойные определения: оно и Святой Грааль, и меч Хрисаор, и Руно Аргонавтов... Он записывает их в тетрадь. Потом зачеркивает... «А что, если это золотые волосы Сив? — скрипя пером, бормочет он. — Или кольцо Драупнир, принадлежащее самому Одину, или ожерелье Фрейи, или молот Тора — все эти бесценные сокровища богов, выкованные когда-то кузнецами-карликами Цвергами?» [...]

[...] Брат Флоригард по прозвищу Улитка Сольми уверен, что это Сокровище — не что иное, как эльфийская книга Тиндалина. Он даже собирается на ее поиски. Между прочим, брат Флоригард поведал мне много любопытного. Оказывается, наш Магор — великий маг прошлого, настоящего и будущего. Эльфы называли его Fanteas Magog. Вместе с Тиндалином он совершил два путешествия в Осмахил — страну, где ничто не рождается и ничто не умирает, — после чего глаза у обоих навсегда изменили свой цвет: у Магора они стали сиреневыми, а у Тиндалина приобрели цвет серебра. У Магора уже в те времена было много имен, которые открывали ему все новые и новые стороны мира, и учеников, которых он обучал своему искусству, впоследствии, через много веков, названному алхимией. Брат Флоригард утверждает, что однажды Магор исчезнет в одном из своих последних имен, которое на эльфийском языке будет означать «Ветер».

Что же касается Тиндалина, то после того как ему посчастливилось найти Тайные Сады Лувиллона, или, по-эльфийски, Luwillon Irmine Grahaan, откуда он принес в Элидан похищенный им у владычицы Иары вечно живой цветок Linnos, или, как эльфы его еще называли, Edomeog — Дарящий Радость, он не долго наслаждался спокойной и размеренной жизнью при дворе короля Тилирима. Судьба позвала его в новое странствие. Тогда-то он и совершил свое третье и последнее путешествие в Осмахил на спине огненной птицы. Эльфы величали ее Erarim Peiri at Grivelin Thoorn — Златоогнь-Птица с Зеленой Горы. Говорят, во время полета, когда она несла на своей спине Тиндалина, над лесами, пустынями, горами и реками восходили радуги. А перья, оброненные ею с высоты и падавшие на землю, становились источниками поэзии и музыки...

Прошли века, и некогда заоблачная Зеленая Гора превратилась в неприметный холм. Он и сегодня покоится где-то среди нас, людей, совсем рядом, поросший папоротником, клевером, истоптанный ногами многих поколений, забытый, никем не признанный... Брат Флоригард полагает, что Флоровская гора на Андреевском спуске и есть та самая Гривелин Тоорн. Он надеется отыскать не только Книгу Тиндалина, но и цветок Линнок-

Эдмеор, прекрасный и неувядаемый, дабы преподнести его миру во спасение от зла и гибели.

Откуда Флоригарду все это известно, не знаю, но когда он об этом рассказывает, глаза его горят, и весь он становится таким красивым, что не верить ему просто невозможно. И я верю ему [...]

[...] а отыскав, уже невозможно его потерять. Ибо оно, Со-
кровище, — не золото мира, *augur vulgi*¹, и не слава, и не власть,
и не успех, и не уверенность в завтрашнем дне, и не покой, и не
гармония, и не чья-либо книга, не Рай и не Ад, и даже не любовь
к человеку. Оно — это я сам, только новый [...]

¹ Золото простонародья (*лат.*).

[...] снова объявился у нас в Доме. Представь, друг мой, сей гибридный господин, всем нам известный под именем Котомыша Лаврентия, предпочитает, чтобы его величали не иначе как «граф Мост-Печерский». Уже в первое свое посещение он показался мне типом развязным и тщеславным. К тому же он был плутоватым торговцем снами, а этот странный и постыдный род деятельности, по меткому замечанию брата Флоригарда, значительно умаляет аристократическое достоинство Котомыша, тем более что образцы снов, всякий раз предлагаемые им на продажу, мягко говоря, происхождения весьма сомнительного, чтобы не сказать — откровенная подделка, не говоря уж о контрабанде. Но все это нисколько не обескураживает «графа»: бесстыдство — корень его натуры. Да вот, например, не далее как сегодня под вечер он приволок с собой трехсотлетней давности ветхий и выцветший сон (а точнее — сновидческий образ) самого Иоанна Исаака Голланда. Он крепко держал этого, можно сказать, «высосанного из пальца» Голланда за шиворот, будто напроказничавшего мальчишку, — мы все как раз находились в алхимической лаборатории, готовясь к предстоящему коллоквиуму по знаменитой «Минеральной книге». Долго и красочно расписывал Котомыш свой, как бы это точнее выразиться, абсолютно иррациональный и не вполне существующий в реальности «товар», при этом не скупясь на заверения и обещания, комплименты и чудовищную лесть в наш адрес, и, вконец обнаглев, даже на угрозы. Завершил он свой рекламный, избыточный (чаще не к месту) алхимической лексикой спич заученной цитатой из «Theatrum chemicum»: «Вот могила, не вмещающая в себя труп, и труп, не заключенный в могилу. Труп и могила составляют одно». При этом как бы в подтверждение своих слов он то и дело кивал на реющего рядом г-на Голланда, вернее, на невосомый снообраз его. Должен признать, кое-кто из братьев-фамулусов уже даже и уши развесил. Но в эту минуту в лабораторию вошел Мастер Магор.

¹ «Химический театр» (лат.). — Название алхимического трактата И.И. Голланда.

«А-а-а, граф! — воскликнул он, бросив на Котомыша Лаврентия насмешливый взгляд. — Вот уж не думал видеть вас снова! Какую пакость вы приготовили нам на этот раз?» Торговец сновидениями скорчил кислую гримасу и молча указал на свой «товар». «Ага, — усмехнулся Магор. — Ну-ка, ну-ка, посмотрим... А что если бросить его в огонь? Надеюсь, он не растопится?» Котомыш опасливо отодвинул «г-на Голланда» или то его бессловесное нечто, которое репрезентировалось им, поближе к выходу. «А еще лучше, любезный граф, растереть его в порошок и затем насыпать на камень, — с видом совершенно счастливым предложил Магор; он резко вытянул вперед руку и раскрыл ладонь: — Видите этот изумруд? Он великолепен, не правда ли?» Котомыш насторожился, словно перед прыжком; от одного только вида драгоценного самоцвета, что так беззащитно покоился на ладони этого «ненавистного педанта», глаза его вспыхнули зеленоватым хищным пламенем. «Беда лишь в том, — продолжал Мастер Магор непринужденно, — что камень этот не настоящий. Не верите?.. Вот потому и нужен тот самый порошок, о котором я говорил. Давайте проведем научный эксперимент: если предлагаемая вами субстанция воистину настоящая, а не плод вашего воспаленного воображения, то порошком, изготовленным из нее, мы pošлем наш фальшивый камень, и он тут же, — даю вам слово! — весь потрескается, подобно соли, или и того хуже — разлетится на множество кусков. Ну так как, вы согласны попробовать, граф?»

Но «граф Мост-Печерский» не стал искушать судьбу и, даже не попрощавшись, убрался прочь, волоча по полу свой «товар». Братья-фамулусы свистели и улюлюкали ему вслед. «Интересно, как он фабрикует все эти сны-подделки?» — спросил я брата Флоригарда. «Да очень просто: берет три унции невежества, пять унций мошенничества и столько же унций наглости...» [...]

[...] Со стен винных бочек соскребываем осадки. А вообще-то в дело идет все: пепел, птичий помет, древесный уголь, мед, земля, сок растений и роса. Из последних двух, если верить и в точности следовать советам monsieur Barbault¹, получается превосходнейший «секретный огонь» (или, иначе, — «сухой огонь»), т.е. первореагент.

О, многим братьям-фамулусам не дает покоя жидкое золото Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма². [...]

¹ Господина Барбо (*франц.*).

² Полное имя Парацельса.

[...] И тут я вспомнил один древний текст, однажды попавший мне на глаза в библиотеке Магора. Александрийская алхимия устами Зосимы Панополитанского наставляла: «Дракон простерся у порога. Он сторожит храм, овладев им. Убей его, сдери с него кожу и, содрав ее вплоть до самых костей, выложи ею ступени, ведущие в храм. Войди в него, и ты найдешь желанное...» В то время я изучал магию. Пришлось перечитать десятки книг, среди которых были и «Левит», и «Числа», и «Clavicula Solomonis»¹, и «Тайная философия» Агриппы... Не отвратил я свой взор ни от «Nortus Amoenus»² Великого Гримуара, ни от так называемого русского чернокнижия, заключенного во всех его «Громниках» и «Зелейниках» со всеми их заклятиями, симпатиями и антипатиями. Но как-то раз открываю «Молот Вельдм», читаю и чувствую, как пальцы рук на странице холодеют. В этой книге говорилось, что демоны беспокоят людей при росте Луны, ибо хотят опозорить божье творение, а именно Луну. Поскольку мозг человека является «наиболее влажной частью тела», то он больше других подвержен воздействию ночного светила, которое движет жидкостями. А в мозгу совершенствуются силы души.

Когда я прочитал об этом, образ колченогого Альгакобиллы снова обморозил мой внутренний взор. О, друг мой, если бы кто-нибудь раньше сказал мне, что именно в этой книге мне откроется разгадка тайны моего заточения на летающем черном корабле, я ни за что бы не поверил! Странные, однако, места обитания иной раз выбирает Правда, и не менее странно то, что однажды нас заносит каким-то кривым ветром в эти странные места. Можно смело утверждать, что чаще всего истина познается вовсе не лицом к лицу и не в чистом поле, а, что называется, из-за угла. Или в то самое мгновение, когда мы повернулись к ней спиной, чтобы бежать ей навстречу.

Не без отвращения листал я это изуверское пособие по мракобесию, но прочитав те пункты о свойствах Луны и человече-

¹ «Малый ключ Соломона» (лат.).

² «Приятный сад» (лат.).

ского мозга и о стремлении демонов «опозорить» божьи творения, я окончательно и во всей полноте уразумел смысл коварного предложения Альгакобиллы: ты помнишь, он готовил экспедицию на Луну, и мне была отведена не совсем обычная [...]

[...] Взгляни на жизнь Философа: джем из подорожника и звездный свет — вот скромная пища его [...]

[...] Если помнишь, как-то в одном из своих писем я рассказывал о некой неведомой, но гипотетически существующей книге, страница из которой случайно попала мне в руки, и которую я поклялся рано или поздно разыскать. Так вот, друг мой Адорнас, с тех пор я не прекращаю поисков. Иной раз я чую, что напал на след, и мне даже слышится явственно шелест ее пергаментных страниц... Я сую свой нос во все щели, рыщу, как собака-ищейка, по всем углам и закоулкам; донимаю каждого встречного расспросами, но, увы, никто в Доме не знает и ничего не слышал об этой книге. Даже брат Флоригард по прозвищу Улитка Сольми.

Ты не поверишь, но я находил здесь рукописи, досель миру неизвестные, сочинения, когда-то сгоревшие в пожарах, утонувшие в морях, истлевшие в земле. Каких только книг не нашел я за это время, но только не ту, что искал!

И вот как я решил поступить: если мне так и не посчастливится отыскать эту книгу, я напишу ее сам. Я извлеку ее всю целиком из тех немногих уцелевших слов, как выращивают дерево из его маленького плода. Я напишу ее и обрету покой [...]

[...] Конечно, ты прав, Адорнас! Именно в моем желании — корень всей Книги. Она и растет из этого корня. И ветвится во все стороны. Одни ветви — длинные, тяжелые, с густой листвой, другие — чахлые, рахитичные, голые; третьи — коряво закручиваются или, наоборот, торчат острыми палками. Некоторые быстро отмирают, им на смену вырастают новые. Дерево стало лесом. И я как тень блуждаю в его дебрях; как птица перелетаю с ветки на ветку; как зверь слепой карабкаюсь куда-то...

Разве это книга?..

Но не подумай, что я сдался! Я только то и делаю, что уговариваю сам себя: «Се есть Книга». Я хватаюсь за нее, но каждый раз в отчаянии бросаю. То пишу ее с конца, то продолжаю с середины. Но где теперь конец и середина, и чем одно отличается от другого, я уже и сам не понимаю. Я бы и рад, по примеру древних, сказать о ней: «Aliter non fit, Avite liber!»¹ Но смею ли? [...]

¹ «Ни одна книга не пишется иначе!» (лат.).

[...] О, я видел его, Адорнас! Город — крылатый шар — парил надо мной, простерши два крыла... И тогда я понял все. Книга должна быть круглой, шарообразной — как этот Город. Как может быть иначе?

В круглой Книге вчерашнее выступает как завтрашнее; близкое теряется из виду вдалеке... На любой странице, с любого слова она может начинаться и точно так же, любым словом и на любой странице, заканчиваться. Открой ее где душе угодно — там будет Центр и Середина.

Ну а что до крыльев ее — предоставляю тебе самому догадаться, о чем тут речь [...]

[...] И тогда я сказал коту своему, брату Мусику, что если он такой аристократ и интеллектуал, то зачем углы метит? И если он кружится, как юла, пытаясь поймать свой хвост, то это еще вовсе не означает, что он тем самым олицетворяет древнего Уробороса гностиков или познал *Нен то Рап*¹, то есть внутреннее единство всей материи и вселенской гармонии. Истинная же причина такого поведения, сказал я брату Мусику, заключается в переизбытке молодости, в брожении гормонов, либо, что еще более вероятно, в наличии блох.

Однако, друг мой, как часто за видимым глубокомыслием или так называемым «героическим деянием» кроется ничтожнейшая из причин! [...]

¹ Всё во всем (*греч.*).

[...] Но как мне выразить словами всю мою к ней любовь? Один ее миг сравню с мельчайшей песчинкой, в которой — вся Земля с горами и пустынями; сравню с капелькой росы, в которой — все воды мирового Океана; или с каплей крови, в которой — вся Жизнь земная. Так один миг любви вмещает всю бесконечность Вселенной и Божественных Небес.

В ней, в любви, источник молодости вечной. Она и есть истинный алкагест, универсальный растворитель, живая вода, небесный цветок, Моисеева манна. Она — лев, орел и тигр, и — все переваривающий желудок страуса [...]

[...] И тогда я принялся строить этот корабль в своем воображении. Уединившись в келье, стены которой были сплошь покрыты изображениями и чертежами знаменитых корветов, шхун, бригов и фрегатов, я день за днем и ночь за ночью возводил из небытия на верфи моей грезы мой собственный корабль — трехмачтовый парусник, изящный, быстроходный и непотопляемый, — крылатую птицу интеллигибельных морей. Я очень торопился в надежде сняться с якоря накануне Великих Дурацких Дней, — а они были уже не за горами. Стоило мне лишь закрыть глаза — и вот я валю лес, везу его на верфь, где в просторных, пахнущих древесиной, смолой и краской мастерских с помощью измышленных мною работников пилю, строгаю, шлифую... Вскоре перед моим внутренним взором вырос могучий каркас будущего корабля; заключенный в строительные леса, он походил на скелет гигантской доисторической рыбы. Все так же, в воображении своем, я обшивал его упругими досками, раздувал пламя под огромными чугунными котлами, в которых, дыша жаром, пузырилась смола для просмолки корабельного днища, ставил бушприт и мачты и весь такелаж, не забыв о компасе и сигнальных огнях. Сотня моих работников трудилась вместе со мной, не зная ни сна, ни отдыха, и каждого я знал по имени, и история жизни любого из них была известна мне в мельчайших подробностях — так же, как и рангоут моего корабля. А в носовой фигуре поселился развеселый дух — старина Клаби, как он любил сам себя называть. Он хохотал по всякому поводу и без повода и никогда не расставался со своей вересковой трубкой. Я слышал стук его молотка ту тут, то там, и первое время боялся, как бы в избыточном рвении своем он чего доброго не проломил днище. Но, к счастью, все обошлось!

В продолжение всего этого времени брат Фарба снабжал меня хлебом, брат Флоригард — овощами и фруктами, брат Ата-назиус Кловис — вином, а свежими новостями — брат Перископий.

И вот, друг мой Адорнас, настал тот долгожданный час: мой чудо-корабль во всем своем великолепии стоял на рейде в ожидании скорого отплытия. Видел бы ты его, как видел его я... И

поверь: ох как трудно было сдерживать воображение, чтобы раньше срока не подул попутный бриз, чтобы сами собою не поднялись якоря, не вздулись паруса и плавание не началось без меня, пока я мысленно обходил прибрежные таверны, набирая команду, а весельчак Клаби — попрощался со своей многочисленной родней. Но на берегу меня поджидало сплошное разочарование: повсюду я наткнулся то на Хробака, то на Козлюля, то на Закрюча с Волкотрупом — мерзейших матросов с корабля Альгакобиллы, в трюме которого когда-то давным-давно я гнил вместе с моим другом — поэтом и художником псом Петровым. «Да! Пес Петров! Мой храбрый и верный друг! Вот кто мог бы стать мне лучшим компаньоном, — думал я с грустью, возвращаясь на верфь. — Вот с кем без колебаний я отправился бы бескрайними путями морскими — либо вслед за Святым Бренданом в изобильную и ароматную Terra repromissionis sanctorum¹, либо к черту на рога, — но, в любом случае, с единственной целью: одержать победу!»

И я снова вижу верфь, вижу улыбающегося пса Петрова, бегущего мне навстречу, его радостно виляющий хвост, вижу сверкающий на солнце океан и за вспененной кромкой прибоя — бакланов, огромными носами клюющих расплавленную бирюзу вод... Но я не вижу на рейде моего корабля... Он исчез! Исчез!.. И как ни старался я восстановить его в своем воображении, все было тщетно...

Три дня и три ночи я жил на ощупь, ничего не видя, не слыша, и никого не узнавая. А на четвертый день откуда-то с вышины забрезжил тусклый свет, и, будто сквозь толстую пелену воды, я увидел склоненные надо мною тревожные лица Магора с фонендоскопом в ушах и брата Атаназиуса Кловиса со стаканом грога в руке. Позднее брат Перископий рассказал мне, что на моем корабле к берегам Авалона отплыл какой-то участковый инспектор милиции, и это все, что известно.

Такие вот дела, друг мой Адорнас. Завтра начинаются Великие Дурацкие Дни, и, можно сказать, что я вхожу в них с наилучшими достижениями [...]

¹ Обетованную землю святых (*лат.*).

[...] Знаю, что перед тем, как стать отшельником, твой сеньяль гласил: «Не верь глазам своим!» Так называли тебя братья-фамулусы, хотя лица твоего никто из них никогда не видел. Знаю также, что и ты бесподобно умел валять дурака и сражался на Турнирах и не раз побеждал. О твоей куртуазности в Доме Магора до сих пор ходят легенды.

Что ж, друг мой, как и ты, я тоже превыше всего почитаю щедрость, честь, доблесть и служение музам. Тем более что до мудрости философа мне еще очень далеко.

По ночам, отдыхая от Сессии, которой традиционно открылись Великие Дурацкие Дни, читаю вслух рыцарские романы и громко распеваю любовные песни в надежде на то, что моя возлюбленная услышит их... Увы, наши с ней дни друг о друге ничего не ведают. Но зато наши ночи нежно целуют друг друга [...]

[...] Брат Гонораций, пока не начался Рыцарский Турнир, в поте лица пишет книгу. Называется она — «Чистослов». Слова в этой книге по замыслу и мнению брата Гонорация все как на подбор незамутненные, то есть, ясные и прозрачные, подобно сугубым бриллиантам в сравнении с песчаником, известняком или каменным углем. С употреблением этих слов сердце не отягощается ни печалью, ни ожесточением, ни страхом, ни зловредными вирусами, ни рвотными позывами. Но и забываются они легко и быстро! И никаких следов [...]

[...] Сегодня ночью (если это, действительно, была ночь) накануне Рыцарского Турнира мне приснился сребробелошерстый пес Петров с незабудкой в зубах. Он бесконечно долго смотрел на меня глазами глубокими и прозрачными как озера, а потом сказал: «Уверяю вас...» Ох, это его любимое «Уверяю вас...»! Мне стало так весело...

Утром я проснулся в прекрасном расположении духа. Уверяю вас [...]

[...] И я так увлекся, так безумствовал, что к торжественному открытию Рыцарского Турнира не успел переодеться, т.е. «облачиться в железа», как выражались древние поэты и герои, и когда протрубили герольды, вышел на ристалище в том самом наряде, содранном с какого-то огородного пугала, о чем я тебе уже рассказывал в одном из последних писем. Я только-то и успел, что подпоясаться прямо поверх лохмотьев цепью из двенадцати металлических дисков и кое-как нацепить шпоры — символ *chevalerie*¹, как ты понимаешь. А золото — что на поясе, что на шпорах — сусальнее не бывает!

По правилам Турнира должны мы были сражаться длинными шестами с букетами цветов вместо наконечников. Мне, по жребию, достался шест с упругими, горящими чистым пурпуром, тюльпанами. И это все! Ни шлема с забралом, ни щита с гербом, ни самых обычных *cardebras*², я уж не говорю об алой ленте с девизом. Так что выглядел я более чем нелепо, и хотя уже загодя посвятил предстоящий подвиг своей возлюбленной, в душе я был рад, что ее здесь нет и она не видит того комического зрелища, какое я собою представлял. Насмешливые улыбки братьев-фамулусов просвечивали даже сквозь забрала их шлемов. Да, что и говорить, в отличие от меня, ребята были разодеты в пух и прах: рыцари зеленые, белые, фиолетовые... На головах — роскошные цветники, витиеватые скульптуры, клетки с редкостными певчими птицами, рогатые полумесяцы, чаши с бьющими из них фонтанами, горящие светильники и бог весть что еще. И над всем этим — лес шестов с букетами прекрасных цветов, ярких и благоухающих. Зрелище — глаз не отвести! Я любовался им, я уже почти грезил... Но вот снова взревели трубы, и сражение — *âsc plega*³ — началось.

Мы мчались друг на друга во весь опор, волосы из под шлемов развевались как дикие травы. Деревянные лошадки под нами падали, мы спотыкались об них и тоже падали, покрывая ка-

¹ Рыцарство (*франц.*).

² Налокотники (*франц.*).

³ Игра копий (*англосакс.*).

менный пол залы разноцветьем плащей, снова поднимались и, оглашая накалившийся воздух воинственными криками, клятвами и девизами, бросались в атаку. Все смешалось в шумной, красочной круговерти. Шесты, скреживаясь, гнулись, трещали, — каждый норовил достать противника своим букетом. И где-то там, высоко над нашими головами, вершилась настоящая битва ароматов — небесное отражение битвы земной. Тысячи лепестков устилали место битвы, будто воспоминания о нежных поцелуях прекрасных дам...

В соперники мне достался рыцарь, весь закованный в золоченые латы, с белыми нарциссами на шесте. Несмотря на свой невысокий рост и даже некоторую полноту, это был очень искусный воин. Передвигался он так легко, словно вовсе не давили на него пуды железа, словно одет он был в утренние облака; он буквально едва касался ногами пола, и шум, исходящий от него, был подобен шороху крылышек мотылька в грохоте сталеплавильного цеха. И столь стремительны и неуловимы были взмахи его шеста, будто не фехтовал он, а письмо писал, или картину... Сильный запах нарциссов дурманил мне голову. Стараясь применить все, чему успел научиться у Полковника Ферапонтова, я довольно ловко увертывался, и некоторое время мне удавалось сохранять равенство позиций. Но, увы, что мог я противопоставить коварству ароматных нарциссов?! Я совсем упустил его из виду, а потом уже не в силах был совладать со своим опьянением и все больше поддавался воздействию дурмана. Мы оба — я и мой доблестный соперник — кружились, будто на стремнине, неудержимо увлекаемые в водоворот, на миг сталкивались и тут же разлетались в стороны, замирая в пространстве, летящем вокруг нас. И все это длилось целую вечность... Будто с крутящейся карусели я видел мелькающие глаза рыцарей, напряженно наблюдающие за нашим поединком, и немного выше, в отдалении, сверкнувшую седину Магора, темные вуали неизвестных дам и бледные пятна лиц застывших в напряжении гостей. Силы мои убывали, я понимал, что уступаю своему сопернику, который, по-прежнему легкий и порывистый, реял надо мной, как ветер над тучной землей, скованной сном и силой собственного притяжения. И когда я уже даже и не пытался атаковать, лишь защищаясь, восторг и восхищение вдруг объяли меня, и земля во мне содрогнулась; раскатистое эхо звоном прокатилось по небесам моей души, и из уст моих полилась песня, слов и мелодии которой я, наверное, уже никогда не вспомню. Чувства перепол-

няли меня, в то время как рассудок старался перекричать мою песню: так с противоположного берега лодочник взывает к разуму пьяного пловца, вознамерившегося вплавь переправиться через опасную реку. И я услышал этот зов...

Я должен был стать достойным ответом, следовательно — проявить сдержанность и хладнокровие. Внешне это могло выглядеть как безразличие. Да и что иное оставалось мне, кроме как, постоянно маневрируя и экономя силы, терпеливо дожидаться ошибки в действиях моего противника. Так я защищался, подстерегая решающее мгновение. И вот, отразив очередной хитроумный выпад, я внезапно сам бросился в атаку. Тюльпаны на моем шесте превратились в языки пламени... Но в то же мгновение я был сбит с ног и ослеплен: волна аромата ударила в мой лоб, и, окатив меня с головы до ног, устремилась дальше. Удар был таким сильным, что нарциссы показались мне чугунными. Я тут же куда-то полетел — то ли вниз, то ли вверх... Там, куда я летел, был Цветок. Он сиял в пустоте. Я видел, как он рос, возрастал и, подобно утренним сумеркам, раскрывался его бутон. И не было в мире человека, счастливее меня! Даже глаза мои от долгого созерцания этого Цветка приобрели ярко-синий цвет и потом еще некоторое время по возвращении оставались такими...

Очнулся я уже в своей келье, где, как оказалось, будто стеклянный, проспал три дня и три ночи. Турнир продолжался, но уже без моего участия. Только иногда в голову мою просачивались далекие, будто жужжание из телефонной трубки, звуки боевых рожков, тамбуринов и кимвалов. Брат Флоригард, навестивший меня, не без зависти сказал, что мне несказанно повезло, что цветок, явившийся моему взору, — и есть тот самый знаменитый цветок Эдмеор из Тайных Садов Лувиллона, и что на моем месте должен был быть он, брат Флоригард по прозвищу Улитка Сольми.

Но кто был тот рыцарь? Никто не знал, откуда он явился, никто не видел его лица — оно все время было скрыто под забралом, — и герб не украшал щит его. А когда меня укладывали на носилки и все хлопотали над моим телом, таинственный воин незаметно покинул Турнир. Но мне кажется, друг мой Адорнас, я знаю, кто скрывался под золочеными доспехами и чьи нарциссы одним ударом распахнули в моей голове волшебную дверь в Тайные Сады Лувиллона. Я почти уверен, что тем воином был ты! [...]

[...] Сегодня, а именно, в нечетный день, по своему обыкновению открыл наугад «Зубдат ал-хакаик» Насафи. И вот что он мне сказал:

«Дервиш! Сколько раз ты еще войдешь в круговерть мира и совершишь бессмысленное путешествие?! Сколько раз ты еще минуешь эту дверь вселенной и жизнь свою и имуществопустишь по ветру?! Нет в этом нужды! Нет нужды и в аскезе, и в подвижничестве, нет нужды во многих усилиях разгадать головоломку: все, искомое тобой, не стоит поиска. Ищут то, чего не имеют, ищут тайну и путь тайны».

Надо сказать, слова эти задели меня за живое. За ними скрывалось нечто большее, чем тот конкретный смысл, который они обычно выражают: «путешествие», «жизнь», «имущество»... Что означают эти слова? Уж, во всяком случае, не физическое перемещение в пространстве, не биохимические процессы или карьеру, и не «священную» частную собственность. Мне вспомнилось «Пояснение Книги Бытия», в котором Сведенборг утверждает, что, например, «питаться травой полей» на самом деле значит «жить как животное», — а человек уподобляется животному тогда, когда Внутреннее в нем отделено от Внешнего, ибо «если человек — животное, то оно идет от Внешнего, которое, будучи отделено от Внутреннего (т.е. от Господа, который наитствует в человека через Внутреннее), есть не что иное, как животное». И тогда духовная субстанция, которая в нем сохраняется, извращена и обращается в жизнь зла. Подобным же образом можно объяснить и ставшие знаменитыми слова: «Есть хлеб в поте лица». Это означает: иметь отвращение к небесному и духовному, т.е. к «пище ангельской», которая выражена словом «хлеб»...

Я вновь перечитал открывшуюся мне страницу древнего суфийского трактата. Я понимал, что ключевая мысль здесь явлена в конце абзаца: «Ищут то, чего не имеют, ищут тайну и путь тайны». Но мысль эта упорно не раскрывалась мне, не проникала в мое сердце, как бы скользя стороной. Я сам не был ее содержанием.

Я уже хотел закрыть книгу, когда взгляд мой непроизвольно зацепился за слово «дервиш». И я прочитал следующее наставление:

«Дервиш, дело требует беседы со знающим, все, что ищешь, ищи в беседе со знающим, нашедши...»

Но тут я резко захлопнул книгу.

Весь день я провел в трудах, но был совершенно рассеян. Видя мое состояние, Мастер Магор отвел меня в сторону и сказал: «Во всем ищи отверстие». Подождав, пока слова эти запечатлеются в моей душе, он добавил: «И прежде всего — в себе самом». Мне подумалось, что, похоже, я родился уже с этим «отверстием» и теперь постоянно проваливаюсь в него. Сам от себя в него ускользаю. И я отвечал: «Что проку мне искать то, что у меня и так в избытке. Разве в этом заключена тайна и ее путь?» — «Если уж ты цитируешь Насафи, — ответил в свой черед Магор, — то ты должен вспомнить, что в конце этого «фасла» он говорит: «Этот мир и мир загробный не стоят того, чтобы ты хотя бы на мгновение впал в растерянность и смятение».

Ах, друг мой Адорнас! Если бы Мастер Магор узнал, каким способом я читаю Насафи и Экхарта, он наверняка сказал бы, что в лучшем случае это ребячество, а в худшем — дурное эстетство [...]

[...] Так что же оно такое — камень философов? Смею ли я утверждать, что постиг тайну тайн? Не знаю, друг мой. Но, однако же, мне представляется, что все эти жертвенные перипетии красных и зеленых львов, воскрешение из мертвых, растворение в молитве и апокатастасис, — бесформенное, форма и сверхформа, — мастер и послушник, совершенное в несовершенном, богатство в бедности, — сам себе собор, — философское яйцо и весь мировой шар, — свобода воли и смирение, — все эти стаи ворон черных и, далее, Albedo и Rubedo¹, — Король и Королева и их, красного жениха и лилейной невесты, свадьба и соитие, — двуполый ребис, соединяющий в себе отцовское и материнское семья, — три в одном, Элохим, тройное единство, и еще цинноберкиноварь, — и еще три унции надежды, три унции веры, а к ним в придачу шесть унций любви, с которой, быть может, вообще следовало бы начинать, две унции слез и огонь страха, пылающий под ними, — а также зримые цвет, блеск и протяженность и незримые плавкость, летучесть и ковкость, — смена времен года, дня и ночи, сторон света, — все эти превращения стихий и колдовращение их духов живых, — Луна-Диана и Солнце-Аполлон, неразрывность универсалий и вещей, духа и плоти, змей, кусающий себя за хвост, и дракон, пожирающий человека, прижатого к земле, — кладбище невинных и над ним взлетающие, и падающие, и вновь взмывающие ввысь птицы, — сосуд и материнская утроба, — шестиконечная звезда, — бескрылость и крылатость, — золотое руно, — звучащие планеты, цвет между духом и материей, вещество слова, свет цвета и цвет света, судьбы ароматов, протяженность души, — и еще все это рукотворение в мир нерукотворный, — от одного до десяти, преодоление энтропии и хаоса мира вещей, — и, наконец, сверкание шестилучевой звезды, или сапфирная чистота розы о шести лепестках. Или просто рыба на раскрытой ладони, — и родящий огонь, называемый Землей, — и семь философов с их тайной, и их восхождением к ней, — и двенадцать ступеней, ведущие к совершенному нулю, и

¹ Работа в Белом и Работа в Красном (лат.). — Стадии алхимического процесса.

ноль, что творит числа, созидающие всё — всё, которое есть ничто, альфа в омеге.

Все это вместе взятое, во всех своих бесконечно многообразных связях, воплощает великую иерархию камня философов. Утверждение этих взаимоотношений и соблюдение этой иерархии, возможно, и есть сам философский камень — Великий Магистерий...

Вот только что, друг мой Адорнас, перечитал все то, что написал тебе выше... Увы! Такое впечатление, будто полные жизненных соков цветы и травы в одно мгновение засохли [...]

[...] И сколько же еще миллионов лет должно пройти, прежде чем последняя на земле жаба станет лягушкой, скорпион — жуком-скарабеем, носорог — единорогом, василиск — петухом!.. А кем станет человек?.. [...]

[...] Но раз уж всякая порожденная Богом вещь стремится к Нему же вернуться, то, значит, и абстракция — «материальный знак вещи», как утверждает Аквинат, — также желает «вернуться в лоно Божье». Какими же чистыми должны быть наши мысли!

Только теперь я стал по-настоящему понимать, что именно брат Фарба понимает под абстракционизмом [...]

[...] Мастер Магор вовсе не торопил меня с ответом. Но я сам был нетерпелив. «Если навоз есть золото, — начал я, — а золото есть Бог... Следовательно... Постойте... получается, что Бог есть навоз?!» Я произнес это деревенеющими устами. Я ужаснулся тому месту во мне, куда могла поселиться подобная мысль. Я изумился своему языку, который произнес эту мысль вслух, и испугался той неумолимой логике, что породила эту оскорбляющую Бога мысль как бы в обход моего сердца и языка.

«Нет вещей грязных, сын мой, — спокойно отвечал Магор. — Есть вещи непонятные. Или, точнее, непонятые. И еще есть наш страх перед ними, который делает их еще более непонятными. И недостижимыми». Честно говоря, в ту минуту мне хотелось, и я ожидал услышать нечто более убедительное. Видимо, прочитав разочарованность в моих глазах, Мастер Магор сказал: «Понять вещи — это значит долюбить их, ибо недолюбленные вещи делают нас безумными, что совсем неуютно Богу, они мстят нам за нелюбовь и, таким образом, втягивают нас в мир своей ограниченной протяженности, что, конечно же, тоже неуютно Богу. Долюбить вещи — значит определить их границы и неравенство по отношению друг к другу и, следовательно, установить между ними и внутри себя порядок и гармонию. Сын мой, это очень важно! Если мы научимся отличать также вещь от символа вещи, тогда мы не уничтожим полмира, истребляя ни в чем не повинных жаб и каракатиц». Помолчав немного, он повернулся ко мне летней стороной своего лица. Я невольно улыбнулся в ответ. «А вот, что прежде всего угодно Богу, — заключил Магор, — так это гармония конечного и бесконечного, ибо конечное для того и существует, чтобы бесконечное могло осознать себя. Стало быть, сын мой, люби и размышляй. Только любовь делает мысль бесстрашной».

Я был согласен с каждым его словом, но знаешь, какой-то дух противоречия разыграл во мне. Вернувшись к вопросу о вещах и символах, то есть о «жабах» и «каракатицах» и т.п., я сказал Мастеру Магору, что пока мы тут с ним философствуем, ты в это время где-то в городе сражаешься с крысами отнюдь не символическими, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Он

рассмеялся в ответ, а потом, повернувшись ко мне зимней стороной лица, грустно молвил: «А разве о бисере и о свиньях говорил Христос?» И знаешь, друг мой, я просто почти сторел от стыда. Я стоял как обугленный перед испепеляющим взглядом Магора. Доучился, нечего сказать! «Да, похоже, ты несколько перетрудился, сын мой, — сказал он. — Отправляйся-ка на поиски старого Хунь По. Думаю, общение с ним пойдет тебе на пользу, если, конечно, тебе посчастливится его разыскать...»

Ах, Адорнас, такая печаль охватила меня! Кажется, я сильно подвел старика, не оправдал его надежд, если они, конечно, были. Но что же теперь поделаешь? Будь что будет, но завтра я отправляюсь в путь. И я найду старого По, я разыщу его, даже если его и вовсе не существует [...]

ЯШМОВЫЕ ЛЕПЕСТКИ

Тексты, выжженные на старой шахматной доске

[...] ищу его. Извилистыми коридорами блуждаю, заглядывая во все залы, во все замочные скважины, во все зеркала. Ищу повсюду — особенно там, где искать бесполезно. Прислушиваюсь... особенно к тому, чего не слышно. Иногда ушей моих касаются нежнейшие перезвоны: будто где-то далеко-далеко ветер колеблет подвески из легкого металла. И я бегу, распахивая дверь за дверью, бегу навстречу звону, но... В лучшем случае нахожу узорную фарфоровую чашку с еще неостывшим чаем — и я допиваю его; или перо журавля — украшаю им свою шляпу; или золотую клетку с цикадой — отпускаю ее на волю; или медные монетки с отверстиями посередине — даже не прикасаюсь к ним.

Порой, во сне, слышу трогательный напев хуциня. Гляжу — прямо над моим изголовьем старый Хунь По водит по струнам смычком. Глаза его закрыты и музыка печальна. Я едва сдерживаю слезы, сердце мое разрывается: нет в целом мире ничего прекраснее и ничего печальнее, чем этот одинокий голос скрипки... Однажды, не сдержавшись, я схватился рукой за смычок... и тут же проснулся. Рядом — ни души, в руке — веточка ивы.

Должно быть, так испытывает меня совершенномудрый [...]

[...] Говорят, мысли его подобны чистому звону колокола. Гудит в ушах у того, о ком он едва лишь подумает.

А еще, говорят, он достиг такой святости, что даже экскременты его благоухают орхидеями и розами [...]

[...] И вот как-то раз на глаза мне попались три бамбуковые дощечки. На одной было вырезано:

Ночь темна, глубока.

На другой:

Сад на дно оседает,
Ароматами полон.

Я взял в руку перочинный ножик и на третьей дощечке вырезал:

В освещенном окне
Тень руки
Книжную тень листает...

Утром я обнаружил на своем письменном столе китайский раскладной ящик-футляр для книг. Футляр был самым обыкновенным — из папки и синего холста, с костяшками пуговиц по бокам.

Я раскрыл его. А там — пусто... Закрыл и снова раскрыл. И снова — пусто... Тогда я закрыл и раскрыл футляр в третий раз. А там — Совершеннейшая Пустота [...]

[...] И вот я увидел его! Отец Вдоха и Выдоха, совершенно-мудрый старец, бессмертный небожитель, знаменитость из Поднебесной, старый Хунь По... Он спрыгнул не то с вихря, не то со спины дракона, сам крутясь стремительно, словно рулон белого шелка. Остановившись, поклонился. Я — тоже, как обезьяна, неуклюже подражающая журавлю. Прямо в мое сердце молча смотрел мудрый По. В руках у него была бамбуковая палка из девяти колец, прохлада Пяти священных гор еще курилась над его головой, быстро рассеиваясь. Я был так взволнован, что все чувства мои обострились, и слуха моего коснулись остывающие в тишине отзвуки золотого гуаня и яшмовой свирели... Было это в час мао, в третьей луне по весне, когда разливаются персика воды, как выразился бы Хань Юй.

Ах, друг мой Адорнас, ты только представь: мудрец еще и слова не вымолвил, а я уже почувствовал себя полным...

...Тогда я стал лицом к северу и сделался его учеником [...]

[...] Каких только небылиц не рассказывают о совершенно-мудром По мои товарищи по кисти и тушечнице! И что будто бы вылутился он из яйца, и был так уродлив, что при виде его птицы теряли голос, бабочки засыхали прямо на лету и осыпались на землю, как лепестки осенние, а вода в озерах начинала гнить; и что красоту свою обрел вместе с мудростью и искусством магии, которые достались ему упорным трудом и аскезой. Другие утверждали, что старый По изначально родился уже и мудрым, и красивым, и даже более того: красота его и мудрость появились на свет несколькими мгновениями раньше его самого — в виде ясного взгляда и радушной улыбки.

Одному он мог явиться в образе богомола, другому — махаоном, третьему — слитком серебра или кучей навоза, четвертому — завывающим ветром или веселой песней, звучащей в ушах. Мне же однажды совершенномудрый явился в образе совершенноглупого [...]

[...] Не все так просто в Поднебесной. Даже в уродстве вечно теплится зародыш красоты. И в глупости — начало мудрости... «Как, впрочем, и конец ее», — добавил старый Хунь По сквозь сон, ворочаясь на своей камышовой циновке [...]

[...] задал ему давно мучивший меня вопрос: можно ли мудрого человека считать великим, а великого человека — мудрым?

На сей раз Учитель почему-то не стал обламывать свою бамбуковую палку об мою спину. Вместо этого он стал уменьшаться в размерах. Он уменьшался так стремительно, что в голове моей закружилась вся Поднебесная со всеми ее царствами, эпохами и династиями... Так совершенномудрый превратился в муравья, а я, палец о палец не ударив, — в великана. Он юркнул в какую-то щель, и больше я его не видел.

Задумчивый, побрел я прочь. Был праздник Прямого солнца, и бессмертные поэты с орхидеями и стихами уходили к тихим озерам любоваться рассветом...

Уже под утро сочинил я стихи:

Облака сквозь ночь плывут,
В редком просвете мерцает звезда.
Я для нее также полон мерцанья.

[...]

[...] В часы отдыха мудрый По любит гулять по кромке дож-
дя [...]

[...] Думаешь, испытания на этом закончились? Нисколько! То он, как бы незаметно, подбрасывал мне под ноги жемчужину величиной с черепаху, которую я тут же возвращал ему. То, будто бы нечаянно, оставлял на моей циновке засушенный ломтик тысячелетнего персика, подаренный ему когда-то самой Си Ванму. Ты, наверное, помнишь: к кому владычица фей испытывает дружеское расположение, тому она является благоуханием этого персика. В обычном же своем настроении она вся пахнет водами Озера Яшмовых Чертогов, что уже само по себе может любого смертного свести с ума, ибо это воды счастья, покрывающие все вокруг... Словом, дорогой друг, не мешкая, я догнал лукавого По, едва он успевал ступить за порог, и со словами: «Вы тут у меня кое-что забыли, Учитель!» почтительно вручал ему ломтик персика.

А однажды Учитель является мне в окружении дивного сада. И с ним девы, красоты столь ослепительной, что в ее блеске вся Поднебесная со всеми красотоми — угрюмая темница. О таких говорят: девы-яшмы. Пахнут орхидеями, мускусом и алоэ. Брови подведены черной тушью в стиле «очертания дальних гор». Зубки — семена тыквы. В волосах — шпильки из шлифованного лишуйского золота, и у каждой «ясная луна» в ухе сверкает. А одеяние на них — парча, сотканная русалками или даже руками самой феи Ло, и сверху — накидки из дымки золотой. И ножки их — побеги молодого бамбука, — обуты в вышитые жемчугом башмачки...

И вот девы эти для меня одного играют на лютнях, для меня одного поют небесными голосами стихи Ли Бо о фениксах, что вьются над опустевшей террасой, и стихи Бо Цзюй-и — о вине, о созерцании прекрасных цветов, о покое в сердце...

О нежные прикосновения пионов! О поцелуи, подобные полураскрытым бутонам сливы! О вы, по лотосам ступающие красавицы Узорной и Весенней палат! О изгибающиеся, как натянутые луки! Уж не из темного ли царства падают эти тени?..

Учитель смеется.

О нет, не надо расставлять вокруг меня эти причудливо отлитые, в красно-золотых цветах, свечи! Не надо умащивать мое

лицо Драконьим мозгом и играть на флейте из лилового нефрита... Дворец Слияний... Блаженная страна Инчжоу... Стон мой подобен крику одинокого лебедя в пустынных просторах... «Умоляю, Учитель, спасите!»

Опять смеется...

«О, Учитель! Но я не смею, не смею прикасаться к теням благоуханным, пока не научусь направлять Желтую реку вспять!»

И мудрый По кивает головой. Взмах рукава — и девы улетают, уносятся на крыльях ветров.

Ах, дорогой друг! Я, конечно, схитрил, и тем спас себя и свою любовь. Но ты легко себеобразишь мое состояние. Да и мог ли я тогда знать, что должен был всего лишь преобразовать все эти вещи и явления в числа, а числа, в соответствии с «Канонном превращений», — в фигуры-гуа [...]

[...] «Что есть шахматы?» — спросил я.

Мудрый По молча указал палкой на подрагивающую в углу хижины паутину. В центре замер паук...

Честное слово, Адорнас, надолго отпала у меня охота играть в шахматы [...]

[...] Он передвигается, будто оживший иероглиф, — старый, невесомый По. И наставляет меня: «Ступай так медленно или так быстро, чтобы не потревожить задумавшееся время» [...]

[...] а перед тем как сесть играть в шахматы, совершенно-мудрый По раздувает глубокий фимиам. Молится. Он входит в молитву с улыбкой блаженства на устах, будто в прохладу вод речных погружается. Ему предстоит распознать дороги, которые, как сказано, наполовину принадлежат людям, наполовину — теням... Плавной рукой расчесывает тонкие струи бороды своей, отделяя золотые от серебряных, заплетает их в длинную косу перемен. Неподвижно сидит в лунном свете. Только тень его скользит, описывая круг.

На лицо, жемчужно светящееся в сумраке, вновь как птицы, или как травы, или как паутина, слетаются морщинки.

Удар бронзового молоточка в «облачный гонг» — игра начинается.

Прикрыв глаза ладонью, быстро убегаю прочь: предоставлю бессмертному в одиночестве разыграть эту партию:

Не следует обычным людям
подсматривать игру бессмертных.
Фигуры по доске так быстро,
согласно мыслям, двигают они,
Как будто полководцы на равнинах
войска бросают в зарево сраженья...
Ты оглянуться не успеешь,
как платье на тебе истлеет,
И сам ты превратишься
в горсть костей сухих, —
Хоть кажется тебе, что минул
всего лишь миг-другой, не больше,
Тогда как пронеслись столетья.

[...]

[...] потому что тебе хорошо известно мое вечное стремление ко всему прекрасному. Так вот, друг мой, начал я с того, что постелил на полу циновки с узором, напоминающим рыбу чешую, обставился расписными ширмами и возжег курительные свечи — благовония ста смешений — на высоких треножниках в виде извивающихся золотых драконов. Я поставил перед собой дуаньсийскую тушечницу в виде клюва феникса и налил в нее литингуйскую тушь. Потом из сотни кисточек выбрал лучшую — из сюаньского волоса, с нефритовой ручкой — и разложил перед собой листы яньсийской узорчатой бумаги... О, я был полон наслаждения уже от одного вида всех этих предметов и предвкушал предстоящее занятие каллиграфией. Но главное — мне не терпелось утереть нос этому дерзкому Котомышу, который самонадеянно вознамерился соперничать с великой многовековой культурой. Ты ведь знаешь, что старый бессмертный По в совершенстве владеет более чем ста двадцатью стилями письма, и в настоящее время под его руководством я осваиваю «змеиную» и «заячью» каллиграфии. До последнего времени все шло как нельзя лучше. И тогда завистливый Котомыш дерзнул противопоставить нашей изысканной красоте свою безобразную каллиграфию «участкового врача». А надобно тебе сказать, друг мой, что укоренение такой каллиграфии непременно вызвало бы по всей Поднебесной наводнения, засухи, голодомор, эпидемии и, в конце концов, войны. «Ну уж нет, не бывать этому! — думал я, беря в руку кисть и окуная ее в тушь. — Дракон раздавит жабу! При виде лотоса от злобы зачихнет колючий репей...»

В эту минуту явился мой Учитель. Он ворвался подобно вихрю. Он разбросал все, что с такой любовью я расставил и приготовил: расписные ширмы, благовонные свечи, узорчатую бумагу... Он вылил драгоценную литингуйскую тушь прямо на пол! Что же это такое?! Я чуть не плакал от обиды и изумления.

«Не о том думаешь! — сказал совершенномудрый По, нахмурившись. — Пусть листья древесные служат тебе бумагой, а вместо туши — сок полыни» [...]

[...] Ну никак не давалось мне постижение этих двух заколдованных иероглифов! Девять кистей стер я до основания, раз за разом перенося на листы рисовой бумаги каждый из них — и длилось это мучение бесконечно. Но однажды погасший взор мой был озарен торжественным выездом Императора в сопровождении многочисленной свиты. Носилки под зонтами, маленькие, уютные павильоны с террасами и пагоды на колесах, холодное пламя шелков и парчи, сполохи вееров и цветов, грациозная поступь белых тигров, нежная речь мужчин и женщин, похожая на переливы флейт, на перезвоны колокольцев, на гудение стеклянных гонгов: цзин... цзин-чжоу... дзянь-цзин... чжао-чжоу-цзин...

И высоко над головой — небо, подгоняемое ветром, несется как стремительная река, и два дракона резвятся в его синеве.

Идя по следам растаявшей за горизонтом процессии, можно собирать прямо на дороге пригоршни изумрудов, жемчугов и бирюзы, драгоценные браслеты, головные украшения, туфли и мешочки с благовониями, чайники с недопитым вином, фарфоровую посуду и отломанные веточки ивы в знак прощания, трещотки из сандалового дерева и нефритовые флейты, записные книжки бицзи и даже императорские указы...

Пробудившись, я еще несколько дней благоухал ароматами, которые источали придворные Императора [...]

[...] Жизнь моя и моя смерть кормят друг друга. Я же — сам по себе: учусь насыщаться зарей...

В этот раз мудрый По явился на исходе лета. Он сидел верхом на ослике. В руке — зонтик из лепестков лотоса, за спиной — долгие версты тишины и безлюдья.

Поравнявшись со мной, он слегка придержал ослика, закрыл глаза и молча произнес: «Когда, наконец, ты почувствуешь, что твое одиночество больше тебя самого, — неизмеримо больше, — ты начнешь возрастать до его размеров».

Бессмертный По открыл глаза — и я тут же исчез.

Я так и не успел понять, друг мой, к кому обращался он: ко мне, к самому себе или к ослику? [...]

[...] И подул золотой ветер. Осень пришла, похожая на выдох. А я все вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю и выдыхаю...

Не знаю, сольются ли когда-нибудь Синий Дракон с белым Тигром в таинственном треножнике. Станет ли мое тело яшмовым, и лицо — кукольно-детским, как у совершенномудрого Хунь По? [...]

[...]

Осень дышит ветрами,
Облетают с деревьев холодные листья.
Ворон на ветке — перо обронил.

[...]

Дорогой Адорнас!

Сегодня, в седьмой день седьмой луны, просушиваю в саду книги, дабы книжный червь не завелся.

Извини, что так долго не давал о себе знать: не было сил взяться за перо, так болели руки, а особенно пальцы. Да и все тело до сих пор ломит. Ничего удивительного! Совершенномудрый неустанно занимается моим воспитанием, дабы мне поскорее войти в «праведный плод», и, надо сказать, изрядно преуспевает в этом. Ох, и достается же мне от его палки из пятнистого бамбука с реки Сян! Наверное, в этом бамбуке заключена особая сила: соцветие синяков, подобное тому, что украшает мое тело, редко встретишь в мире смертных. Они переливаются как перья зимородков на головных уборах красавиц. При этом нужно еще задерживать дыхание и стараться бесконечно длить «аромат книги». И очень важно, чтобы зрачки мои ясно блестели. Друг мой, ты когда-нибудь кричал криком обезьяны?.. Я кричал. И во мне рождалась тоска по родине.

Так что не взыщи за корявый почерк: с перебинтованными пальцами, сам понимаешь, не до каллиграфии.

А пока проветриваются книги, пью силянчжоуское виноградное вино, печалюсь по сердечному другу и слагаю печальные стихи:

Под сенью осени
Теплым вином услаждаюсь.
Сверчок — собеседник мой.

[...]

[...] что, оказывается, у них в Поднебесной это называется «втолковыванием и внушением», а попросту — «дубинкой и бранью». Если совершенномудрый будет просветлять меня в таком же духе и дальше, — а он обещает, что луны и годы пройдут, прежде чем я что-либо постигну, — я готов уже сегодня по сто раз в день взмывать в заоблачные выси или углубляться в недра земные и, в страхе перед бамбуковой палкой, сделаю это намного быстрее и лучше, чем искусный маг Ли Шаоцзюнь.

Впрочем, кажется, я уже начал понимать, что именно из десяти тысяч маленьких нет сотворится одно огромное Да. А затем, стремясь к округлению, как и все в Поднебесной, Да превращается в Дао [...]

[...] Дождь — лучший повод к вину, стихам и молчаливым беседам. Кто навещает тебя в непогоду, когда за окном темная ночь, и бушует ветер знобкий, и кричат городские обезьяны, — тот посланник небес, твой лучший друг.

Чашкой чая друга встречаю,
чашкой чая его провожаю...
Так, за чаем, и вечность прошла —
поместилась меж чашкой и чашкой.

[...]

[...] Там все реки с запада на восток текут. Учусь жить перпендикулярно своему прошлому [...]

[...] похоже, он вознамерился сделать из меня настоящего ся — тайно странствующего поборника справедливости, долг которого — разить зло, из какого бы мира оно ни явилось. У нас с тобой, где все реки текут с севера на юг, они называются рыцарями.

Врага можно одолеть многими способами, утверждает мудрый По: боевыми искусствами, изощренной хитростью, детской наивностью, невиданной щедростью, несусветной глупостью. А еще — заклинанием, плевком, персиковым деревом, учтивостью-жань, криком, фонарем-подсолнечником, шахматной фигуркой, красотой яшмовых дев и даже вкусной едой. «В выборе средств будь непредсказуем» — это первое условие. Второе условие гласит: «Твой сон должен быть сильнее сна твоего врага». Третье условие таково: «В бою твоя тень должна быть опаснее тебя самого». Условие четвертое заключается в согласии Грома и Ветра. И, наконец, пятое, важнейшее из условий: «Главный твой враг — судьба. Вопрос в том, кто кого переумрет».

Пока я размышляю над услышанным, Учитель скатывает из красной глины шарики для стрельбы из своего самострела. В глину он подмешивает особые ароматические вещества, так что смертоносные шарики дивно благоухают. Хотелось бы понять, чего здесь больше: любви к искусству или любви к врагу? [...]

[...] И не удивляйся, если, сразив наповал злого врага, обнаружишь вдруг, что это всего лишь куски гроба, сухая коряга, старая метла или куча полусгнившего тряпья...

Дабы удостовериться, что перед тобой не оживший мертвец, сначала посмотри, нет ли у него во рту нефритовой цикады.

Но все же помни: опаснее мертвых бывают иные живые [...]

[...] Стрела, поражая врага, умирает. Никогда не стреляй мертвыми стрелами [...]

[...] Можно, конечно, научиться умирять волны и в чайник с чаем заключать огненных драконов, можно по воздуху переноситься за тысячи ли и прогуливаться в коралловых лесах каменистого Пэнлая, или за один день жизнь целую прожить в Муравьином Царстве; можно жениться на дочери Владыки Драконов, как некогда Ли Юань: достаточно лишь вызволить из беды красную змейку. А еще можно превращаться в муху, таять облаком в небе, быть ударом меча и обращать врага в холодную воду, и со струей чая можно падать и падать — ниспадать в занебесные пустоты.

«Но в этом ли истинный смысл Пути? — спрашивает мудрый По. — Почему бы тебе не стать дровосеком?» [...]

[...] А сам-то он еще как умеет скрывать в своих рукавах кинovarь дань и свитки со стихами, и острый меч, и выходы в иные царства [...]

[...] Но вот старый По берет цитру и вместо струн натягивает на нее золотые и серебряные волосы своей бороды. Ах, что за дивный инструмент! То ли цитра становится продолжением мудреца, то ли мудрец — продолжением цитры [...]

[...] Первый музыкальный инструмент, на котором я учусь играть, вовсе не шэн, не цинь, не хуцинь и не цисюаньцинь. Это старый чу-гун, тяжелый и холодный. О мои огнем горящие ладони и онемевшие пальцы! И голова моя гудит, как этот самый чугун, и мой чугун гудит, как эта самая голова...

Старый По не дает мне уснуть: ведь стоит мне прекратить играть, как сразу исчезнут горы и равнины, леса и реки, и парус в осенней дымке, и сама дымка исчезнет, и осень вместе с ней [...]

[...] белая-белая зима. Старый завьюженный По. Брови струятся на морозном ветру — сизые дымки стелятся над седыми холмами. Залегли, погрузились драконы в спячку. Инеем и льдом покрылись их крылья. До весны ничто не разбудит их: ни колючие ветры, ни снежные метели.

Пью бесконечный чай — он меня согревает. Читаю ветхие книги. Поддерживаю огонь в очаге. Размышляю.

Сегодня пораньше улягусь спать. Того же и тебе желаю, друг мой.

Прими в дар эти скромные стихи, я написал их сегодня в час шэнь:

Свет луны ровно льется с небес,
серебрится-мерцает земля.
Зажигалкою чиркаю я в тишине:
огонек одинокий на тысячи верст.

[...]

[...] Одинокий-одинокый По. И я у себя — тоже один... По снегу совершаем обоюдоострые прогулки [...]

[...] Но это лишь мои предположения. Расспрашивать совершенномудрого я не осмеливаюсь: чуть что — он хватается за палку или как-то совсем не по-китайски отвечает вопросом на вопрос. Однажды, перекладывая старинные книги, я наткнулся-таки на несколько упоминаний о «девяти напевах». Воздействие этой волшебной музыки необыкновенно, пишет Сыма Цянь. Едва зазвучит она, один за другим являются расчудеснейшие звери, а в довершение прилетают фениксы. О том же повествует и «Книга преданий» — «Шуцзин»: «Когда на флейте девять раз исполнили мелодию шао, фениксы явились на ритуал».

Друг мой, еще не коснулась ушей моих таинственная мелодия шао, и неведомо мне, почему ее надо исполнять именно девять раз. Но я знаю, тебе это удалось. Как, должно быть, ты счастлив! И как мне хотелось бы достичь того же...

Пока же — я не сплю вот уже третьи сутки. Не смею спать: ибо каждые два часа бью в барабан. О, это целое искусство! Удар должен быть высшей пробы. Ведь в каждом заключены многие бесценные вещи: боевой дух, бдительность, благородство и самоотверженность хранителя мирного сна, музыкальность поэта, обитающего между бутонами ударов, между вдохом и выдохом [...]

[...] Десять тысяч звуков живут в одной ушной раковине. Одна нить связывает десять тысяч пространств.

Сквозь шепот ручья слушай прялки далекий стук. А за прялкой — пение иволги в пустынных полях. И в дальних далях полей — шорох болотных цицаний; слушай собаки лай и осторожную поступь охотника с луком из рога. Слушай, как за его спиной нарастает безмолвие опустевшей хижины. Там, за плетеным забором, неприметная притаилась цикада; слушай, как звенит ее крохотный сон.

И только теперь можешь взять в руки цинь, если он еще тебе нужен [...]

[...] о чем я уже и не мечтал.

И вот истекают Дни Холодной пищи, а я так почти и не прикоснулся ко всем этим яствам: сладостям из риса, абрикосовому сиропу, ячменному сахару... Я чего-то жду. Весна омолаживает мои надежды, так что забываю, сколько мне лет, и до слез умиляюсь всякой травинке, цветку малому и луне. И новый огонь добыт. И полна весенних соков ива. Безветрие — во мне и вокруг.

Выхожу на высокий балкон и слагаю песнь ночи:

Выхожу на высокий балкон —
ночь вокруг на тысячи верст.

Низко-низко луна плывет,
глади темных озер серебра.

Тишина и покой...
шорох птицы ночной.

Долго в пальцах кручу сигарету —
не решаюсь поджечь.

[...]

[...] С третьим ударом водяных часов явился совершенно-мудрый По. На нем было дерюжное платье без подкладки и такой же грубый дерюжный платок на голове. Не сразу узнал я его. «Дикие травы — обычная еда поэта. Ты готов к такой жизни?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, исчез, прихватив заодно моего ослика...

...На третьей позиции выпал ян, когда снова явился совершенномудрый По — в плаще и шляпе из тростника, верхом на голубом драконе. Он долго наблюдал за тем, как старательно я пережевываю водяные орехи, закусывая их сочными мальвами. Он даже достал из-за пазухи старый засушенный плод тяньполо и скормил дракону, а себе на язык положил цветок каменной корицы шигуйян. Когда я закончил трапезу, он сказал: «У Бо Цзюй-и было три самых близких друга: стихи, вино и цинь. А кто твои друзья?» Не успел я и рта открыть, как он уже исчез...

...Когда совершенномудрый По явился в третий раз, а было это в третью стражу, — пьяный, играл я на цине. Рядом со мной дремал изрядно посиневший голубой дракон, которого он забыл у меня в прошлый раз. Приплыл мудрец на «плоту восьмой луны». Богатые одеяния вельможного воина на нем не очень-то соответствовали традиции... Мы оба сделали вид, что не узнаем друг друга. Но, увидев иероглифы, которые я начертал на костлявой спине его голубого дракона, совершенномудрый обнажил меч и сказал: «Бывает, что в награду за одно изящное стихотворение поэт принимает смерть, как то случилось с бедным Гао Ци. А здесь, как я погляжу, их целых девять!» — и он показал на спину спящего дракона. «Хороший поэт — мертвый поэт», — отвечал я, не дожидаясь, пока старый По исчезнет, прихватив с собой своего голубого дракона с моими стихами, а мне оставив «осенний плот», середину реки и свой нескончаемый смех [...]

[...] И тут я вспомнил, как сказал он мне однажды: «Когда ты услышишь заунывные звуки варварской дудочки камышовой, знай: пора возвращаться домой» [...]

[...] Благоприятно созерцать.

На террасе быть перескрипыванием шагов, у приречного подворья — плеском весла, течением вод. За городскими воротами — извивами проселочной дороги быть, исчезая за холмами.

Праведному мужу есть куда выступить. По дороге шагая, пылью медленно оседать, быть безвременьем.

Счастье [...]

ПРИМЕЧАНИЯ

Albedo (лат.) — алхимический термин, обозначающий «Работу (или Делание) в Белом», т.е. второй этап Великого Делания, когда в ходе обработки вещество приобретало белый цвет. В духовном смысле Альбе́до символизирует воскресение к новой жизни после «смерти всего бренного» в душе человека (Nigredo, т.е. «Работа в Черном») и предваряет окончательное его духовное и физическое преображение, осуществляемое в процессе Rubedo, т.е. «Работы в Красном».

«Книга о зверях и чудовищах» — анонимное латинское произведение (Liber de monstris et beluis), своеобразная энциклопедия, представляющая множество вымышленных существ. Оно обнаружено и впервые опубликовано в 1836 г. почтенным Бергером де Ксивреем, использовавшим латинскую рукопись, датированную им X в. Эпиграф взят из «Пролога» (1) в переводе с латинского Н.Горелова («Жизнь чудовищ в Средние века», Санкт-Петербург, Издательство «Азбука-классика», 2004).

КНИГА КОРОЛЯ

Школа Магора

II. Незнакомец

Сезам, откройся! — «Сезам, откройся!» — из арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников» в составе других сказок сборника «Тысяча и одна ночь». Слова «Сезам, откройся!» произносит атаман сорока разбойников перед закрытым входом в пещеру, где хранились награбленные сокровища. Али-Баба, который пошел было в лес за дровами, эти слова услышал и, благодаря этому заклинанию, позже проник в пещеру и стал обладателем всех спрятанных там богатств. Слово «сезам» (иногда произносится «сим-сим») означает некий ключ к разгадке тайны, способ преодоления препятствия и пр.

... темно-синий плащ... — По скандинавскому поверью, бог Один, к примеру, или эльфы нередко являются людскому взору как незнакомцы, облаченные в плащи темно-синего цвета. На севере Европы темно-синий цвет означал нечто сверхъестественное или магическое.

III. Дом

Шёнберг Арнольд (1874–1951) — австрийский композитор, глава «новой венской школы», основатель метода додекафонии.

Бриттен Бенджамин (1913–1973) — английский композитор, дирижер.

... о так называемых монадах, о ноуменах и феноменах? — Монада (от греч. «единица», «единое») — понятие, используемое в ряде философских систем для обозначения конститутивных, т.е. определяющих (по Канту) элементов бытия. Мир ноуменов, т.е. мир непроявленных идей. Происходя из мира ноуменов, монада воплощается в мире феноменов, т.е. в мире множественного — мире плотной материи, — и таким образом постигает себя.

Порфирий (ок. 233 – ок. 304) — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма, ученик Плотина, издавший его сочинения; в конце жизни руководил философской школой в Риме; комментатор Платона, Аристотеля, Плотина.

«Эннеады» Плотина... — Плотин (ок. 204/205 –269/270) — древнегреческий философ, основатель неоплатонизма. «Эннеады» («Девятирицы»), главное произведение Плотина (издано его учеником Порфирием), в котором он выстроил грандиозную систему идеального универсума, ставшую связующим звеном между космологией Платона и пифагорейцев и философскими построениями Средневековья и Ренессанса.

...«Монадологию» господина Лейбница. — Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) — немецкий философ, математик, ученый-энциклопедист. Исходный пункт философии Лейбница — монады. Монада, по Лейбницу, — духовная, простая и неделимая субстанция, единица бытия, принцип познания мира. Монады установил Бог: простые монады (неорганические тела, растения), монады-души (животные), монады-духи (человек) и высшая монада — Бог. Все они отражают в себе все происходящее и в то же время являются внутренне самостоятельными. Монада как мельчайшая частица природы заключает в себе целый мир, в котором все живые существа находятся в органичном родстве между собой и с неорганической природой. Связь и развитие замкнутых монад возможны в силу предустановленной гармонии.

...систему эзотерической философии господина Шмакова. — В.А. Шмаков — по образованию инженер путей сообщения, представитель философского эзотеризма первой четверти XX в. Достоверных сведений о биографии почти нет. В своей книге «Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств» Шмаков пишет: «Каждая монада раскрывает в своей эволюции каждую идею, но согласно своей индивидуальной самобытности».

... свяжет все эти истории воедино серебряной нитью... — «Серебряная нить» (или «серебряный дворец») является символом оккультного Центра — «неподвижного перводвигателя». «Серебряная нить» — та

скрытая связь, которая соединяет человека с его Началом и Концом. Это понятие охватывает сердце и разум; поэтому в легендах и народных преданиях дворец старого короля содержит секретные комнаты, где хранится сокровище (или духовные ценности) (Х. Э. Керлот. Словарь символов, М., REFL-book, 1994).

... венок из желтых цветов омелы... — Древние кельтские жрецы друиды украшали свою голову венками из омелы, растения, живущего на различных деревьях. Друиды полагали, что желтый цветок омелы — путем тайной магии — наделен силой открывать спрятанные сокровища.

Витязь Эль Нат скачет сюда... — Эль Нат («Бодающая рогом») — звезда изумруда, бета Тельца; это нижняя звезда в «пятиугольнике Возничего», но к этому созвездию уже не принадлежит (сейчас проецируется на 22° 37' Близнецов). Впрочем, в древности ее относили порой одновременно и к Тельцу, и к Возничему. По Птолемею, она приносит не только счастье, удачу, но и опасность упасть с высоты или вывихнуть ногу.

«Nature boy» или «My Foolish Heart». — Известные джазовые баллады. «Nature boy» — авторы Том Кэнтвелл и Каролина Гирр; «My Foolish Heart» — песня из одноименного фильма (1949); авторы Виктор Янг и Нэд Вашингтон.

Фамулус — в средние века — слуга и оруженосец, а также студент, находящийся в распоряжении профессора для различных несложных поручений.

Лафит — один из лучших сортов французского вина бордо с легким, тонким и нежным вкусом.

Сгущай и растворяй... — В оригинале афоризм звучит наоборот: «Растворяй и сгущай» (лат. «Solve et coagula») и кратко выражает суть большинства действий, выполняемых алхимиком в процессе получения философского камня. В ходе первых двух ступеней Великого Делания растворяют твердые тела и сгущают летучие духи.

IV. Попугай Густав и Новые Тамплиеры

Бернд Вильгельм Генрих фон Клейст (1777–1811) — немецкий драматург, автор трагедии «Роберт Гискар», драмы «Пентесилея», новеллы «Михаэль Кольхаас».

... сожженного варианта «Роберта Гискара». — Трагическое мироощущение, явившееся следствием душевной болезни, побудило Клейста уничтожить ряд рукописей; в частности, он сжег вариант трагедии «Роберт Гискар».

Клошток Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт, автор многочисленных од.

«Lorelaj» Брентано... — «Lorelaj» — стихотворение Клеменса Брентано (1778–1842), немецкого поэта романтического направления.

«Плач Иеремии» — одна из трех библейских книг, написанных от лица ветхозаветного пророка Иеремии. Здесь приведены стихи из главы третьей Плача Иеремии.

... Версальского унижения... — Имеется в виду Версальский мирный договор 1919 г., завершивший Первую мировую войну, подписанный в Версале 28 июня державами-победительницами — США, Британской империей, Францией, Италией, Японией, Бельгией и др., с одной стороны, и побежденной Германией — с другой. По этому договору Германия лишилась части земель, ее сухопутная армия была ограничена и т. д.

Веймарская республика — общепринятое наименование буржуазно-демократической республики, существовавшей в Германии со времени принятия Веймарской конституции 1919 г. до установления в 1933 г. фашистской диктатуры.

... о Святом Граале из «Парцифалья» Вольфрама фон Эшенбаха... — «Парцифаль» — эпическая поэма (немецкая версия сказаний о святом Граале) немецкого миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170 — ок. 1220).

... отрывками из «Ивейна» Гартмана фон Ауэ... — «Ивейн» — эпическая поэма артуровского цикла сказаний, принадлежащая перу немецкого поэта-миннезингера Гартмана фон Ауэ (ок. 1170 — между 1210—1220).

«Книга героев» — («Книга богатырей») — под таким заглавием в конце XV века было опубликовано собрание эпических произведений германского Средневековья.

... о карлике Лаурине и Розовом саде... — Персонаж героических сказаний «Карлик Лаурин» и «Розовый сад», входящих в состав «Книги героев».

... о Хугдитрихе и Вольфдитрихе... — Поэмы о Хугдитрихе и Вольфдитрихе также входят в состав «Книги героев».

... все то, что в Германии зовется *Naturpoesie*. — «Естественная поэзия» (нем.) — термин немецкого литературоведения, развитый в эстетике романтизма. Означает народную, «естественную» поэзию, которая рассматривалась как первозданная, подлинная поэзия, стихийный продукт коллективного творчества, непосредственное излияние духа народа.

Вотан — (Водан, или скандинавский Один) — верховное божество в мифологии северных германцев, бог бурь и битв.

... о так называемых «Новых Тамплиерах» ... — «Орден Новых Тамплиеров» основан в 1900 г. бароном фон Либенфельсом (Йоргом Ланцем). Отличительным знаком Ордена была свастика. В 1932 г. Либенфельс писал: «Гитлер — один из наших учеников. Вы вскоре убедитесь, что он победит и разовьет движение, которое заставит трепетать весь мир». Несмотря на вклад в развитие фашизма, после 1938 г., после аннексии Австрии, Либенфельсу запретили печатать свои работы, а «Орден Новых Тамплиеров» подвергся преследованию и был распущен в 1942 г.

... об австрийском замке Верфенштейн... — В 1907 г. Либенфельс приобрел в Австрии замок Верфенштейн и переделал его в храм новой религии, в залах которого проводили церемонии «рыцарей Святого Грааля».

«Принесите жертву Фрадже...» — Цитата из книги Ланца фон Либенфельса «Теозоология» (1903). Герой Фраджа, или Фрейя, (готическое имя для Иисуса) якобы явился, чтобы спасти арийских женщин и научить их следовать завету: «люби своего соседа как самого себя, если он принадлежит к твоей расе».

Барон фон Зеботтендорф — (настоящее имя Рудольф Глауэр) — немецкий оккультист, основатель так называемого Общества Туле (1918).

Туле Гезельшафт — «Общество Туле», организованное бароном фон Зеботтендорфом в 1918 г. в Мюнхене. Туле — легендарная доисторическая цивилизация, ушедшая под воду, как знаменитая Атлантида. Слово «Туле», вероятно, восходит к названию столицы нордической Гипербореи. Символом Общества Туле стал кинжал на фоне дубовых листьев и солнечное колесо свастики. Штаб-квартира находилась в отеле «Четыре времени года» в Мюнхене. Идеология тулистов — смесь идей Блаватской, Гвидо фон Листа, Ланца фон Либенфельса и Хьюстона Чемберлена.

... «ледяная» концепция мироздания Ганса Гербигера... — Так называемая «теория огня и льда» немецкого оккультиста Ганса Гербигера, взятая на вооружение германскими нацистами, согласно которой «огонь и лед» — две стихии, лежащие в основе природы арийской расы.

... Петер Бендер... ..далеко пойдет, но плохо кончит. — В первую мировую войну молодой лейтенант германской авиации Петер Бендер, оказавшись во французском плену, увлекся оккультной литературой и, в частности, «теорией полой Земли» американского физика Сайруса Тида. Позже, во времена Третьего рейха, Бендер предложил применить эту «теорию» на практике: пользуясь «искривленностью пространства», с помощью инфракрасных лучей находить военные базы противника. С этой целью в 1942 г. руководством СС ему было поручено осуществить экспедицию на остров Рюген, которая закончилась полным провалом. В итоге Бендер погиб в концлагере.

Глазам их предстала страшная картина... — Речь идет о так называемом «пивном путче» нацистов в Мюнхене 9 ноября 1919 г.

... противоречила принципам «тотальной войны»... — Теория «тотальной войны» допускает использование любых средств для уничтожения противника, в том числе и направленных против мирного населения. Ее автор, немецкий генерал Эрих Людендорф (1865–1937), стал основоположником фашистской военной доктрины.

Отто Ран — автор книг «Крестовый поход против Грааля» и «Двор Люцифера». Считал, что и замок Грааля, и Мунсальвеш (Монсальват) Вольфрама фон Эшенбаха — это и есть замок Монсежур. Работы Рана появились в Германии в 1930 г., затем он вступил в СС и стал сотрудником института исследований «Наследие предков» (основанное Гиммле-

ром и Германом Виртом в 1933 г.). Его исследования, посвященные Граалю, опирались на философию Альфреда Розенберга, глашатая нацистской партии и друга Гитлера.

Святыня, которую Вы разыскивали в замке Монсегюр... — Речь идет о Граале, который, по преданию, хранился в замке Монсегюр, и последней хранительницей его была Эсклармонд, графиня де Фуа, вдохновительница и покровительница катаров (альбигойцев). Отто Ран считал, что катары унаследовали Грааль от визиготов. Он сохранился в руинах замка Монсегюр, и его спасли четыре рыцаря, бежавшие из замка. О. Ран полагал, что на Граале были выгравированы законы гиперборейцев.

... надгробие Великой Хранительницы этой Святыни... — Отто Ран побывал в Пиренеях, в монастыре, где похоронены графы де Фуа. Среди надгробий он не нашел надгробия Эсклармонд.

... Отто Ран погиб, как это принято было говорить, «при невыясненных обстоятельствах». — Отто Ран исчез в 1939 г.; говорили, что он покончил с собой на вершине горы Куфштайн. Однако существует предположение, что это не так и что О. Ран участвовал в раскопках Монсегюра, предпринятых немцами во время Второй мировой войны.

... с двумя «новыми рудольфинцами»... — Т. е. с современными последователями деятельности Рудольфа II Габсбурга (1552–1612), императора Священной Германской империи, который страстно интересовался оккультными науками.

... трактат Кеплера «Сон, или Астрономия Луны»... — Последняя книга Иоганна Кеплера (1571–1630), немецкого астронома и астролога, который долгое время жил в Праге при дворе императора Рудольфа II Габсбурга и был одним из ярчайших представителей так называемого Пражского центра.

... в тайны Ордена Мира, учрежденного еще императором Рудольфом... — Рудольф II Габсбург, учредив Орден Мира в Праге, собственноручно изготовил образец орденской цепи для награжденных этим орденом. Оккультные увлечения императора, видимо, имели прямое отношение к его цели — восстановить мир и истинную человечность на земле.

Цара Леандер (1907–1981) — швейцарская певица, главная звезда Третьего рейха, сменившая на этом посту Марлен Дитрих, уехавшую в Голливуд.

«Граф Люксембург» — оперетта венгерского композитора и дирижера Франца (Ференца) Легара (1870–1948).

Василий Валентин — псевдоним знаменитого алхимика XIV–XV вв., монаха бенедиктинского монастыря Святого Петра в Эрфурте, автора алхимического трактата «Двенадцать ключей к мудрости».

Марика Рокк — немецкая кинозвезда (венгерского происхождения) в период Третьего рейха. Самая известная роль — в фильме «Девушка моей мечты» (1944 г.).

В феврале канцлер Курт фон Шушниг без боя сдал Австрию... — Курт Шушниг (1897–1977) — федеральный канцлер Австрии в 1934–

1938 г., один из лидеров Христианско-социальной партии. Правительство Шушница заключило с фашистской Германией соглашения (1936 и 1938), ускорившие аншлюс.

... чешский президент Гача упал в свой знаменитый обморок... — Эмиль Гача (Гаха, Hácha, 1872–1945), в 1939–1945 гг. президент созданного в Чехословакии немецкими фашистами «Протектората Богемии и Моравии». Эпизод с обмороком в кабинете у Гитлера описан в книге Германа Раушница «Зверь из бездны».

... перебраться в Киев к его другу Рышарду Кобольд-Юревичу... — Рышард (Ричард) Юревич — историческое лицо; проживал в Киеве. До Октябрьской революции был управляющим доходным домом по адресу: Андреевский спуск, № 15 («Замок Ричарда Львиное Сердце»), в котором прожил всю жизнь. Во время гитлеровской оккупации Киева прятал евреев в подвале этого дома. Кобольд (нем. Kobold), по средневековым поверьям, дух — покровитель дома; домовый.

... издал в Страсбурге очень неплохую книгу о химических и духовных свойствах металлов на латинском языке с очень длинным названием. — Имеется в виду трактат «Correctorium — libellus utilissimus περί χημείας, cui titulum fecit correctorium» (Страсбург, 1596) Ришара (Richard) Английского, алхимика, жившего в XIV веке в Англии.

... вместе с герцогом Фландрским участвовал в осаде Антиохии... — Имеется в виду Ришар Пилигрим (Richard le Pèlerin) — французский трубадур XI–XII вв., уроженец Пикардии. Был спутником герцога Фландрского в Первом крестовом походе (1095) и оставил стихотворное описание осады Антиохии: «Chanson d'Antioche».

... по Александровской улице, которая в то время носила имя Кирова и которой уже в ближайшие дни предстояло стать Doktor-Todt-Straße... — Александровской эта улица (часть Подола от Почтовой площади до Контрактовой площади) называлась до революции. В 1919 г. была переименована в улицу Кирова, а в 1955 г. — Жданова. В годы немецко-фашистской оккупации (1941–1943) была переименована в Doktor-Todt-Straße. В настоящее время — улица Сагайдачного.

... по крутому Александровскому спуску... — Здесь имеется в виду спуск — от Европейской площади (площади Ленинского Комсомола в советскую эпоху) до Почтовой площади, соединяющий Крещатик с Подолом. В 50-е гг. XX в. Александровский спуск был переименован во Владимирский спуск.

... пожары на Eichhornstrasse, бывшем Крещатике... — В 1941 г. Крещатик был переименован в Eichhornstrasse в честь прусского фельдмаршала Германа фон Айхгорна, командовавшего в 1918 г. немецкими оккупационными войсками на территории Украины и убитого в том же году эсером Донским. Пожары, приведшие к почти полному уничтожению Крещатика, были результатом взрывов заложенной энквэвдистами во многих административных и жилых зданиях взрывчатки с часовыми механизмами.

Бабий Яр — урочище в Киеве в исторической местности Сырец. В годы немецко-фашистской оккупации Киева (1941–1943) — место массового уничтожения гитлеровцами мирного населения города, в основном евреев, членов Киевских подпольных организаций и военнопленных. Всего в Бабьем Яру погибло свыше 100 тысяч человек.

«Тевтонская ярость» — *Furor teutonicus* (лат.). Выражение восходит к «Фарсалиям» Лукана («Фарсалии», 254). Упоминание у Лукана о тевтонах (наряду с кимврами) связано с вторжением германских племен в северо-восточную Италию в конце II в. до н. э. и тяжелыми потерями, которые несли от них римские войска, пока в 102 и 101 гг. кимвры и тевтоны не были разбиты римским полководцем Марием.

... объявился некто Григорий Бостунич... — Грегор Шварц-Бостунич — член Общества Листа в Германии и создатель *völkisch* театра (своеобразная реконструкция ариогерманских традиций) под открытым небом, мистический антикоммунист и теоретик заговоров. Родился в 1883 г. в Киеве, где в 1908 г. получил образование юриста. В 1914 стал профессором истории литературы и театра в институте Лысенко, а впоследствии возглавил Железнодорожный театр в Киеве. Он активно боролся против большевиков и был приговорен ими к смертной казни. В процессе контрреволюционной борьбы Шварц-Бостунич пришел к выводу, что революция в России явилась результатом еврейско-масонского заговора. В 1920 г. он бежал в Болгарию, а в 1922 г. эмигрировал в Германию, где начал активно проповедовать теорию всемирного еврейского заговора. Первоначально примкнув к антропософам, Бостунич в 1929 г. обвинил сторонников Рудольфа Штайнера в пособничестве еврейским заговорщикам. Став в 1924 г. немецким гражданином, Бостунич изменил свое имя на Шварц-Бостунич. Помимо участия в ариософском движении, он активно действовал в нацистских политических кругах. В 1920-х гг. Шварц-Бостунич работал на агентство *Weltdienst* Альфреда Розенберга, а затем на СС. Погиб вскоре после окончания Второй Мировой войны при невыясненных обстоятельствах, последнее упоминание в живых относится к маю 1946 г.

Хорст Вессельштрассе — В 1941–1943 гг. в оккупированном Киеве улица Левашовская (теперь Шелковичная). Хорст Вессель — немецкий нацист, имя которого носил партийный гимн национал-социалистической партии Германии.

... провокациями нацистов вокруг честного имени моего друга Рудольфа Штайнера... ...при поджоге славного Гётенаума... — Рудольф Штейнер (Магор произносит на немецкий манер — «Штайнер») (1861–1925) — немецкий философ-мистик, основатель антропософии. В 1920 г. в городе Дорнахе в Швейцарии Штейнер открыл посвященный Гете «свободный университет науки о духе» — Гётеанум. Но в новогоднюю ночь 1 января 1923 г. здание Гётеанума было полностью уничтожено пожаром (позднее восстановлено). Существует версия, что поджог Гётеанума организовал отряд штурмовиков Рема, который перешел границу Швейцарии в Дорнахе, чтобы уничтожить или захватить архивы Штейнера.

... Самюэль Лейхте, известный под ложным именем и титулом «барона фон Джонсона»... — Душой германского франкмассонства в середине XVIII в. был некто Самуэль Лейхте, скрывавшийся под именем барона фон Джонсона. Еврей из Тюрингии, этот человек без всякого образования, внушал ужас даже ближайшим соратникам, называвшим его Черным Соломоном. В 1765 г. был арестован. При нем летоисчисление у немецких масонов начиналось от года гибели тамплиеров. За прием в ложу стали взиматься высокие взносы, которые выплачивались неизвестному главе общества и другим должностным лицам. Там насаждалась система строгого послушания. Посвященные рыцари вели себя с профанами оскорбительным образом.

... вымогатель и провокатор Гутомас... — Барон фон Гутомас — оккультист (XVIII в.), член масонского Ордена Африканских Архитекторов. Известен как авантюрист и мистификатор. Ходили слухи, что он также был иезуитом.

V. Полинерв и Чайная Церемония

Мейстер Экхарт (ок. 1260–1327) — немецкий средневековый мистик, приближавшийся в своих воззрениях к пантеизму, доминиканец. В 1329 г. папской буллой многие тезисы учения Экхарта объявлены еретическими. В тексте романа — цитаты из сочинения Экхарта «Проповеди и рассуждения».

VI. Возвращение в Дом

Ни киммерийских теней, ни черного дракона... — Киммерийская тень, черный дракон — на языке алхимиков обозначали черный налет на стенках реторты, появлявшийся вследствие разложения органических веществ при сильном нагревании. Черный дракон пожирает свой хвост и превращается в зеленого льва и т. д.

... имеее дело со львами и драконами... — Алхимические термины. Например, зеленый лев на языке алхимиков обозначает философскую ртуть (первичную материю для философского камня) и, кроме того, аурипигмент, массикот, ярь-медянку, железный купорос; красный лев — киноварь, сурьмяная киноварь, свинцовый глёт, сурик; дракон — сера, селитра, сулема, огонь. Зеленый дракон при дальнейшем прокаливании превращается в Красного льва.

... перед господами Лемери, Глазером и Менделеевым... Николая Лемери (1645–1715) — был владельцем аптеки, химик, автор «Курса химии». Кристоф Глазер (1615–1678) — химик, автор «Трактата о химии». Д. И. Менделеев (1834–1907) — русский химик; открыл периодический закон химических элементов — один из основных законов естествознания (1869).

... рецепт Рипли... — Джордж Рипли (ок. 1415–1490) — английский алхимик. В своей «Книге двенадцати врат» повторил рецепт получения философского камня, принадлежащий Раймунду Луллию.

Голланд Иоанн Исаак (XV–XVI вв.) — автор алхимических трактатов: «Химический театр», «Минеральная книга», «Камень Урины».

Тревизан Бернар (1406–1490) — граф Тревизанской марки, входившей в Венецианское государство, алхимик, тщательно следовавший сначала методам Разеса, арабского алхимика X в, а затем Джабира (Гебера). Наиболее известные алхимические работы Бернара — «Трактат о естественной философии металлов» и «Утраченный язык».

Суфлер — (от франц. souffler — «раздувать мехи») — так называли презрительно алхимиков-эмпириков, не прошедших «учения у мастера», в отличие от «адептов», озаренных «откровением и внушением свыше».

... к брачному ложу царя и царицы... — Т.е. химическая свадьба алхимиков — «союз серы и ртути философов в философском яйце».

Флегма — в старой медицине общее название слизей человеческого организма. В алхимии флегма также кристаллизационная вода.

Тригонал — редко употребляемое в астрологии название для аспекта трин с углом в 120°, который в натальной карте считается благоприятным аспектом.

VII. Братство фамулусов и прочие обитатели Дома Магора

Лучше всего помогало что-нибудь алеаторическое. — Алеаторика — в современной музыке метод композиции, предполагающий незакрепленность (мобильность) музыкального текста, ткани или формы.

«Эвоэ-Эван!» — восклицание участников вакхических процессов.

Гидраулюс — (гидравлюс) — античный орган, в котором необходимое давление воздуха, поступавшего в трубы, поддерживал столб воды. Имел от четырех до восемнадцати труб в одном ряду, количество рядов не превышало четырех. Изобретен в III в. до н. э. в Александрии механиком Ктесибием; был распространен в Римской империи, позднее — в Византии. В III–VI вв. вытеснен органом с мехами.

Виолы — семейство струнных смычковых инструментов, распространенных в Европе в XV–XVIII вв.: виолетта (альтовая), виола да гамба (малая басовая или теноровая), виола-бастарда (большая басовая), арчивиола (контрабасовая) и др.

Домра — древнерусский струнный щипковый инструмент. Наибольшее распространение получил в XVI–XVII вв. Использовалась скороходами как сольный инструмент, а также в ансамбле.

Кифара — древнегреческий струнный щипковый инструмент типа лиры. Состояла из корпуса — узкой прямоугольной деревянной коробки, двух ручек (прикрепленных к корпусу продольно) и перекладки, соединяющей ручки. Имела от 7 до 12 струн одинаковой длины, но разной толщины.

... «Bühnenfestspiele» Вагнера... — «Торжественные сценические представления» (нем.) — так называл свои музыкально-сценические произведения немецкий композитор, драматург и музыкальный писатель Рихард Вагнер (1813–1883). Имеются в виду его оперы «Тристан и Изольда», «Парцифаль», масштабная тетралогия «Кольцо Нибелунгов», состоящая из четырех опер («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов») и др.

Майлз Дэвис (1926–1991) — выдающийся американский джазовый трубач и композитор, оказавший значительное влияние на развитие джазовой музыки XX века.

Кларино — духовой инструмент эпохи барокко (XVII и первой половине XVIII вв.), род трубы с длинной трубкой и мундштуком особого устройства.

Цинк — средневековый духовой инструмент в виде деревянной трубки с отверстиями для пальцев и металлическим мундштуком.

... владел языком Огама... — Огам — древнейшая форма кельтского алфавита (I в. до н. э). По легенде, его изобретателем был Огма, бог литературы и ораторского искусства. Этот алфавит имеет форму прямых и наклонных линий и, по-видимому, восходит к более сложной, ныне уже утраченной, системе письменности друидов. Огам иногда называют Алфавитом Деревьев, поскольку каждая из его букв связана с названием какого-нибудь дерева.

«Мабиногион» — в литературе бриттов сборник древних сказаний, созданный в конце XI в. Основан на двух манускриптах: «Белая Риддерхская Книга» (1300–1325) и «Красная Гергестская Книга» (1375–1425).

... каждый год, 29 апреля праздновал день рождения Талиесина... — Талиесин — в мифологии валлийских кельтов — сын Кеддривен, появившийся на свет 29 апреля при сверхъестественных обстоятельствах. По мнению ученых, Талиесин — не просто легендарный персонаж, но реальное историческое лицо, бард, живший в VII в. и прославившийся благодаря своему выдающемуся поэтическому дарованию.

... распевая в его честь «Битву Деревьев» на языке оригинала. — «Битва деревьев» («Câd Goddeu») — знаменитая книга Талиесина, написанная на древнегэльском (шотландском) языке — одна из «Четырех древних валлийских книг».

... из коры ольхи, священного дерева Брана... — Здесь имеется в виду Бран, древний кельтский бог-ворон. Имя Бран, помимо значений «ворон» и «ворона», имеет еще значение «ольха». Позднее известен под именем Бран Благословенный — сын бога моря Лира. Р. Грейвс подчеркивает связь Брана с ольхой, основываясь также на древневаллийском «Сказании о Бранвен». Следы этого древнего культа (который, по его мнению, привезен в Британию с берегов Эгейского моря) он находит и в других источниках. (Роберт Грейвс. «Белая Богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии»).

... из граната, который, как известно, вырос из крови Адониса. — Адонис — в древнегреческой мифологии молодой охотник, возлюбленный богини любви Афродиты. По приказу Зевса, Адонис должен был проводить треть года с Афродитой, треть — с богиней подземного мира и плодородия Персефоной, а оставшиеся месяцы использовал по собственному разумению. Существует легенда о том, что Адонис проводил эти месяцы с Афродитой. В один из таких периодов его убивает превратившийся в вепря ревнивый возлюбленный Афродиты — Арес. После смерти Арес превратился в цветок анемон, а из его крови выросло дерево гранат.

... заглянуть в знаменитую эльфийскую книгу... — Существует множество легенд об эльфийских книгах. Шотландский священник Роберт Кирг в 1691 году отмечал, что эльфы «имеют много прекрасных и забавных книг: одни странной, почти “наркотической” природы, другие же головоломного содержания, подобного стилю розенкрейцеров». По мнению людей знающих, был род эльфийских книг, прочесть которые могли лишь обладающие даром духовидения (или ясновидения); для всех же прочих страницы такой книги навсегда оставались девственно чистыми.

«Запутанные руны» — зашифрованные руны (II–XIII вв.), созданные для того, чтобы путать и скрывать свое истинное значение. Это особая руническая система, где каждый обычный рунический знак намеренно не совпадает с традиционным его прочтением.

... слагал прекрасные баллады... — Способность к волшебному стихосложению, имеющему магическую силу очаровывать слушателей, — один из основных так называемых эльфийских даров.

Реверди Пьер (1889–1960) — французский поэт.

Захра — древнее кельтское литературное понятие, означающее «приключение», или, более конкретно, посещение Потустороннего мира, откуда герой или рассказчик приносит какое-то сокровище знаний, которое он завоевал в пути.

Гервазий Тильсберийский (ок. 1150–1235?) — английский писатель. В своей книге «Императорские досуги» (III, 34) рассказывает о том, как Св. Цезарий, архиепископ Аральский, наполнил свою рукавицу морским воздухом и перенес его в долину, ранее непригодную для обитания. С тех пор там всегда дует свежий ветер.

Диоскорид Педаний (ок. 40 н. э. — ок. 90) — римский врач, по национальности грек. В основном своем сочинении «De materia medica» («О лекарственных средствах») систематизировал все известные в его время медикаменты растительного, животного и минерального происхождения, сгруппировал свыше 500 растений по морфологическому принципу.

... не говоря уж об их пересказах доктором Лагуной. — Доктор Лагуна — испанский переводчик и комментатор трактата о лекарственных растениях греческого врача Диоскорида.

... трактат персидского ученого Гиамасбы. — Имеется в виду «Книга философа» Гиамасбы, персидского ученого, современника Заратустры

(VIII в. до н. э.), которая была переведена анонимным звездочетом на арабский язык лишь в XIII в. В ней скрупулезно перечисляются всевозможные планетные сочетания, охватывающие своим влиянием разные стороны человеческой жизни.

... «Бардо», труд, известный у нас под глупым названием «Тибетская книга мертвых». — Свод мифологических представлений о загробной жизни в тибетском буддизме. Само слово «Бардо» обозначает промежуточное состояние, в котором пребывает после смерти жизненная сила умершего, ожидая нового перерождения. «Тибетская книга мертвых» — современное название этого свода.

При всем нашем уважении к господам Юнгу и Эвансу-Вентцу, мы предпочтем обходиться без их переводов и комментариев... — Карл Густав Юнг (1875–1961) — швейцарский психолог, ученик З. Фрейда, основатель теории коллективного бессознательного, исследуя первообразные структуры сознания (архетипы), видел в них реликты мифологической архаики и интересовался в этой связи «Тибетской книгой мертвых». Известен первый перевод «Бардо» на европейские языки и комментарии к переводу, выполненные в 1927 г. антропологом и писателем, профессором Оксфордского университета Уолтером Эвансом-Вентцем (1878–1965). В этом издании помещены также и комментарии К. Г. Юнга.

Джабир ибн ал-Тарусуси (721–815) — арабский адепт VIII века. Известен также под именем Гебер. В своем сочинении «Сумма тайных совершенств» Джабир первым выдвинул теорию некоего катализатора, т. е. Философского камня, с помощью которого можно изменять пропорции элементов, входящих в состав металлов. В то же время вместе со своими учениками он издавал труды, касающиеся множества других предметов: математики, магии, астрологии и астрономии, медицины, зеркал, осадных орудий, механических автоматов.

... Одиссей спасся от чар Цирцеи. — Трава моли действительно существовала. Гомер в «Одиссее» рассказывает, как волшебница Цирцея превратила спутников Одиссея в свиней, и та же участь постигла бы и самого Одиссея, если бы вестник богов Гермес не дал ему чудесное средство, разрушающее чары. «Моли его называют бессмертные...» (Гомер. «Одиссея», X, стихи 304–306. Перевод В. А. Жуковского).

А если вы безумец, то вот вам эллебор. — Эллебор — растение, применявшееся в древности как средство от душевных болезней.

Тинктура — настой лекарственного вещества на воде, спирте, чаще в эфире.

... знаменитый германский териак... — Териак, универсальное лекарственное средство, открытое и описанное врачом императора Нерона Андромахом; состояло из 70 веществ. В средние века применялось против всех заразных болезней. По первой германской фармакопее 1535 года, состояло из 12 веществ.

... подлинник романа об Амадисе Галльском, авторство которого, как известно, приписывается Васко де Лобейре. — Васко де Лобейра —

португальский писатель, предполагаемый автор знаменитого романа об Амадисе Галльском. Португальская рукопись (ок. 1390) утеряна; предполагают, что она погибла во время лиссабонского землетрясения (1755). Существует еще один текст «Смелого и доблестного рыцаря Амадиса, сына Перiona Галльского и королевы Элисены» (в 4-х частях), считающийся подлинником и написанный на испанском языке. Первое известное нам издание появилось в Сарагосе (1508).

... из охваченной пламенем Александрийской библиотеки... — В Александрии было две библиотеки. Одна из них, большая по размеру, была построена из белого мрамора и соединена с «Музеем» («Мусейон» или «Храм муз»). Меньшая библиотека была размещена в храме, посвященном богу Серапису. «Мусейон» был основан между 320-м и 290 гг. до н. э. Птолемеем I. В дни наивысшего расцвета в «Мусейоне» хранилось около 500 тысяч свитков (в том числе рукописи великих древнегреческих драматургов Эсхила, Софокла и Еврипида), а в меньшей библиотеке при храме Сераписа насчитывалось 40 тысяч рукописей. Мусейон и библиотека просуществовали до III в. н. э. и были ликвидированы при императоре Аврелиане в 272–273 гг. Меньшая библиотека была уничтожена после выхода эдикта императора Феодосия I Великого против языческих культов в 391 г. Остатки некогда богатейшего собрания книг были сожжены в IX в. во время завоевания Александрии арабами.

... сочинения китайских астрологов, которые были безжалостно преданы огню невеждой Хуанди. — Китайский император Цинь Шихуанди (259–210 до н. э.) установил жесткую диктатуру и был противником свободной мысли и культуры, по его указу сожжена гуманитарная литература и казнены 460 ученых.

Писистрат — афинский правитель в 560–527 гг. до н. э. (с перерывами).

... в храме Пта в Мемфисе. — Пта (Птах) — в древнеегипетской мифологии покровитель искусств и ремесел, создатель всего сущего, первоначально почитался в г. Мемфисе, где в его честь был построен храм.

От них исходил аромат шафрана и кедрового масла. — Шафраном и кедровым маслом натирали оборотную сторону пергамента для предохранения от моли и червей.

... «Альмагесту» или «Четверокнижию» Птолемея... — «Альмагест» — трактат, написанный ок. 140 г. древнегреческим астрономом и астрологом Клавдием Птолемеем (ок. 90 — ок. 160), создателем геоцентрической системы мира, и являвшийся общепризнанной теорией для астрономии и астрологии на протяжении почти пятнадцати веков. «Четверокнижие» — большой астрологический труд Птолемея, состоящий из четырех книг.

Геминус — математик, астроном и астролог второй половины I в. до н. э., жил на о. Родос. Написал комментарии к Посидонию (ок. 135–51 до н. э., древнегреческий философ-стоик, учитель Цицерона.). Из дошедших до нас работ наиболее существенной является «Введение в астрономию».

Максим Исповедник (ок. 580–662) — византийский мыслитель и богослов. Философские взгляды его окрашены сильным влиянием Аристотеля и особенно Псевдо-Дионисия Ареопагита.

... об одной курьезной истории из жизни доктора Фауста... — Эта история содержится в народной книге о Фаусте, изданной в 1590 г. Иоганном Шписом («История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», гл. 51).

... сто восемь утерянных комедий Теренция и еще сорок одну и даже более — Плавта. — Это количество утерянных произведений римских комедиографов — представителей так называемой Новой аттической комедии — Теренция Публия (ок. 195–159 до н. э.) и Плавта Тита Макция (сер. III в. до н. э. — ок. 184) упоминается в народной книге И. Шписа со ссылкой на свидетельство Авзония (Авсония Децима Магна, IV в. — римского придворного поэта и риторика).

... след сальванелли... — Сальванелли в итальянском фольклоре добродушные и проказливые лесные духи. Подобно многим другим духам, сальванелли обожают сбивать с дороги путников. Те, кто по невнимательности наступит на след сальванелли, заплутают сами. И единственный в этом случае способ выбраться — пойти задом наперед.

Серваны — в итальянском и швейцарском фольклоре проказливые духи, которые воруют самые нужные вещи: ключи, ножницы, ручки, очки. Они потешаются над людьми, которых ловко одурачили. Кроме того, серваны срывают одеяния со спящих, завязывают узлом хвосты коровам, загоняют лошадей на крыши. Ростом они не более полуметра, у них веселые мальчишеские лица. Они склонны становиться оборотнями.

Vestigia semper adora! — «Всегда чтите следы [прошлого]». У Стация: «Nec tu divin(um) Aeneida tenta: // Sed longe sequer(e), et vestigia semper adora». — «Не посягай на божественную Энеиду, а издали следуй за ней и поклоняйся ее следам» (Стаций. «Фиваида», XII, 817).

Даже если они устрашают... — «Vestigia terrent...» — «Следы устрашают...» (Гораций. «Послания», I, 69–75).

Клянусь Эльфийскими Дарами... — К числу «эльфийских даров» относятся: долгожительство, искусство постигать таинства чародейских знаков, резать руны, разбираться в травах, диво-камнях, изгонять призраков и т. д.

... откровениями аббата Виллара... — Никола Монфокон де Виллар (1635–1673), автор знаменитой книги «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках», в которой повествуется об отношениях духов стихий с людьми.

«L'Нурерchimi» — «Гиперхимия» — современный французский журнал по алхимии.

Сила од — «открытая» Карлом, бароном фон Рейхенбахом (1788–1869), немецким естествоиспытателем и техником, некая таинственная сила, близкая, но не тождественная с «животным магнетизмом Месмера». Проявления силы од заметны лишь особым «сенситивам», преиму-

щественно людям, страдающим разными расстройствами нервов, особенно каталепсией. «Сенситивы» эти большей частью видят в полной темноте свет, исходящий из полюсов магнитов, с поверхности человеческого тела, и вообще при самых разнообразных обстоятельствах.

... в византийском словаре Свиды... — Свида — автор византийского словаря, составленного в X–XI вв. и содержащего множество сведений энциклопедического характера. О личности составителя словаря почти ничего не известно.

Калев Ефендиунуло (1450–1500) — турецкий ученый, живший в Адрианополе, Белграде и Константинополе. Составил обширную энциклопедию, названную им Садам Царя.

... цветок копытня... — Копытень — растение, растущее под пологом леса; умброфит. Это растение хорошо переносит затенение.

Галь Йозеф Франц (1758–1828) — немецкий медик, основатель краниологии (учения о строении черепа), бравшийся определять способности человека по форме черепа и выступавший с демонстрацией своего метода по всей Европе.

Царская водка — химическая смесь концентрированной соляной и азотной кислот, содержащая свободный хлор и хлористый нитрозил, благодаря присутствию которых она растворяет золото — «царя металлов».

... меч Калибурн, принадлежавший королю Артуру. — Калибурн (Экскалибур) — легендарный меч короля Артура, изготовленный на острове Авалон.

VIII. Ночной полет

Уркаля — в мусульманском сектантстве «третий мир», посредничающий между людьми и духами, область воображаемого, где души пребывают как образы, отраженные в зеркале.

... книги графа Бальдассаре Кастильоне «Il Cortegiano» ... — Бальдассаре Кастильоне (1480–1529), итальянский писатель, автор трактата «Придворный» («Il Cortegiano», 1528), в котором он в диалогах рисует тип идеального придворного и дает картину изысканных обычаев и остроумных бесед итальянского общества времен Возрождения.

Quinta essentia — «Квинтэссенция» («пятый элемент», лат.) — особый вид материи, которая уже не подлежит превращениям и может совершать только чистое движение. Из нее состоят небесные тела, которым свойственно наиболее совершенное движение, круговое — вокруг центра мира.

... в книге Ордерики Витала... — Ордерик Витал — нормандский историк XI века, сообщает о видении некоего священника Гошелина, который 1 января 1091 года, возвращаясь ночью от больного, видел проходящее по пустынной дороге «войско Эрлекина». Сам Эрлекин изображен в виде великана. Войско его — души умерших грешников из чистилища, искупающих свои грехи.

... из несовершенного Мусика в совершенного Мусея... — Мусей — мифический древнегреческий поэт и прорицатель. Считался учеником легендарного певца Орфея.

... словарь растений Филиппа Миллера... — Филипп Миллер (1691–1771) — английский ботаник, директор Аптекарского сада в Лондоне; составил словари растений, переведенные на другие европейские языки.

... «О свойствах трав» Макра... — Имеется в виду поэма «О свойствах трав» итальянского поэта XI века Псевдо-Макра.

Эмпедокл (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий поэт родом из Агригента, философ, политический деятель, считался чародеем.

Magister dixit! — «Мастер сказал!» (лат.) — выражение средневековых схоластов, с помощью которого они, по примеру учеников Пифагора («Autos epha!» (греч.) — «Сам [т. е. Пифагор] сказал!»), ссылались на мнение Аристотеля, как на самый авторитетный довод.

... пугать простую гортензию с Гортензией, племянницей кардинала Мазарини... — Гортензия, герцогиня Мазарини (1646–1699) — племянница кардинала Мазарини, первого министра Франции; разойдясь с мужем, жила в Англии при дворе Карла II Стюарта. Принадлежала к так называемому «Млечному пути» — обществу дам в Гемптон-Корте.

...а Млечный Путь с обществом фривольных красавиц при дворе Карла II Стюарта... — «Млечный путь» — так называлось общество великосветских дам, составлявших гарем Карла II Стюарта (1630–1685), который он устроил в Гемптон-Корте — резиденции английских королей в окрестностях Лондона. В число дам «Млечного пути» входили Гортензия, герцогиня Мазарини, леди Ранелла (дочь ирландского лорда, графа Ричарда Ранелла), Арабелла Черчилль (сестра полковника Джона Черчилля, известного в истории под именем герцога Мальборо).

Philosophus per ignem — «Огненный философ» (лат.); так в свое время назывались алхимики.

Досократики — древнегреческие философы, жившие до Сократа и занимавшиеся преимущественно натурфилософией.

... Стагирит и Искусство Прогулки... — Стагирит — прозвище Аристотеля, который был родом из Стагиры в Македонии. Аристотель в Афинах создал свою школу, получившую название Ликей, по имени храма Аполлона Ликейского, вблизи которого она находилась. При школе был сад с крытыми галереями для прогулок (греч. peripatos), и поскольку занятия проходили там, школа получила название «перипатетической», а принадлежащие к ней — «перипатетиков».

... онтологическое доказательство существования Бога в изложении Ансельма Кентерберийского... — Впервые было сформулировано Ансельмом, архиепископом Кентерберии (1033–1109), применительно к чисто богословской проблеме, и сводилось к тому, что мыслимость Бога является логическим обоснованием его существования.

Чжу Цзай-Юй (1536 — ум. после 1610) — китайский музыкальный акустик. В 1584 г. обосновал теорию 12-ступенного равномерно-темперированного строя.

... изучать «Гармонику» Клавдия Птолемея... — Клавдий Птолемей (ок. 90 — ок. 160) — древнегреческий астроном, географ, математик, музыкальный теоретик. Его трактат «Гармоника» представляет собой свод греческой науки пифагорейской традиции, в котором излагается учение о ладовых звукорядах, интервальных родах. Музыка связывается с другими проявлениями гармонии — в душе человека, в движении небесных тел.

... Аристидову теорию ритма в неподвижных телах... — Аристид Квинтилиан (II или III в.) — древнегреческий музыкальный писатель, последователь Аристотеля. Основное сочинение — «О музыке. Он указывает на факт существования ритма в неподвижных телах — например, в статуях.

... все шесть книг «De musica» Аврелия Августина... ...подробно останавливается на искусстве модуляции. — Трактат «De musica» («О музыке») Аврелия Августина (Блаженного) в 6-ти книгах. Это сочинение о ритме в самом широком смысле слова, или, более узко, о числовых закономерностях искусства. Августин особо останавливается на «модуляции», т. е. принципах правильной организации движений. Эти принципы суть числовые закономерности.

... до числового пифагорейства... — Имеется в виду пифагорейская школа — древнегреческая научная школа (VI–IV вв. до н. э.), основанная Пифагором в Кротоне. На базе философии числа, эстетики пропорций, в контексте обобщающего учения о мировой гармонии пифагорейцы разработали науку теории музыки как специальную область знания — учение о звуке, интервалах, консонансе и диссонансе, ладах, интервальных родах и «окрасках», теорию музыкальной системы, строя.

... в мусических искусствах... — К мусическим искусствам в древности относили музыку, поэзию, танец, театральное действо, изобразительное искусство, риторiku. Платон относил к мусическим искусствам даже философию как «высочайшее из искусств».

Секст Эмпирик (кон. II — нач. III вв.) — древнегреческий философ и ученый, представитель скептицизма; один из первых историков логики.

Никомах из Герасы (ок. 100 г. н. э.) — древнегреческий математик и философ, автор труда «Введение в арифметику», содержащего обзор начал пифагорейской теории чисел.

Полигимния — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница музыки.

Фаринелли (настоящее имя Карло Броски, 1705–1782) — один из крупнейших итальянских певцов-кастратов, мастер искусства бельканто. Выступал на оперных сценах Италии и других европейских стран.

Има Сумак (1922–2008) — перуанская певица, исполнительница оперной и народной музыки, обладавшая голосом более чем в четыре октавы.

... «поющее пламя» в пирофоне Кастнера. — Евгений-Фридрих Кастнер (1852–1882) — немецкий физик. Занимался исследованием так называемого «поющего пламени». Такое пламя получалось при горении светящегося газа в стеклянных трубках определенной длины. Пользуясь открытым им принципом интерференции, Кастнер построил особый инструмент — «пирофон», в котором вместо одного пламени применял два. Тоны пирофона были похожи на человеческий голос.

«Пинии Рима» Респиги... — Музыкальное произведение из симфонической трилогии итальянского композитора Отторино Респиги (1879–1936).

... Симфонию № 5 Сильвестрова... — В. В. Сильвестров (род. 1937) — современный украинский композитор. В 60-е гг. XX в. входил в группу «Киевский авангард». В 1970 г. был исключен из Союза композиторов. Сегодня его музыка широко исполняется во всем мире.

... все тонкости Гандхарва-веды, изобретенной Муни Бхаратой на основе знаний индийских кентавров. — Гандхарва-веда — теория музыки, в которую включаются драма и пляска. Муни Бхарата (ок. IV в.) — основоположник современной индийской музыкальной системы. Автор стихотворного трактата «Натья-шастра», в котором излагаются основные элементы вокального искусства, танца, мимики, различных форм пения, инструментальной музыки. Гандхарвы — второстепенные индийские божества, гении музыки и пения, небесные певцы и музыканты. Они составляют свиту Индры. Многие ученые отождествляют их и греческих кентавров. Относящиеся к Гандхарвам Кимнары имеют лошадиные головы.

... «Gradus ad Parnassum» Фукса... — «Лестница к Парнасу» (лат.), теоретический труд австрийского композитора, органиста и музыкально-теоретика Иоганна Йозефа Фукса (1660–1741) служил методическим пособием для музыкантов XVIII–XIX вв., в том числе Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта.

... из «Рациональных и социологических оснований музыки» Макса Вебера... — Речь идет о книге немецкого социолога, историка и экономиста Максимилиана Карла Эмиля Вебера (1864 — 1920).

... о трудах Джузеппе Царлино, Кальвизия, Гвидо д'Ареццо, Цельтера... — Джузеппе Царлино (1517–1590) — итальянский теоретик, установивший понятия о мажоре и миноре как основе музыки. Кальвизий (1556–1615) — немецкий ученый и музыкальный теоретик. Гвидо д'Ареццо (Гвидо Аретинский, ок. 992–1050?) — итальянский музыкальный теоретик, один из реформаторов нотного письма; ввел в употребление четырехлинейный нотный стан, заложив основы современного нотного письма; теоретически обосновал систему гексахорда. Карл Фридрих

Цельтер (1758–1832) — немецкий композитор, дирижер, хормейстер, скрипач, а также музыкальный теоретик; постоянный музыкальный консультант Гете и учитель Мендельсона.

Гвидонова рука — (*лат.* manus Guidonis, по имени Гвидо д'Ареццо), или «гармоническая рука» — дидактический метод демонстрации звуковой системы, получивший известность на рубеже XI–XII вв. Все употребительные в то время звуки условно размещаются на суставах и кончиках пальцев левой руки.

... ни в «*Micrologus de disciplina artis musicae*», ни в «*Epistola ad Michaelem de ignoto cantu*»... — Оба трактата о музыкальном искусстве и простых правилах пения написаны Гвидо д'Ареццо ок. 1028–1032 г.

«Все дело в медленном огне». — «Медленный огонь» — алхимический термин, обозначающий постепенное нагревание при соблюдении постоянной температуры.

... в бессмертной Книге сказано... — Имеется в виду древнекитайский трактат «Ицзин» («Книга перемен»).

Праздник Хризантем — у китайцев праздник так называемой «двойной девятки» — девятого числа девятой луны. Это праздник глубокой осени и прекрасной хризантемы. По традиции, идущей из древности, в этот день выезжают из города, стараясь забраться повыше в горы.

А результат один: Дворец... — Имеется в виду Дворец Любви — образ, распространенный в средневековом искусстве. Средневековый теоретик любви Андрей Капеллан говорит о следующих ступенях любви: надежда, созерцание, объятия, полная отдача.

Как говорил мастер Ильдефонс... — Константы Ильдефонс Галчиньский (1905–1953) — польский поэт, по прозвищу «мастер Ильдефонс». Здесь приводятся строки из стихотворения Галчиньского «Фарландия» (*англ.* Far Land — «далекая страна»).

Перефразируя «Изумрудную Скрижаль», можно сказать: «Что внутри, то и снаружи». — В «Изумрудной Скрижали», эзотерическом трактате, приписываемом Гермесу Трисмегисту сказано: «Что сверху, то и внизу, и что внизу, то и сверху».

... кто-то на кого-то обменял какого-то Луиса Корвалана. — Луис Корвалан (1916–2010) — бывший Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили. После военного переворота (1973) находился в заключении. Освобожден в 1976 г. в результате усилий организации Международной амнистии, его «обменяли» на советского диссидента и политзаключенного Владимира Буковского.

... призрак Анны Болейн... — Анна Болейн (ок. 1507–1536) вторая жена английского короля Генриха VIII Тюдора. 19 мая 1536 г. ее обезглавили по обвинению в измене супругу. С той поры в течение столетий призрак казненной появлялся на лестнице знаменитой лондонской Белой башни. Последний раз фигуру женщины в белом видели в 1933 г.

Пицаль — древнерусское тяжелое ружье, а также артиллерийское орудие (XV–XVII вв.).

Бомбарда — одно из первых артиллерийских орудий, применявшихся при осаде и обороне крепостей в XIV–XVI вв.

Кун-цзы — Конфуций (ок. 551–479 до н. э.), древнекитайский мыслитель.

«Лунь юй» — «Беседы и суждения» — книга Конфуция, в которой он изложил свои основные взгляды. В тексте романа — игра слов: «лунь» — производное от «Луна».

... согласно Кириллу Иерусалимскому, “одержанье” происходит ... — Кирилл Иерусалимский (315–386) описывает, как дьявол «тиранически использовал чужое тело. Пена шла у них вместо слов, человек погружался во тьму: его глаза были открыты, но его душа не была видна в них, и несчастный бился в конвульсиях».

Почитайте Видока, начальника парижской полиции... — Эжен-Франсуа Видок (1775–1857) — бывший каторжник, ставший впоследствии начальником Парижской тайной полиции. Написал автобиографическую книгу «Записки Видока».

Оппенгеймер Роберт (1904–1967) — американский физик, автор трудов по квантовой механике, физике атомного ядра и космических лучей, разделению изотопов, нейтринным звездам; руководил (1943–1945) созданием американской атомной бомбы.

Caput mortum — «Мертвая голова» (*лат.*) — алхимический термин, обозначающий оставшиеся в тигле и бесполезные для дальнейших опытов продукты производимых алхимиками химических реакций.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Репетиция Блуждающего Оркестра

... берите пример с кальтиста Данилкина... — Слово «кальтист» — авторский неологизм (от нем. kalt — холод). Шутливая аллюзия на «Альтиста Данилова» В. Орлова.

Маркус Герардс Младший (1561/62–1635/36) — фламандский живописец. Писал портреты и картины, главным образом, на исторические темы.

... хранящийся на гомофонно-гармонических складах... — Здесь — игра слов. Гомофонно-гармонический склад (гомофония) — способ изложения музыкального «текста», при котором один из голосов играет главенствующую роль, а остальные — подчиненную (гармоническое сопровождение, аккомпанемент).

... с «локонами любви» у самого уха... — «Локон любви» мужчины носили около уха; был особенно моден в мужских прическах 90-х гг. XVI в.

Татарка — историческая местность в Киеве.

А вы, Джеф? — «Джеф» — жаргонное название наркотика, производившегося кустарным способом на некоторых киевских кухнях в 70–80 гг. XX в.

... невесомый бандж — сильный наркотик, изготовленный из индийской садовой конопли. Здесь — игра слов.

... с нежными сим-симвоными струнами. — «Сим-сим», или «се-зам» — индийская конопля. Здесь — игра смыслов.

Квинтоль — ритмическое деление нотных длительностей в такте на равные 5 долей (или 5-дольное деление).

Клянусь аускультацией... — Аускультация — врачебный метод исследования; выслушивание (непосредственно, т. е. ухом, либо с помощью стетоскопа или фонендоскопа) звуковых явлений главным образом в легких, сердце.

... я вам подпорчу мордент... — Мордент — музыкальный термин, обозначающий орнаментальное украшение в музыке. Здесь — игра слов.

Святая Цецилия — христианская мученица (ум. в 230 г.), покровительница музыки.

КНИГА КОРОЛЯ

Школа Магора (продолжение)

Х. Легенда об Изумруде. Эльфийская книга Тиндалина

Андроид — автомат в виде человека, искусственное существо с человеческим обликом. Известен андроид греческого механика и математика Герона Александрийского (втор. пол. I в. н. э.). Альберт Великий и Фома Аквинский тоже занимались созданием механических приспособлений. По преданию, созданный Альбертом андроид был уничтожен Фомой Аквинским.

... читаю его «Секреты». — Имеется в виду книга «Секреты Альберта Великого», несколько глав из которой, как считают современные исследователи, действительно принадлежат перу Альберта Магнуса.

Фантоши — куклы с механическими и автоматическими приспособлениями для передвижения; применяются в кукольном театре.

... в знаменитом театре Доминика Серафена. — Доминик Серафен — французский театральный деятель, который в 70-е гг. XVIII в основал в Версале театр марионеток, впоследствии переведенный в Париж и существовавший там до середины XIX в.

Полишинель — персонаж французского народного театра, родственник русскому Петрушке и английскому Панчу. Полишинель — горбун, веселый задира и пересмешник, с петушиным носом, отколотивший дубинкой самого черта.

Генрих Чольбе (1819–1873) — немецкий врач и философ.

Сенсуализм — направление в теории познания, согласно которому чувственность (ощущения, восприятие) является основой и главной формой познания. Противоположен рационализму.

Панпсихизм — учение об одушевленных атомах как первоначале мира и о всеобщей одушевленности природы.

Эмпедокл — древнегреческий философ (V в. до н.э.), признавал «корнями» всего сущего четыре стихии (огонь, землю, воздух, воду), сначала соединенных Любовью в блаженном единстве, а затем раздробленных роковой Враждой. Мир есть продукт воздействия Любви на эти разбросанные стихии, которые постепенно собираются вновь и организуются ею в мировом процессе. По Эмпедоклу, подобное познается подобным.

... «человечком из-под виселицы»... — (нем. Galgenmännlein — букв. «человечек из-под виселицы», «висельничек») — гнусное существо, рождаемое в земле из семени повешенного и дарующее своему хозяину возможность безграничного обогащения. Существовало поверье о происхождении мандрагоры из поллюции повешенного.

«Махабхарата» — эпос народов Индии. Современный вид приобрел к середине I тысячелетия.

«Агастья» — древнеиндийский манускрипт о драгоценных камнях, в котором повествуется о восьми видах изумруда. Санскритское или персидское название — «заморрод» со временем превратилось в греческое — «смаргадос», а затем в латинское «смарагдус». Современные звучания: «эмеральд» (а ранее «эсмеральд» от лат. emerald), «смарагд», «изумруд» — появились в средние века. Вначале под этими названиями объединялись любые зеленые камни, как прозрачные, так и непрозрачные, и, вероятно, в XVI в. так называли разновидность берилла сочного зеленого цвета.

... «Зеркало природы» Винцентия из Бове... — Винцентий (Винсент) из Бове (ок. 1190 — ок. 1265) — монах-доминиканец, автор трактата «Speculum naturale», называвшийся сначала «Тройным зеркалом», — компендиума разнообразных знаний средневековья и составляющего «зеркала» природы, науки и истории; позднее к ним было прибавлено «зеркало» морали, образовав свод так называемого «Большого зеркала».

... «Книга природы» Конрада фон Мегенберга. — «Книга природы» немецкого космографа Конрада фон Мегенберга (1309–1374) — средневековый свод знаний о живых и неодушевленных явлениях природы.

Бируни из Хорезма... — Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни (973 — ок. 1050) — ученый-энциклопедист. Писал на арабском языке. Автор трактатов, посвященных астрономии, астрологии, математике, географии и другим наукам.

А в «Лапидарии Короля Альфонса X Мудрого»... — Альфонс X Мудрый (1252–1284) — король Кастилии и Леона. По его приказу был сделан перевод «Лапидария». Оригинал, с которого был сделан перевод, не сохранился. Как ясно из полного названия трактата — «Книга о связи камней со знаками Зодиака», Лапидарий астрологический, явно восточный. В прологе сказано, что книга была переведена с «халдейского», т. е., по-видимому, сирийского, языка на арабский неким Аболаисом. Его отождествляют с Абу-ль-Аббасом, врачом и переводчиком из Кордовы. В «Лапидарии» 360 глав о камнях. Пролог принадлежит Аболаису.

... правила «смарagdовой доски» — (т. е. «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста) — легли в основу алхимических представлений, согласно которым смарагд (изумруд) играл такую же роль в превращении минералов, как ртуть в превращении металлов.

... Нерон обладал каким-то необыкновенным изумрудом... — Римский император Нерон использовал выточенную из цельного изумрудного кристалла линзу в качестве своеобразного монокла. По преданию, этот изумруд способствовал долголетию и рассеивал ипохондрию, превращал сны в явь и открывал тайные мысли.

Якоб Буркхардт (1818–1897) — швейцарский историк и философ культуры, зачинатель так называемой «культурно-исторической» школы в историографии, выдвигавший на первый план историю духовной культуры.

Тихо Браге (1546–1601) — датский астроном, реформатор практической астрономии, работавший, как и Кеплер, при дворе императора Рудольфа II Габсбурга (один из рудольфинцев). Создал собственную модель мира, отличную от систем Птолемея и Коперника.

... в полной мере мог убедиться имперский генералиссимус и адмирал флота герцог Альбрехт фон Валленштайн... — Альбрехт фон Валленштайн (1583–1634) — полководец, с 1625 г. — имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне (1618–1648). По обвинению в сношениях с неприятелем отстранен от командования и убит своими офицерами. И. Кеплер составлял ему гороскопы (дважды — в 1608 и 1634), в одном из которых увидел все признаки скорой смерти Валленштайна.

Елизавета I Английская, Тюдор (1533–1603) — английская королева (с 1558 г.), дочь Генриха VIII и Анны Болейн.

Ян Замойский (1542–1605) — польский коронный канцлер (с 1578 г.), великий коронный гетман (с 1581 г.), предводитель шляхты; противник Габсбургов.

Иннокентий III (1160 или 1161–1216) — римский Папа (с 1198 г.); инициатор Четвертого крестового похода и похода против альбигойцев.

Юлий II — Джулиано делла Ровере, (1443–1515), папа римский в 1503–1515.

Фирман Луций Таруций (116–28 до н. э.) — римский астролог, который пользовался особым почетом. По поручению своего друга Варрона он сделал попытку вычислить по звездам год основания Рима.

Руджери Роже (Старший) — французский алхимик, личный врач Лоренцо Медичи Великолепного (1449–1492), герцога Урбино, возглавлял школу «тайных наук», из которой вышли Дж. Кардано, Нострадамус и Агриппа.

Известно, как Эццелино да Романо окружил себя... — Эццелино да Романо (1194–1259), полководец, глава партии гибеллинов в Северной Италии, зять и викарий Фридриха II. Известен своей жестокостью. Вместе с тем он был глубоко суеверен и склонен к мистицизму, верил в астрологию и возил за собой целый штат предсказателей.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 150 — после 220) — христианский теолог и писатель.

... в свое время Климент Римский, друг апостола Петра... — Климент Римский (кон. I в.), святой, раннехристианский грекоязычный писатель, автор I Послания, написанного к христианам Коринфа в связи со смутой, волновавшей общину этого города. Был епископом Рима в 90-е гг. Исторических свидетельств о нём почти не сохранилось. Тертуллиан сообщает, что Климент Римский был хиротонисан святым Петром.

Бальбилл — александрийский астролог и математик, в 60-х гг. I в. н. э. пользовался широкой известностью в Риме. Образ Бальбилла, как считает французский историк раннего христианства Эрнест Ренан (1823–1892), нашел свое отражение в Апокалипсисе в лице Лжепророка, отмечающего людей печатью Зверя.

Читайте Светония... — Гай Транквилл Светоний (ок. 70 — ок. 140) — римский историк и писатель. В своем главном сочинении «О жизни двенадцати цезарей» излагает исторические события и привычки цезарей (от Юлия Цезаря до Домициана).

... труды Плиния Старшего о минералогии и сверхъестественных качествах минералов. — Прежде всего это «Естественная история» в 37 книгах.

... де Боот... — Очевидно, имеется в виду Боэций де Боот (1552–1612), ученый и естествоиспытатель, занимавшийся магическими и целебными свойствами камней.

... «Поэму о геммах и драгоценных камнях», написанную латинскими виршами теологом Марбодом Реннским... — Речь идет о стихотворном лапидарии (описании камней) французского латинского писателя Марбода Реннского (1035–1123), пользовавшемся большой популярностью.

... переизданную знаменитым Эльзевиром. — Эльзевиры — семья голландских типографов-издателей XVI–XVII вв. Изданные ими малоформатные книги («эльзевиры») высоко ценятся знатоками-библиофилами.

У Парацельса... — Парацельс (настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541), знаменитый врач и естествоиспытатель, полагал, что кристалл имеет «природу воздуха».

Джон Ди (1527–1608) — известный английский математик, географ, астролог и алхимик, которому молва приписывала также занятия магией и чародейством.

Араб Али-abu-Гефар писал и вовсе о золотом шаре... — Али-abu-Гефар (ум. 275), арабский автор, писал об этом золотом шаре, применяемом зороастрийскими магами следующее: произнося заклинания, маг быстро вращал инкрустированный сапфирами шар, видимо, впадая при этом в гипнотическое состояние, и ему представлялись видения, которые он разъяснял тем, кто обращался за помощью.

Кото — общее название японских цитр.

XI. Великие Дурацкие Дни

«Фортунаатов кошелек» — кошелек, в котором никогда не иссякают монеты. Название идет от имени нищего Фортуната, которому Богиня Удачи (Фортуна) предложила на выбор красоту, здоровье, долгую жизнь и богатство. Фортунат выбрал последнее. Впервые этот мотив зафиксирован в «Немецкой народной книге» (1509).

Адриан Жиль Кампер (1759–1820) — голландский врач, анатом, антрополог и зоолог; написал научную работу «Трактат о болезнях, свойственных как людям, так и животным: о болезнях бедняков, богачей, художников, ученых и духовных лиц», опубликованную в 1787 г.

Тюрлюпен — прозвище французского комического актера Анри Леграна, бывшего шутком Людовика XIII; в молодости был ярмарочным скоморохом.

Трибуле — шут при дворе французского короля Франциска I (1494–1547).

Чимаросто — шут папы Льва X (1513–1521).

Базошьены — представители «Королевства Базош» — шутовского общества для постановок «моралите» (XIV–XV вв.), пародий на священные тексты и комических проповедей.

«Ребята без печали» — Это общество ставило главным образом *sotie* (*sotie*) — пьески, изображающие различные дурачества и шутовские проделки.

... Шелли об Арчи Армстронге... — Арча (Archy) — кличка Арчибальда Армстронга (ум. в 1672), бывшего шутком английских королей Иакова I, а затем Карла I. В драматическом отрывке английского поэта-романтика Перси Биши Шелли (1792–1822) «Карл Первый», король Карл произносит яркий диалог в защиту своего шута, обвиняемого епископом Лодом в предательских насмешках.

«Завещание осла» — средневековое сатирическое фэблио, написанное Рютбёфом (ок. 1230–1285). В нем осел, умирая, завещает различные части своего тела существовавшим в то время различным социальным и профессиональным группам, включая Папу римского и кардинала.

... «Корабль дураков» Бранта... — «Корабль дураков» — сатирическая книга немецкого гуманиста Себастьяна Бранта (1457–1521), доставившая ему огромную славу.

... «Похвалу глупости» Эразма... — Эразм Дезидерий Роттердамский (1469–1536) — гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель. Родом из Роттердама. Автор «Похвалы глупости» — сатиры, высмеивавшей нравы и пороки современного Эразму общества.

«Письма темных людей» — сатирический памфлет, написанный полтавыни немецким гуманистом, писателем и идеологом рыцарства Ульрихом фон Гуттенем (1488–1523) и двумя другими немецкими гуманистами — К. Рубианом и Г. Буше, и изданный анонимно в 1515–1517 гг.

... пьесу Адама Горбуна «Игра в беседе»... — Имеется в виду комическая пьеса Адама де ля Аля, по прозвищу Горбун (ок. 1238–1286).

... времен «анально-эротического телоцентризма»... — Т. е. эпохи Средневековья. Намек на смеховую культуру Средневековья (которой был свойствен «анально-эротический юмор» по Бахтину).

Рыцарь Зяблик... — Речь идет о старинной немецкой лубочной книге, состоящей из подбора разных небылиц, изданной в семи томах Карлом Зимроком (1802–1876), немецким поэтом-романтиком.

Герцог пожелал, чтобы его утопили в бочке с мальвазией. — Герцог Йоркский Кларенс (1449–1478), брат английского короля Эдуарда IV. По преданию, парламент приговорил его к смерти, и он был утоплен в бочке с вином.

... Гриммельсгаузен, который устами своего героя Симплициссимуса... — Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен (1620–1676), автор первого немецкого национального романа «Похождения Симплициссимуса» (1668), дающего реалистическую картину ужасов Тридцатилетней войны.

... Европу похитил Бык. — В греческой мифологии Европа, дочь афинского царя Агенора и царицы Телефассы. Превратившись в белого быка, Зевс предстал перед Европой, когда царевна рвала цветы на поляне, недалеко от моря. Очарованная быком Европа села ему на спину. Бык направился в сторону моря, прыгнул в воду и доплыл до острова Крит. На суше Зевс превратился в орла. От их связи родились три сына: Минос, Радамант и Сарпедон.

Астомеи — мифическое племя, якобы жившее в Индии у истоков Ганга.

Фибей — понтийское мифическое племя, о котором свидетельствовал греческий историк Филарих (II в.); его сочинения не сохранились, но ими пользовался Плиний.

... бездарные фессалы... — Фессал из Траллес (I в.) — врач-шарлатан, пользовавшийся большим успехом в Риме времен Нерона. Отличался высокомерием и выдавал себя за лучшего из врачей.

«Бог есть умопостигаемая сфера, центр которой везде, а периферия нигде». — Одно из популярных в средневековом богословии определений Бога. Алан Лилльский приводит эту цитату в своем трактате «Правила богослужения»; на данную формулу ссылаются, видимо, вслед за Платоном, Маймонид, позже ее усваивают немецкие мыслители Мейстер Экхарт, Николай Кузанский, Томас Браун, Лейбниц и др.

«Nachtwachen» Бонавентуры — «Nachtwachen des Bonawenture» (нем. «Ночные бдения Бонавентуры»). У рассказчика (ночного сторожа Бонавентуры) отец — черт, а мать — канонизированная святая; сам он имеет обыкновение смеяться в храмах и плакать в домах веселья (т. е. в притонах). Приведена цитата из «Третьего бдения».

... тот же Хома, а это имя, как известно, носили лучшие философы. — Например, Фома Аквинский, Фома Кемпийский.

Вордсворт Уильям (1770–850) — английский поэт-романтик, представитель «озерной школы», автор «Лирических баллад» (совместно с Кольриджем, 1798) и др.

... идею множественности времен и миров, изложенную в «Серийном мироздании» Джона Уильяма Данна... — Джон Уильям Данн (1875–1949) — английский мыслитель, автор книги «Серийное мироздание» (1934) и др.

... учение Лейбница о монадах и предустановленной гармонии... — Это учение сформулировано Лейбницем в работах 1690-х гг. («Новая система природы...» и др.) и развиваемо практически во всех его последующих философских трудах.

... наставник Панглосса... — Персонаж из повести Вольтера «Кандид» (1759), который в упрощенной формулировке изложил популярные в то время идеи Лейбница о предустановленной гармонии: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».

... двенадцати операций Великого Делания Бернара Тревизана и Джона Рида... — У Бернара Тревизана: 1. Кальцинация, или обжиг; 2. Затвердевание, или образование накипи; 3. Ступение; 4. Растворение; 5. Переваривание; 6. Дистилляция; 7. Сублимация; 8. Осаждение; 9. Разложение; 10. Брожение; 11. Умножение; 12. Сушка, или подсыхание. Джон Рид суммирует двенадцать операций алхимического дела следующим образом: 1. Кальцинация; эта операция соотнесена со знаком Овна; 2. Коагуляция; ориентирована на Тельца; 3. Фиксация; процедуру связывают с созвездием Близнецов; 4. Растворение; осуществляется под созвездием Рака; 5. Варка; происходит под знаком Льва; 6. Дистилляция; под надзором созвездия Девы; 7. Сублимация; творится под наблюдением созвездия Весов; 8. Сепарация; отвечает за эту операцию Скорпион; 9. Размягчение; длится под знаком Стрельца; 10. Ферментация; ведает этой операцией Козерог; 11. Умножение; это действие поощряет Водолей; 12. Бросание; вершится под эгидой Рыб.

«Совет птиц» Фарид-ад-дина Аттара. — «Совет птиц» («Беседа птиц») — поэма средневекового персидского поэта-суфия Фарид-ад-дина Аттара (XII в.). Аттар описывает суфийские переживания, разрабатывая тему первоначальных суфийских поисков. Смысл этого произведения становится доступным только после суфийского пробуждения ума.

... ссылками на Тиберио Россильяно, Джеймса Ашера, Джона Гедбери, Алеуса... — Известные астрологи XVI–XVII вв. Тиберио Россильяно в 1510-х гг. опубликовал гороскоп мира «по евреям и халдеям». Джеймс Ашер, епископ Армянский и архиепископ Ирландский, в своих «Анналах мира» (1659) дал, как утверждалось, точную хронологию всех библейских событий. Джон Гедбери включил обсуждение различных дат, выбранных астрологами в качестве начала мира, в свое «Собрание натальных карт» (1662). Алеус в XVII в., составив свой гороскоп мира, взял за исходную дату начала мира 3960 год до н. э.

«В Незнании — сила». — У Фрэнсиса Бэкона выражение звучит так: «Знание — сила» («Knowledge is power»). (Ф. Бэкон, «Нравственные и политические очерки», II, 11).

... днем хитроумного Дони ... — Итальянский теоретик музыки Дж. Дони в 1540 г. для удобства пения заменил слог «ut» слогом «do».

... сам Ансель из Фландрии. — В конце XVI в. некий Ансель из Фландрии дополнил звукоряд седьмой ступенью — «si», образовав его из начальных букв последних слов текста гимна Св. Иоанну (Sanctus Joannes).

... додекафонические любовные романсы... — Додекафония — метод сочинения музыки, при котором вся ткань произведения выводится из двенадцатитонового звукового ряда.

Веберн Антон (1883–1945) — австрийский композитор и дирижер, ученик А. Шёнберга. Один из представителей «новой венской школы».

Богатиков Юрий (1932–2002) — советский эстрадный певец.

Раби Шанкар (род. 1920) — индийский композитор, исполнитель на ситаре, соединивший в своем творчестве индийскую и европейскую музыкальные культуры.

Устой и неустой — в русской теории лада основные общие логические категории ладовых элементов (звуков, созвучий). Устой как главный элемент олицетворяет покой, опору (тоника, центральный тон, центральный аккорд, центральное созвучие), а неустой — стремление, движение, тяготение, напряжение, подчиненность главному элементу (доминанта, субдоминанта и т.д.). В ритмике устой — крупная длительность, неустой — мелкая.

Эгрегор — в нетрадиционных религиозных направлениях глобальная, разумная, энергетическая сфера, созданная из большого количества индивидуальных человеческих энергий одного вида и стремящаяся к дальнейшему росту, расширению и уплотнению.

... как писал Мэлори в своем некогда культовом романе... — Речь идет о знаменитом романе английского писателя Томаса Мэлори (1416–1471) «Смерть Артура».

XII. Путешествие к Отцу Вдоха и Выдоха

... трактатов Голланда, Фламелья, Василия Валентина, Тревизана, Арнольда из Виллановы, Георга фон Веллинга и Фулканелли... — Великие адепты алхимии. Иоганн Исаак Голланд (XV–XVI вв.) — автор алхимических рецептов и трактатов: «Химический театр», «Минеральная книга», «Камень Урины». Никола Фламель (1330–1418) — автор «Интерпретации иероглифических образов». Василий Валентин (XVII в.) — автор трактата «Двенадцать ключей к Философии» (1659). Бернар Тревизан (1406–1490) — автор сочинений «Трактат о естественной философии металлов», «Утраченный язык». Арнольд из Виллановы (1240–1313) — автор трактатов «Путь к Тропе», «Великая Роза». Георг фон Веллинг (1665–1727) — автор трактата «Opus Mago».

Cabbalisticum et Teosophicum». Фулканелли — псевдоним великого французского алхимика XX в., автора книг «Тайна соборов, или Эзотерическое истолкование герметических символов Великого Делаения», «Философские обители».

... шахматных фигур некоего господина фон Кемпелена. — Барон Вольфганг фон Кемпелен (1734–1803), австриец, изобретатель автоматических машин. Известная «шахматная машина Кемпелена» была основана на обмане. Она имела вид комода, на котором была разложена шахматная доска и у которого автомат, одетый турком, искусно играл в шахматы. Как выяснилось, в ящике этого «автомата», под шахматной доской, скрывался хороший шахматный игрок. Автомат сторел 5 июля 1854 г. в Филадельфии.

Изопсефия — практика сложения числовых значений букв слова и нахождение единственной цифры суммы.

Гематрия — более высокий уровень изопсефии. Это сочетание числового значения слов с геометрическим образцом Вселенной. Результаты гематрических исследований представляются обычно в виде геометрических построений: графиков, диаграмм, рисунков. Это — система, с помощью которой выявляется сокрытая истина и мистические значения слов.

... верхом на двуроге ши-лине. — Животное, известное в Китае как Ши-лин (Ци-линь), отождествляется с единорогом. Однако у него два рога. Он является атрибутом военачальников высокого ранга, эмблемой чести и знатности рода. Его шкура имеет пять цветов — красный, желтый, синий, белый и черный; его крик подобен звуку колоколов. По легенде, он живет тысячу лет и является благороднейшим из животных.

Слабые Воды — в китайской мифологии река, отделяющая мир живых людей от потустороннего мира. Перебраться через нее невозможно: ее воды не держат даже перышка.

... на голубом драконе... — В китайской мифологии дракон — связующее звено между Верхними Водами и Землей. Относится к так называемым благородным животным вместе с ши-линем (ци-линем), фениксом, черепахой. Голубой или синий дракон — хорошее предзнаменование. Мужская энергия в даосской «внутренней алхимии». В даосской (алхимической) терминологии Белый тигр и Синий дракон, свинец и ртуть, девица и младенец, инь и ян, «свет жизни» и «свет духа» — две энергии, которые Адепт направляет в область тела, где «разожжен огонь»; там происходит очищение и соитие тигра и дракона; там, в таинственном треножнике, зачинается «бессмертный дух».

Белый тигр — символизирует запад, а также женскую энергию во «внутренней алхимии».

Эрху — китайский музыкальный двухструнный смычковый инструмент, основная разновидность хуциня.

Кунхоу — род китайской цитры.

... музыкантам Грушевого сада... — «Грушевый сад» — знаменитая школа актеров и музыкантов, созданная повелением танского государя Сюань-цзяня в VIII в. Представления проходили в Западном дворце, т. е. во дворце наложниц.

«Стая фениксов» — древний сорт китайского чая, один из лучших.

... цзюе-цзюй, что означает «оборванные стихи». — Жанр китайской поэзии.

Бо Цзюй-и (772–846) — великий китайский поэт эпохи Тан.

Страна Белых Облаков — страна бессмертия.

Линчжи — волшебная трава; по преданию, она обладает свойством продлевать человеческую жизнь.

... в совершенстве владел искусством желтого и белого. — Т. е. владел алхимическими способами превращения камней и предметов в золото и серебро.

Гуань Чэн-цзы — один из восьми даосских бессмертных. По преданию, жил еще во времена императора Хуанди. Гуань Чэн-цзы передал императору «Трактат о естественности» («Цзы жань цзин»).

Великий Красный — одно из названий Философского камня в алхимии даосов.

... по винному озеру злого царя Чжоу Синя... — Существует китайское предание о празднике злого царя Чжоу Синя, приказавшего навалить целую гору провизии, по которой могли проезжать колесницы, и выкопать и залить вином пруд, по которому могли плавать лодки.

XIII. Последняя битва

... добавлял толику мирры и столько же ладана, и еще насыпал смесь агатовой крошки. — Древнее средство друидов против злых духов.

... «De judiciis astrorum» Ибн-Рагеля... — «Астрологические суждения» — известная книга арабского астролога XIII в. Ибн-Рагеля, в которой он развивал символизм небесных тел.

... книгу Жана-Батиста Морена ... — Жан-Батист Морен де Вильфранш (1583–1656) — французский астролог и математик. «Astrologia gallica» — его основной труд, представляющий собой попытку модернизации астрологии Птолемея сообразно со знаниями XVII в.

Ван Гельмонт Ян Батист (1579–1644) — голландский естествоиспытатель, химик, врач и теософ-мистик. Называл себя Medicus per ignem. Он допускал в человеке два невещественных начала: 1) Archeus — жизненное начало, наполняющее все тело, управляющее питанием, перевариванием пищи и сопротивляющееся болезням; 2) Diuivirat — разумное начало, или душа, имеющее место в желудке и печени.

Месмер Франц Антон (1733–1815) — врач, основавший учение о так называемом животном магнетизме и применявший эту силу к лечению различных болезней.

Вербена — священная трава любви, входит в число 12-ти магических растений розенкрейцеров под 5-м номером. Некоторые называют ее «Голубиной травой». У друидов она, как и омела, считалась священной: с ее помощью изгоняли злых духов и примиряли врагов. В средние века считалось, что если пить сок вербены с медом и теплой водой, то восстанавливается дыхание, а дети хорошо учатся.

Винченцо Кардоне (ок. 1593–1618) — итальянский поэт «липограмматик», т.е. писатель, намеренно избегающий в своих произведениях той или другой буквы. Написал «*la R Sbannita ovvero sopra la Potenza d`Amore*» (Неаполь, 1614).

Сякухати — общее название японских продольных бамбуковых флейт.

Роммельпот — музыкальный инструмент, нечто вроде примитивной волынки: обтянутый бычьим пузырем горшок с воткнутой в него тростинкой.

Колтрейн Джон (1926–1967) — американский джазовый музыкант, саксофонист.

Шнитке Альфред (род. 1934–1998) — советский и российский композитор, автор балетов, симфоний, концертов и музыки к кинофильмам. В своем творчестве синтезировал элементы классических традиций и современной компьютерной техники.

Пендерецкий Кшиштоф (род. 1933) — современный польский композитор и дирижер. Экспериментировал в области сонорики и других новых средств музыкальной выразительности. В 70–80-х гг. сочинял в русле так называемого нового романтизма.

Григорианские напевы — (хоралы) — музыка, введенная в католическое богослужение римским Папой Григорием I (590–604).

Амброзианский канон — ритмическая мелодия, введенная в церковное пение святым епископом Медиоланским Амвросием (IV в.).

... церковную мелодию мозарабов... — Церковная музыка мозарабов (мозарабический канон) отличалась от музыки римско-католического богослужения. Мозарабы — христиане, жившие в части Испании, завоеванной арабами.

...знаменитой «Кантилены» Джорджа Рипли... — Имеется в виду произведение английского писателя и алхимика XV в. Джорджа Рипли, в стихотворной форме воспроизводящее алхимический процесс получения Философского камня. В романе приводится первое четверостишие из всех тридцати восьми, расшифрованных Джастином Барджоссом.

Фебея, Цинтия, Селена — различные имена богини Луны.

... потчевали его тутовым вином... — Некоторые растения семейства тутовых (инжир, сикомор) дают сочные плоды, из которых в старину изготовлялось вино своеобразного вкуса (плоды инжира еще называют винными ягодами).

... «оставив на ночь девам и мед, и душистые вина» ... — Цитата из «Кудруны». В старину у знатных господ существовал обычай выпивать перед сном чашу вина или меда.

... сэра Ланселот ездил, стоя на телеге... — Ланселот Озерный — рыцарь Круглого Стола, возлюбленный королевы Гвиневеры и первый рыцарь Артурова королевства. В романе Кретьена де Труа «Ланселот, или Рыцарь повозки» Мелеагант, жестокий сын доброго короля Бадемагу (Бадемагуса), похищает королеву Геневру (Гвиневеру) и увозит ее в страну Горре. Ланселот и Гавейн выступают в поход, чтобы освободить ее и ее рыцарей из плена. В пути Ланселот встречает карлика, правящего повозкой, который соглашается помочь рыцарю, если тот снизойдет до путешествия в повозке, ибо только так Ланселот может узнать, где искать страну Горре. Подобный способ передвижения для рыцаря считался постыдным, но любовь к королеве пересиливает в Ланселоте гордость.

«Гиппократов сборник» — средневековая книга, в которой собраны произведения, вышедшие из разных философско-медицинских школ.

«Прогностики» — медицинский трактат Гиппократов (V–IV вв. до н. э.), входящий в «Гиппократов сборник».

Facies hippocratica — «Гиппократов лик» (лат.) — лицо, отмеченное печатью смерти. Гиппократ в сочинении «Прогностика» (помещено в «Гиппократовом сборнике») описал черты человеческого лица, на котором видны признаки приближающейся смерти.

КНИГА ГРЁЗ И СНОВИДЕНИЙ

Лепестки Розы

Золотые Лепестки

Золотые лепестки. — Золотой цветок (наряду с голубой розой, выходом из лабиринта и др.) — один из символов Центра.

... «Духовные исповеди» Мейстера Экхарта... — Сочинение Мейстера Экхарта (1260–1327), немецкого философа-мистика.

... «Зубдат ал-хакаик», или «Сливки истин», Азиз ад-дина Насафи. — Трактат среднеазиатского суфия XIII века Азиз ад-дина ибн Мухаммада Насафи. Сам он формулирует цель «Зубдада» как беспристрастное изложение различных мнений о макрокосмосе и человеке. Цитаты из трактата приводятся в переводе Рустама Шукурова (см. Рустам Шукуров. «Азиз ад-дин Насафи и его трактат “Зубдат ал-хакаик”». Сборник статей и текстов «Суфизм в контексте мусульманской культуры». Москва, «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1989).

... напоминал Франциска... — Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226) — знаменитый проповедник, основоположник ордена франци-

сканцев, или нищенствующих монахов. По преданию, в Бебенье, на Тразивенском озере и на горе Субазии он проповедовал Слово Божье зверям, птицам, рыбам и пресмыкающимся.

Монсальват — название замка Грааля в операх Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» и «Парсифаль». В романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль» — Мунсалвеш.

Diesselts и Jenseits — «Мир действительный и мир потусторонний» (нем.) в идеалистической философии. В христианской религии Jenseits означает сверхъестественный потусторонний мир, где человек (или его душа) пребывает после смерти.

... на «утешении философией»... — «Утешение философией» — трактат Боэция (ок. 480–524), христианского философа, писателя и римского государственного деятеля. Занимал высокие должности при дворе остготского короля Теодориха (правил в 493–526), захватившего территорию Римской империи. Боэций был клеветнически обвинен в государственной измене, заключен в темницу и казнен. В заключении написал свое главное сочинение «Утешение философией».

Joy of grief — «упоеание слезами» (*англ.*), т. е. наслаждение горем, печалью. Выражение принадлежит английскому писателю Лоренсу Стерну (1713–1768), автору «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия».

Категорический императив — этический принцип, сформулированный немецким философом Иммануилом Кантом: (1724–1804) «Поступай так, чтобы максима твоей воли в любое время могла стать принципом всеобщего законодательства».

... на всех тех «дарах, что пленяют людей и богов»... — «Munera, crede mihi, capiunt homines que deosque». — «Дары, поверь мне, пленяют людей и богов» (*лат.*) (Овидий. «Наука любви», III, 653).

... и Ланселот, и Лоэнгрин, и Парсифаль, и Галахад... — Герои-рыцари артуровского цикла средневековых легенд и романов о Святом Граале и рыцарях Круглого Стола.

... и скромно зацветает живокость в их честь... — Живокость в эпоху Средневековья считалась «цветком рыцарей» и означала «честность».

... овладел ли я «языком бессмертных», как обещал великий суфий Руми... — Джалаледдин Руми (1207–1273) — поэт-суфий, писавший на персидском языке. Считал, что только с помощью длительного молчания можно овладеть «языком бессмертных».

Пиррова фаланга — древнегреческий военный строй. Пирр (318–277 до н. э.) — царь Эпира; прославился в войнах против Рима (с именем этого царя связано выражение «Пиррова победа»).

... несохранившееся произведение Плиния Старшего «О метании дротиков с коня». — Такое сочинение действительно было написано Плинием Старшим, но до наших дней не дошло.

... самого автора поглотила вулканическая лава. — Плиний Старший погиб во время извержения Везувия в 79 г., когда под пеплом были погребены Помпеи и Геркуланум.

«Прежде, чем наш камень сотворится, то живет уже он» — цитата из алхимического рецепта Иоанна Исаака Голланда «Простой способ приготовления философского камня из мочи», помещенного в трактате «Камень Урины» (1787).

Les neiges d'antan — «Прошлогодний снег» (старофранц.) — цитата из рефрена «Баллады о дамах былых времен» Вийона: «Mais ou sont les neiges d'antan?» («Но где же снег прошлых времен?»). Популярный в средние века мотив «былого великолетия», которому Вийон придал новый акцент — нежной печали.

Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus — «Только имя от розы, пустое имя осталось нам» (лат.) — строка из рифмованных гекзаметров Бернарда Морланского (примерно 1140 г.).

Остров Блаженных... — Одно из древнейших представлений. В индуистских легендах говорится о круглом золотом острове, усеянном драгоценностями (отсюда и происходит название «остров сокровищ»). В греческом варианте Остров Блаженных соответствует «Земле Умерших» — символ Центра всего сущего. Для большинства классиков литературы Остров Блаженных (или Блаженные Острова) олицетворяет собой символ земного рая.

Именно так и случилось, например, с неким испанским сеньором... — Речь идет об испанском мореплавателе, конкистадоре Хуане Понсе де Леоне (ок. 1460–1521). Участвовал во 2-й экспедиции Колумба, открывшей в 1493 о. Пуэрто-Рико, с 1509 был правителем этого о-ва. В 1513 во время поисков источника вечной молодости вместе с А. Аламипосом открыл п-ов Флориду.

Куда больше посчастливилось святому Брендану... — Святой Брендан, ирландский монах, как свидетельствуют средневековые легенды, отправившись в длительное плаванье по северным морям, посетил Остров Блаженных.

... из особого «хронального вещества»... — О так называемом «хрональном веществе» упоминает А. И. Вейник: «В новой теории важную роль играют неизвестные ранее хрональное и метрическое явления... Хрональное, как и любое истинно простое явление, состоит из особого хронального вещества и его поведения и подчиняется всем законам ОТ («общей теории»). Важнейшие свойства хронального явления выясняются, если попытаться применить к нему уравнение первого начала ОТ — закона сохранения энергии...» (Вейник А., Комлик С. Комплексное определение хронофизических свойств материи. Минск, «Наука и техника», 1992).

Остров Проклятья... — «В «Житии Иосифа Аримафейского» романского периода говорится о существовании наряду с Островом Счастья Острова Проклятья, на котором путника подстерегали колдовские чары, пытки и т.п. Такой остров выступает в качестве эквивалента черно-

му замку из других легенд. В обоих случаях они олицетворяют закон поляризации, который разделяет Верхний и Нижний миры: то, что находится над землей и под землей» (Х. Э. Керлот. Словарь символов, М., REFL, 1994).

Святой Фурсей — ирландский монах VII в. После трех дней болезни ему явились два ангела, которым предшествовал первый с огненным мечом и сверкающим щитом, и повели его смотреть грозящие человечеству адские муки. После этого он всю жизнь носил следы от ожога адским пламенем.

...юный Альберих — сын некоего барона в Кампании, согласно средневековой легенде, в девятилетнем возрасте подвергся обмороку, продолжавшемуся девять дней. За это время он, сопровождаемый св. Петром и двумя ангелами, осмотрел ад и рай.

Карл Толстый (839–888) — франкский король, однажды, ложась спать, услышал страшный голос, сказавший ему, что сейчас душа его оставит тело и будет отведена, чтобы лицезреть суды Божии. Так все и случилось. Демоны пытались зацепить его огненными крюками.

...как познали ее герои рыцарских романов Угоне Альвернийский, Гверин Злополучный и рыцарь Оуэн. — Герои средневековых рыцарских романов, побывавшие в аду, точно так же как Улисс, Эней и Данте.

Не этого ли зверя лицезрел Тунгдал после своей смерти... — Имеется в виду знаменитое «Видение Тунгдала» (XIII в.). Ирландский рыцарь Тунгдал, человек нечестивый и безнравственный, после своей смерти совершил путешествие в преисподнюю, но затем вернулся в мир живых, чтобы рассказать людям о тех ужасных зрелищах, которым он был свидетелем.

... Пифагор, играющий на колоколах и сосудах с водой... — Пифагор (ок. 570 — ок. 500 до н. э.), древнегреческий философ и математик, опытным путем нашел числовые выражения (интервальные коэффициенты) чистых квинты, кварты и октавы.

... белый олень с золотыми рогами... — В средние века олень — символ чистоты и единения. Для кельтов белый олень был мистическим животным, явившимся на землю из потустороннего мира и обладающим сверхъестественными способностями.

... возвращается с кладбища Невинных младенцев домой Николая Фламель... — Николая Фламель (ок. 1330–1414) — знаменитый французский алхимик XIV в. Совершив Великое Делание, по преданию, добыл философский камень. Фрески Николая Фламеля, украшающие кладбище Невинных младенцев, передают символические перипетии сакрального искусства.

... рукописная Книга Абрахама Леви... — Или книга Авраама Еврея. Та самая книга в медном переплете, которую Николая Фламелью во сне открыл ангел и которая, спустя много лет, попала ему в руки. Эту историю Фламель описал в своей рукописи «Интерпретация иероглифических образов».

... два храмовника скачут на одной лошади... — Такое изображение, имеющееся на печати тамплиеров, должно было говорить о бедности членов ордена, у которых, кроме оружия и смены одежды, никакого иного личного имущества не было.

Кирхер Атанасиус (1602–1680) — немецкий ученый, иезуит, занимавшийся физикой, естественными науками, теологией, лингвистикой, математикой и древностями. Один из учёнейших людей своего времени, он написал много трактатов по самым разнообразным предметам, где рядом с точными сведениями сообщает басни без малейшего критического к ним отношения.

... Ее Величества королевы Кристины... — Августа Кристина (1626–1689) — королева Швеции (1632–1654).

... графа фон Кюфштайна в компании с аббатом Гелони... — Этот случай описан в дневниках Джаспера Каммерера, составленные в XVIII в. Автор дневников служил ассистентом у Иоганна Фердинанда фон Кюфштайна (1686–1755) штатгальтера. В дневниках говорится о том, что «существовало десять гомункулов», или, как он их называет, «пророческих духов», сохранявшихся в наполненных водой прочных бутылках; «духи» были созданы «графом фон Кюфштенгом» и итальянским мистиком и розенкрейцером аббатом Гелони «за пять недель и включали короля, королеву, рыцаря, монаха, монахиню, архитектора, рудокопа, серафима, а также голубого и красного духов», и т. п.

«Сонная луната» — ироническая инверсия названия «Лунная соната» Людвиг ван Бетховена.

Мандорла — ореол миндалевидной формы вокруг изображаемой фигуры — символ неба и земли, высшего и низшего миров. Представляет союз этих миров, их взаимопроникновение.

Агартха — «духовный центр»; Сент-Ив д'Альвейдр в своем труде «Миссия Индии» (1910) связывает этот символический город с «солнечной башней» розенкрейцеров и Городом Солнца Кампанеллы.

Луз — (еврейск. Luz) — имеет несколько значений: центр города или место ведания. Согласно Генону, Луз также означает «неразрушимую материальную частицу, символизированную крайне крепкой костью, к которой некоторая часть души остается прикрепленной со времени смерти до часа воскресения».

Король Рене Добрый (1409–1480) — герцог Анжуйский и Лотарингский, король Иерусалима, король Неаполя и Сицилии и граф Прованский, оставшийся в народной памяти как образец миролюбивого, по-отечески доброго правителя.

Меч Хрисаор — в древнегреческой мифологии магический золотой меч, символизирующий высшее одухотворение и духовную решимость.

... золотые волосы Сив... — Согласно скандинавскому мифу, бог-насмешник Локи втайне срезал все волосы с головы богини Сив. Как только Тор увидел это, схватил он Локи и уже готов был его убить, но тот поклялся, что добьется от черных альвов, чтобы они сделали для Сив во-

лосы из золота, которые росли бы как настоящие. После этого Локи отправился к карликам-цвергам, и они сделали такие волосы, и еще сделали корабль Скидбладнир и копьё Гунгнир для Одина.

... кольцо Драупнир, принадлежащее самому Одину... — Один — правитель Асгарда, обители богов, верховное божество скандинавского пантеона, ассоциируется с войной, магией, вдохновением и подземным царством мертвых. Один — также бог богатства, которое символизирует священное золотое кольцо Драупнир, порождающее каждую девятую ночь восемь новых золотых колец.

... ожерелье Фрейи... — Фрейя — главная богиня германцев, относящаяся к ваннам, скандинавским божествам земли и воды, одной из священных рас, населявших Асгард — жилище богов. В легендах она владеет волшебным ожерельем, известным как Бризингамен.

... молот Тора... — Тор — скандинавский бог неба и грозы, божественный защитник людей и богов. Оружием Тору служил волшебный молот-топор Мьелльнир, символизирующий гром и молнию, обладающий огромной разрушительной силой, с одного удара сметавший горы и побеждавший великанов. Однако молот служил и созидательным целям: с его помощью Тор исцелял страждущих и возвращал жизнь мертвым.

... сокровища богов, выкованные когда-то кузнецами-карликами Цвергами... — Цверги — карлики, искусные ремесленники и кузнецы, «предки» гномов в германо-скандинавской мифологии («Старшая Эдда»). Они куют сокровища богов: золотые волосы богини Сив, кольцо Драупнир Одина, ожерелье Фрейи, чудесный корабль Скидбладнир, молот Тора Мьелльнир, вепрь с золотой щетиной. Они же изготавливают мед поэзии. В отличие от «Старшей Эдды», в «Младшей Эдде» говорится, что цверги «завелись в почве и глубоко в земле, подобно червям в мертвом теле. Карлики зародились сначала в теле Имира, были они и вправду червями. Но по воле богов они обрели человеческий разум и приняли облик людей. Живут они, однако ж, в земле и в камнях». Цверги боятся солнечного света, ибо тот превращает их в камень.

«Минеральная книга» — алхимический трактат И. И. Голланда (XV–XVI вв.). Полное его название: «Минеральная книга Иоанна Исаака Голланда, содержащая фигуры и описания тайных его печей и некоторых других сосудов и инструментов, о коих в других его сочинениях упоминается, с прочими весьма изящными скрытыми тайнами» (1787).

«Theatrum chemicum» — (лат. «Химический театр») — алхимический трактат И. И. Голланда.

... следовать советам monsieur Barbault... — Арман Барбо (Armand Barbault) — современный французский алхимик. В своей деятельности строго придерживается средневековых правил. Открыл некое вещество, не поддающееся анализу даже при использовании самых современных научных методов. Цель, которой добивался Барбо чисто алхимическими методами, — изобретение нового лекарства, «растительного золота», сравнимого с жидким (пригодным для питья) золотом Парацельса. Пер-

вую партию этого «растительного золота» Барбо приготовил в 1960 г. после многих лет герметического труда. Свой метод он разработал по образцу Великого Делания, представленного в «Бессловесной Книге» («Mutus Liber»). В основе лекарства — смесь растений, росы, собранной особым образом и живой земли. Написал книгу «Золото тысячного утра».

Первореагент — в алхимических текстах также «тайный огонь» — двойственная соль, приготавливаемая Адептом («Знатоком Искусства»).

Александрийская алхимия устами Зосимы Панополитанского... — Зосима из Панаполиса (конец III в.) — александрийский алхимик.

... и «Левит», и «Числа»... — В библейских книгах «Левит» и «Числа» содержатся многочисленные предписания лечебной и любовной магии.

«Clavicula Solomonis» — (лат. «Малый Ключ Соломона») — знаменитая книга средневековой магии, составленная из пентаклей, талисманов и заклинаний; в этом произведении содержатся описания тех магических приемов, которыми пользовался царь Соломон для изгнания злых духов из тела его заболевших подданных.

«Тайная философия» Агриппы... — Алхимический трактат Агриппы Неттесгеймского (1486–1535), в котором он писал об истинной, природной магии как о совершеннейшей и высшей из наук, как о священной философии, которая заключает в себе знание всей природы.

«Hortus Amoenus» — (лат. «Приятный сад») — латинский трактат о свойствах минералов и их магическом использовании (1672). В русском переводе назывался «Книга, глаголемая Прохладный вертоград».

... во всех его «Громниках» и «Зелейниках»... — «Громник» — собрание примет и толкований, связанных с тем, в каком из 12 участков неба (по числу знаков Зодиака) гремел гром. Это сочинение известно по рукописи XV в., авторство которой приписывалось грузинскому царю Ираклию. Византийский прототип этого трактата известен с VI в. На Русь занесен не позднее XIV в. «Зелейник» (от слова «зелье» — лекарство, снадобье) — сборник магических рецептов по излечению от различных недугов; был в обращении в России в рукописном виде в XIX в.

«Молот ведьм» — (лат. «Malleus maleficarum») — руководство к судебному допросу ведьм, вышедшее в 1489 г. в Кёльне и составленное немецкими инквизиторами Якобом Шпренгером и Генрихом Инстигорисом.

«Aliter non fit, Avite liber!» — «Ни одна книга не пишется иначе!» (лат.). (Марциал. «Эпиграммы», I, 17, 1).

Крылатый шар. — Шар (сфера) символизирует целостность, вечность, совершенство и счастье. В алхимии глобус с крыльями обозначал духовное движение или эволюцию.

Hen to Pan — «Единое во всем» (греч.). Древнегреческое выражение, объясняющее все циклические процессы (единство, множественность, возвращение к единству; эволюцию и инволюцию; рождение, рост, увядание, смерть и т. п.).

... истинный алкагест, универсальный растворитель, живая вода, небесный цветок, Моисеева манна. Она — лев, орел и тигр, и — все переваривающий желудок страуса... — Образы, которыми пользовались алхимики для обозначения универсального растворителя. Алкагест — название, которое дал универсальному растворителю Парацельс. Об алкагесте, растворяющем золото, дабы обрести его вновь в наилучшем виде, написано в трактатах знаменитого алхимика Евгения Филалета (XVII в.).

Terra promissionis sanctorum — «Обетованная земля святых» (лат.), т. е. рай на земле (Остров Блаженных). Страна, изобилующая деревьями с множеством яблок, в которой никогда не наступала ночь, не существовало смерти и т. п.

Сеньяль — условное имя в куртуазном мире. Существовал обычай, согласно которому люди, связанные узлами дружбы или побратимства, взаимно именовали друг друга условными именами, например: «Превыше-Всех» у Гираута де Борнеля, «Лучше-чем-благо» у Арнаута Даниэля. Известно, что Бертран де Борн называл Ричарда Львиное Сердце — «Да и Нет».

Куртуазность — комплекс качеств, заключающий в себе всевозможные черты внутреннего совершенства личности (щедрость, честь, доблесть, застенчивость, мастерство рассказа, наличие сеньялей, служение даме и т. д.), умение их проявлять в отношениях с другими людьми, а также совершенство в любви.

... âsc plega... — «игра копий» (англосакс.). В англосаксонской поэзии это выражение часто фигурирует в смысле «боя», «битвы».

Апокатастасис — в богословии — «восстановление» (греч.), окончательная победа духа, сознания. Цель апокатастасиса состоит в том, чтобы в конце концов Бог (Абсолют) стал все во всем.

Яшмовые Лепестки

Яшмовые Лепестки. — Яшмовый для китайца — это эпитет ко всему дорогому, лучшему, как к предметам, так и к отвлеченным понятиям. В китайской поэзии яшма обладает мистическими свойствами: она чиста, струиста, тепла и влажна... обладает чистым звуком.

... перо журавля... — Журавль — благовещая птица. Одинокий, не стаящийся с прочими птицами, журавль считается символом и спутником даосского святителя.

... золотую клетку с цикадой... — Цикада — символ чистоты в китайской поэзии.

Хуцинь — китайский музыкальный инструмент, род скрипки.

... веточка ивы. — Обычай ломать при расставании тонкие веточки ивы был широко распространен в Китае и часто упоминаем в стихах. Поэтому ива сделалась и знаком расставания, и приметой родных мест, и обещанием возвращения и встречи с оставленными друзьями и близкими.

Пять священных гор — Тайшань, Хуашань, Хошань, Хэшань, Суншань. На горе Тайшань, по преданию, обитали души умерших.

... отзвуки золотого гуаня и яшмовой свирели... — Золотой гуань и яшмовая свирель — волшебные инструменты, звучащие в мире бессмертных небожителей.

Было это в час мао... — Соответствует двум часам ночи.

... когда разливаются персика воды, как выразился бы Хань Юй. — Весной, «в третьей луне», персик начинает буйно цвести, и его цвет, сбитый дождем, падает в поднявшиеся реки, которые мчатся, покрытые его лепестками. Это и есть, по выражению поэта Хань Юя (769–824), «Персика воды в третью луну по весне».

Тогда я стал лицом к северу... — По ритуалу древнего Китая, государь сидел лицом на юг, а придворные стояли лицом к нему, т. е. на север. Точно то же, из крайнего уважения к учителю, столь характерному для Китая, делали в отношении его и ученики.

... совершенномуудрый явился в образе совершенногоглупого... — В одном из рассказов Юань Мэя («Ученый из Наньчяня»): «Хунь в человеке добрая, а по — злая; хунь — мудрая, а по — глупая. Когда он только пришел, духовное начало в нем еще не погибло, но вскоре по стало вытеснять хунь. Когда он исчерпал свои сокровенные заботы, хунь испарилась, а по сгустилась. Пока в нем не было хунь, он был тем самым человеком, что прежде (до смерти); с уходом же хунь уже не был тем человеком. Трупы, что свободно передвигаются, бродячие тени — все это создания по, обуздать же по может только человек, которому открыт Путь истины — Дао».

... товарищи по кисти и тушечнице... — Т. е. товарищи по школе.

... праздник Прямого солнца... — Т. е. праздник летнего солнцестояния, приходящегося по лунному календарю на пятое число пятой луны; в старом Китае всегда праздновался торжественно, с освобождением от работ, наравне с Новым годом, несколько дней.

... ломтик тысячелетнего персика, подаренный ему когда-то самой Си Ванму. — В древнекитайской мифологии Си Ванму — великая владычица Запада, царица фей, живущая на горе Куньлунь в мраморных и яшмовых чертогах, слева от которых — Яшмовое Озеро Яочи, а справа Изумрудная Река. В висячих садах Си Ванму растут персики, дарующие вечную жизнь. Плоды созревают каждые шесть тысяч лет и служат пищей богам, утверждающим свое бессмертие.

... девы-яшмы. — Этот образ встречается еще в древнекитайской «Книге песен» («Шицзин», III, II, 9; XI–VI вв. до н. э.). Позднее и в народных песнях и в авторской поэзии дева-яшма — постоянный синоним чистоты, целомудрия, девичьей чести.

... «ясная луна» в ухе сверкает. — Поэтическое название крупного жемчуга.

... парча, сотканная русалками или даже руками самой феи Ло... — Известная в Китае история о фее Ло. Поэт-царевич Цао Чжи (192–232) добивался любви девушки из рода Чжэнь, но не получил

ее, ибо она вошла в гарем и стала наложницей царя, его отца. Затем она была оклеветана царицей и утопилась в реке Ло. Узнав об этом, царевич прямо из дворца пошел на берег этой реки, сел, заплакал и сочинил «Оду фее реки Ло». Этот рассказ является излюбленной темой у многих поэтов и послужил сюжетом для множества драматических произведений и песен.

... по лотосам ступающие красавицы Узорной и Весенней палат! — «Ступающей по лотосам» называли Паньфэй (Пань Шуфэй), наложницу князя Дун Хуня, правителя династии Южная Ци (479–502). Для нее были построены четыре дворца, а дорожки, по которым она ступала, выстелены лотосами, изготовленными из золота. Узорная и Весенняя палаты, (а также палата Созерцания фей) были построены императором Чэньской династии Хочжу (583–589), соответственно, для трех своих наложниц — Чжан гуйфэй, Гуи фэй и Кун фэй.

О изгибающихся, как натянутые луки! — «Изгибающиеся, как натянутые луки» — прозвание красавиц из гарема чуских князей, которые во время любовных утех изгибались станом, как лук, откидывая назад голову так, чтобы волосы касались земли.

Драконий мозг — название даосского снадобья. «Намажешь лицо — станешь краше» (Лю Цинь. «Истории тьмы и света»).

... пока не научусь направлять Желтую реку вспять! — «Направлять Желтую реку вспять» — алхимический термин из сексуальной практики для достижения бессмертия у даосов.

... в соответствии с «Каноном превращений» — в фигуры-гуа... — «Канон превращений» («И-цзин», китайская «Книга перемен»). Восемь фигур-гуа (триграммы ба гуа) легли в основу шестидесяти четырех фигур-гуа (гексаграмм) «И-цина». Весь этот фрагмент перекликается с идеями древнекитайского апокрифического руководства по традиционным гадательным практикам «Числа превращений дикой сливы мэй-хуа».

... раздувает глубокий фимиам. — т. е. возжигает курительные свечи, сделанные из благовонных смол.

«Облачный гонг» — своеобразный китайский музыкальный инструмент, состоящий из деревянной рамы с десятью отверстиями, в которых свободно укреплены маленькие медные гонги-тарелочки одинаковых размеров, но не одинаково утолщающиеся к середине, отчего происходит разница в нотах звучания. Инструмент держат одной рукой, а другой бьют молоточком по тарелочкам.

... благовония ста смешений... — Ароматические составы под таким названием часто упоминаются в китайской поэзии. Ду Фу: «Слилось дыхание цветов — как будто курения ста смешений».

... владеет более чем ста двадцатью стилями письма... — В III–VI вв. китайскими каллиграфами было разработано более 120 стилей письма («змеиная каллиграфия», «обезьянья», «заячья» и т. п.).

... мешочки с благовониями... — неперемнная принадлежность придворной дамы. Обычно такие мешочки изготавливали из яркой материи и укреплялись на поясе, привлекая своим ароматом возлюбленного.

... записные книжки бицзи... — Бицзи — в китайской письменной культуре своеобразные записные книжки авторов, где собраны самые разные сведения, не вошедшие в их официальные произведения: простые заметки и наблюдения географического, этнографического характера, и стихотворные наброски, и вполне законченные сюжетные произведения, и дневниковые записи, и многое другое.

... учусь насыщаться зарей... — «Питающийся зарей», «пьющий зарю» — образное именование даосов, которые в горном уединении предавались воспитанию духа и плоти, добиваясь гармонии природы и судьбы.

... верхом на ослике. — Путник на ослике — один из распространенных поэтических и живописных образов странствующего поэта (Ду Фу, Су Ши, Лу Ю).

... сольются ли когда-нибудь Синий Дракон с белым Тигром в таинственном треножнике. — Речь идет об алхимическом процессе. В даосской (алхимической) терминологии Белый тигр и Синий дракон, свинец и ртуть, девица и младенец, инь и ян, «свет жизни» и «свет духа» — две энергии, которые Адепт направляет в область тела, где «разожжен огонь»; там происходит очищение и соитие тигра и дракона; там, в таинственном треножнике, зачинается «бессмертный дух».

... седьмой день седьмой луны, просушиваю в саду книги... — В седьмой день седьмой луны в Китае полагалось выносить на двор книги для просушки и одежду, чтобы не появилась моль.

... войти в «праведный плод» ... — На языке буддистов «праведным плодом» называется водворение души на светлый путь, являющийся, так сказать, зрелым плодом жизненного подвига. Обрести этот плод — значит изменить скверную предыдущую жизнь на новую, просветленную светом Будды. Можно так сказать и вообще о честной жизни.

... задерживать дыхание... — Задержка дыхания — особый прием в магической практике даосов. Глубокое замедленное дыхание должно погашать в человеке жажду жизни.

... бесконечно длить «аромат книги». — Т. е. не прекращать книжной образованности и начитанности.

... ты когда-нибудь кричал криком обезьяны?.. — Крик обезьяны для поэта-странника в древнем Китае — знак чужбины.

... это называется «втолковыванием и внушением», а попросту — «дубинкой и бранью». — «Дубинка и брань» («окрик и действо») — один из способов обучения последователей буддизма (иногда и даосизма). Такого рода внезапный шок считается путем приобщения к Истине и достижения прозрения.

... искусный маг Ли Шаоцзюнь. — Известный маг во время правления ханьского императора У-ди (502–556).

Там все реки с запада на восток текут. — Речь идет о Китае.

... сделать из меня настоящего ся... — Ся (се) — иероглиф, по определению старых китайских писателей, означает буквально следующее: «Это значит то же, что и созвучие, но пишущееся несколько иначе: се — брать на себя, т. е. использовать свою власть, свою силу для того, чтобы взять на себя помощь людям», а затем особенно, чтобы помочь выполнению долга, поддержать слабого и бороться с насилием. У первого китайского историка Сыма Цяня есть ряд жизнеописаний, собранных в главу «О странствующих ся — рыцарях».

... учтивостью-жань... — В Китае «учтивость» называлась жань, что приблизительно значит «уступить другому, отступить перед другим». Во время состязания в учтивости соперники стараются превзойти друг друга в благородных манерах, уступая свое место либо дорогу.

... фонарем-подсолнечником... — По китайским суеверным представлениям, подсолнечник обладает свойством отгонять бесовские наваждения.

... нет ли у него во рту нефритовой цикады. — Фигурки цикад — насекомых, которых в Китае считали выходящими из тела покойника после долгого периода созревания под землей, — вырезанные из нефрита, часто вкладывали в рот умерших.

... переноситься за тысячи ли... — Ли — в древнем Китае мера длины, около 400 м.

... жениться на дочери Владыки Драконов, как некогда Ли Юань... — Ли Юань (566–635) — китайский император, основатель династии Тан, отстраненный от власти своим сыном, по легенде, спас небольшую красную змею, которая оказалась в действительности маленьким драконом. За это владыка драконов отдал ему в жены свою дочь.

Дровосек — в китайской поэзии символизирует полноту и естественность слияния с природой.

... киноварь-дань... — Киноварь (или «дань» — «красный») — конечный, наряду с золотом, продукт так называемой «внешней» алхимии, эликсир бессмертия.

... вовсе не шэн, не цинь, не хуцинь и не цисюаньцинь. — Шэн (шенг) — китайский язычковый пневматический музыкальный инструмент, род губной гармоники с резонаторными бамбуковыми трубками. Цинь — древнейшая разновидность цитр. Хуцинь — род китайской скрипки. Цисюаньцинь — наиболее известный из циней, имеет семь струн.

Пью бесконечный чай... — Чай сделался в средневековой поэзии Дальнего Востока символом свободной, праздной жизни. Лу Ю: «Знаю одно — беззаботности дух вечен, как чая вкус...». У Бодхидхармы: «Дух чань подобен вкусу чая».

... я написал их сегодня в час шэнь... — Время от 5-ти до 7-ми часов вечера.

Сыма Цянь (145 или 135 — ок. 86 до н. э.) — выдающийся историк при дворе императоров династии Хань, автор исторического труда «Ши цзи» («Исторические записки»), давший обширное описание прошлого Китая со времен легендарных до тех дней, свидетелем которых был он сам.

«Книга преданий» — «Шуцзин» ... — «Шуцзин» («Книга исторических преданий») — древнейший памятник китайской литературы и истории. Наиболее древние части восходят, видимо, к XIV–XI вв. до н. э. Книга содержит элементы мифов, героических сказаний, исторических преданий.

...Дни Холодной пищи... — Или день «холодного обеда» (Ханьши), когда едят холодное, — весенний праздник обновления огня в третий месяц по лунному календарю. Издавна этот праздник окружен в Китае легендами.

... в плаще и шляпе из тростника... — Тростниковые плащи и шляпы распространены в Китае. Они делаются из высушенных листьев тростника или осоки так, что каждый верхний лист, подобно чешуе, покрывает до половины следующий нижний. Таким образом, эта одежда является совершенно непромокаемой.

... верхом на голубом драконе. — На драконах в древнекитайской мифологии ездят святые. Голубой, или синий, дракон также — символ радостного события, счастливое предзнаменование.

Тяньполо — сорт финика.

... цветок каменной корицы шигуйян. — Даосское снадобье, якобы дарующее бессмертие.

... а было это в третью стражу... — Время с одиннадцати до часа ночи.

Приплыл мудрец на «плоту восьмой луны». — «Плот восьмой луны», или «осенний плот» — волшебный плот. В китайской поэзии — метафора дальней дороги.

... как то случилось с бедным Гао Ци. — Гао Ци (1336–1374), китайский поэт эпохи Юань, мастер стихотворного жанра «надписи к картинам». Речь идет о стихотворении «Изображение женщин во дворце». По мнению современников, это стихотворение послужило причиной гибели Гао Ци, ибо в нем усмотрели намек на распутную жизнь императорского двора, а сам государь будто бы и вовсе принял его на свой счет и страшно разгневался. Заговор видного сановника Вэй Гуаня, в котором якобы участвовал Гао Ци, за что и был казнен, — не более чем предлог для расправы с дерзким поэтом.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА КОРОЛЯ

ШКОЛА МАГОРА

Ухо города	9
Незнакомец	16
Дом	19
Попугай Густав и Новые Тамплиеры	31
Полинерв и Чайная Церемония.....	48
Чайная Церемония, выгравированная на дырявом медном самоваре	53
Возвращение в дом	60
Братство Фамулусов и прочие обитатели дома Магора	70
Ночной полет	96
Эпистолярные излияния Адуляра.....	109
Письма к Янке, написанные на воздушных шариках	111

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Репетиция блуждающего оркестра	139
--------------------------------------	-----

КНИГА КОРОЛЯ

ШКОЛА МАГОРА

Легенда об Изумруде.....	153
Эльфийская книга Тиндалина.....	153
Великие дурацкие дни	166
Путешествие к отцу Вдоха и Выдоха	191
Последняя битва	198

КНИГА ГРЁЗ И СНОВИДЕНИЙ

ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ

Золотые лепестки	215
Яшмовые лепестки	286
<i>Примечания</i>	323

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА КНИГ

ALBEDO

Том IV

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.

Издательство «ФОП Ретівов Тетяна»

01001, г. Киев,

ул. Малая Житомирская 8, оф. 3

Тел. (+38) 096-53-85-115

www.kayalapublishing.com

Отдел продаж

Kayala@ukr.net

Формат 66x88 ^{1/16}

Усл. печ. л. 23,4. Подписано в печать 21. 10. 2019

Печать офсетная. Заказ 324



Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

Время действия — 70–80 гг. прошлого века.

Годы так называемого «развитого социализма», «эпоха застоя».

Таков исторический фон описываемых событий. Жизнь литературной и художественной богемы, поиск Пути, сказка, миф, волшебство, персонажи из прошлого и настоящего, эльфы и говорящие животные, поэзия и музыка, алхимия и философия, любовь и предательство, духовные взлеты и пьянство, вечный конфликт Поэта и Власти, сатира и юмор — все в этой книге переплетено в бесконечной фантазмагории, которая разворачивается на древних холмах и старых улицах великого города.